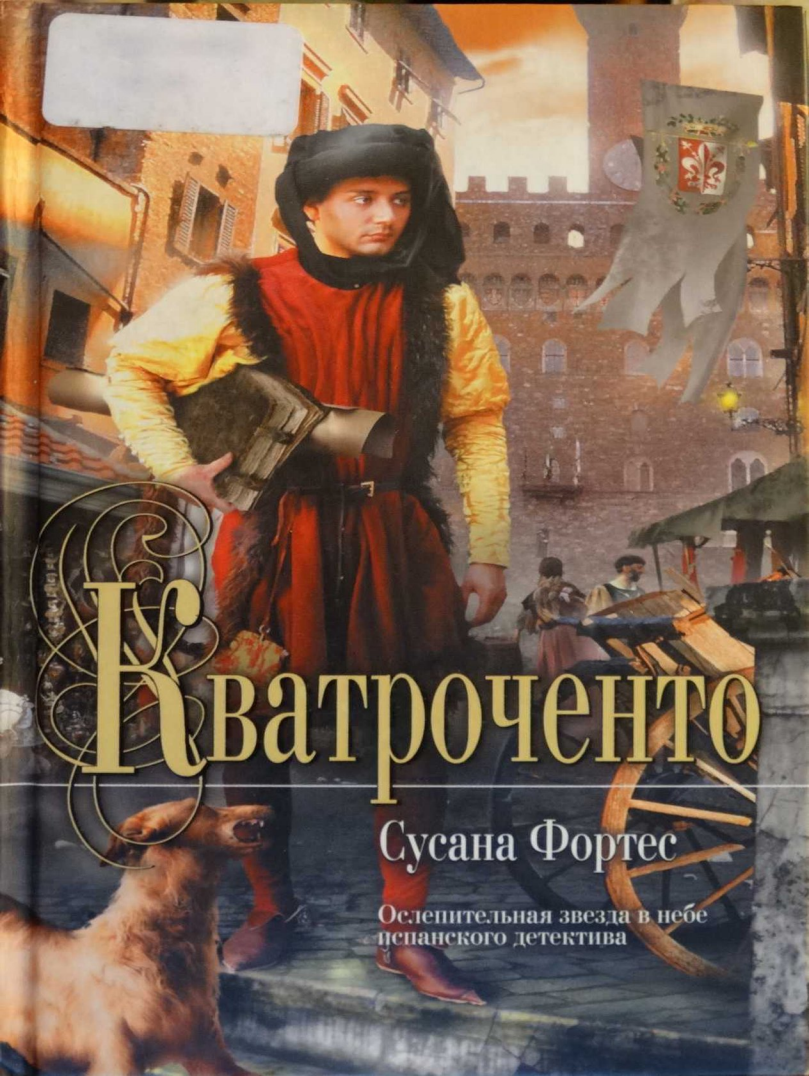

Кватроченто
Сусана Фортес
Ослепительная звезда в небе
испанского детектива

Кватроченто
Сусана Фортес

Аннотация
Сусана Фортес. Кватроченто
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
ПРИЛОЖЕНИЕ
КТО ЕСТЬ КТО
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ
БЛАГОДАРНОСТИ

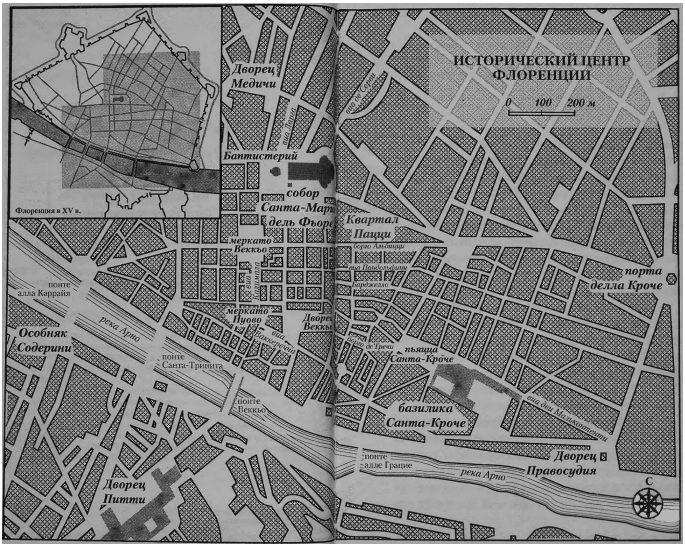
Аннотация

XV век, Флоренция. Аристократический род Пацци готовит один из величайших в истории заговоров. Мятежников тайно поддерживает Папа Римский, считая, что лишь с падением династии Медичи католическая церковь сможет утвердиться во власти.

XXI век. Молодая аспирантка приезжает во Флоренцию, чтобы собрать материалы о художнике эпохи Возрождения, авторе загадочной картины «Мадонна из Ньеволе», и попадает в паутину, где сплелись любовь и ревность, кровавые заговоры Средневековья и тайны масонских лож. Детективная история, начавшаяся пять столетий назад, обретает совершенно неожиданную кульминацию в наши дни.

Сусана Фортес
Кватроченто

Сесару Портеле, великому архитектору вечноживущей ложи из кафе «Каравелла»
Tam multae scelerum facies!
Сколь многочисленны лики преступлений!
Вергилий



На пятое воскресенье после Пасхи, 26 апреля 1478 года, история Италии эпохи Возрождения, а возможно, и история всей Европы, готовилась сделать резкий поворот. В то утро перед главным алтарем Флорентийского собора собралась высшая городская знать под предводительством бессменного главы республики Лоренцо Медичи, прозванного Великолепным. В самый торжественный момент мессы, когда священник поднимал чашу с вином, заговорщики достали спрятанные под плащами кинжалы и напали на

братьев Медичи.

Эхо этих событий, получивших известность как заговор Пацци и полных невиданного насилия, отзывалось в памяти нескольких поколений флорентийцев — трепещущая толпа и протяжное гудение колоколов, вызванивающих Dies Irae[1]…

Многие знаменитые художники Возрождения — Боттичелли, Верроккьо, Леонардо да Винчи — запечатлели случившееся на своих полотнах, насыщенных скрытыми символами. Но никто из них не подошел так близко к подлинному смыслу того, что происходило в кровавое апрельское воскресенье, как художник Пьерпаоло Мазони.

---

[1] Примечания: 1

«Судный день» *(лат.)* — известный церковный гимн.

I

Иметь в распоряжении фоторобот преступника — первое дело для каждого полицейского, но, если преступление совершено пять столетий назад, все усложняется.

Картину эпохи Возрождения нельзя сравнивать с архивным документом — и все же она может многое рассказать о жизни художника. Я имею в виду не только то, что способна поведать картина как произведение искусства: в ней есть и другое измерение — наслоения красок на поверхности холста рассказывают нам об авторе точно так же, как кольца на деревьях рассказывают об их возрасте. Личность художника прослеживается в каждом мазке, в манере накладывать лак или затушевывать рисунок, а порой — даже в узорах на кончиках пальцев. Некоторые ученые утверждают, что в картине можно обнаружить ДНК художника — она присутствует в микроскопических следах слюны или крови. Но пока что, с учетом скудных средств, обычно выделяемых искусствоведам, лучше не рассчитывать на такую возможность.

Я приехала во Флоренцию, получив от Фонда Ручеллаи грант на диссертацию о художнике Пьерпаоло Мазони, известном также как Lupetto — Волчонок. Один из самых загадочных и подававших большие надежды мастеров Кватроченто, в 1478 году он ослеп из-за несчастного случая, когда ему было всего тридцать три. К счастью, до этого он успел выполнить кое-какие важные заказы для семейства Медичи — например, вызывающую сейчас бурные споры «Мадонну из Ньеволе» — и записать свои размышления: его рукописи — подлинный кладезь для всякого любителя искусства. Когда я добралась до манускриптов, хранящихся на втором этаже Государственного архива Флоренции, во мне проснулся азарт, свойственный скорее детективу, чем специалисту по эпохе Возрождения.

Город поначалу страшно меня разочаровал. Казалось, Флоренция брошена на произвол судьбы: переполненные мусорные баки, вой автомобильных гудков — все нарушало ренессансное очарование тосканской столицы. Однако понемногу я привыкла к этому шумному дыханию усталого, но могучего существа. Я научилась не сталкиваться с толпами туристов, которые днем и ночью наводняют узкие улочки старого города.

В разное время дня людской водоворот принимает различные очертания: рано утром выходят из дома служащие с портфелями в руках, оставляя в воздухе удушливый запах лосьона для бритья; позже можно увидеть подростков в шапках и шарфах «Бенеттон», идущих из колледжа; чиновников; монахов. Японцы фотографируются не иначе как на коленях у самого донателловского Олоферна; молодожены целуются на Понте Веккьо; мотоциклисты с треском проезжают между ресторанных террас. А вечером сотни темнокожих парней продают браслеты и часы по шесть евро на пьяцца делла Репубблика, от холода стуча ногами по каменным плитам. И конечно, встречаются просто прохожие.

Я была одним из таких прохожих, толпы которых ежеутренне брали улицы штурмом. Прохожим довольно растерянным, по правде говоря: у меня были грант, квартира, снятая на полгода через ректорат университета Сантьяго-де-Компостела, полный чемодан книг и пара личных проблем, о которых следовало поскорее забыть.

Первейший способ выживания в незнакомой среде — мимикрия. Но на тот случай, когда чуждость этого города становилась невыносимой, у меня имелось верное средство преобразить

действительность по моему хотению. Неважно, где я была — на остановке 22-го автобуса по дороге в архив или за чашкой капучино в кафе «Ривуар» на пьяцца делла Синьория: достаточно было поглядеть вокруг как бы вскользь, и через несколько секунд передо мной представал людской муравейник XV века. Мимо шли придворные, духовники, нотариусы, брадобреи, резчики, торговцы, словно я оказалась на съемках исторического фильма.

Если время лечит душевные раны, то путешествие во времени — тем более. И я решила окопаться внутри своей ренессансной крепости, куда не допускались звонки с мобильников, письма из другого мира, мысли об отсутствии рядом такого-то или такого-то. В ней я чувствовала себя спокойно: ничего, кроме чашки кофе и зимней флорентийской сырости, от которой голова полнилась мечтами.

Хотя попала я во Флоренцию почти случайно, вскоре мне уже казалось, будто я жила здесь всегда. Я вышла из аэропорта в надвинутом по самые брови капюшоне и с тридцатью евро в кармане, а вокруг бушевал всемирный потоп. «Дворники» машины, которая везла меня в отель, не справлялись со стеной дождя. Сквозь окна едва

угадывались очертания домов квартала позади Санта-Мария-Новелла: облупленные фасады, тесные дворики, маленькие изваяния Богоматери на стенах. Казалось, весь город затоплен, отдан во власть ливневого потока. Тогда я не догадывалась, сколько здесь тайных и опасных переходов, соединяющих настоящее с прошлым. Я обнаружила это лишь позднее, когда поток отнес меня слишком далеко от берега, и не смогла вернуться обратно.

Тот, другой мир полностью подчинил меня. Ехал автобус с туристами — а я чувствовала неповторимый запах лошадиного помета, слышала стук копыт по мостовой, видела здания средневековых цехов. А совсем рядом, на виа Гибеллина, стояли botteghe — мастерские художников и скульпторов, со сводчатыми крышами и арочными дверями. Оттуда доносился стук молотков, летела пыль, запах пота смешивался с испарениями лаков и растворителей — и вдруг ярчайшее голубое пламя сварки возвращало меня из мира грез к действительности.

В окно архива было видно, как платаны на Вьяле делла Джоване Италия время от времени освещаются огнем светофоров. Все мои душевные силы уходили на расследование, на бумаги,

которые я держала в руках. «Факты разрозненны, а значит, интерпретация целиком зависит от меня. Страшная ответственность», — думала я. И я принялась распутывать эту историю с жаром, который присущ разве что любви, зная, что потом придет ощущение полного погружения в чужую жизнь, участия в делах пятисотлетней давности. Возможно, обилие неблаговидных поступков было оборотной стороной такого скопления первоклассных мастеров, как во Флоренции; но мне и в голову не могло прийти, что среди этой праздничной утопии, воскрешающей атмосферу эпохи Ренессанса, я встречу персонажей, которым место в зале ужасов музея восковых фигур.

В том, что мои труды приняли иное направление, не последнюю роль сыграла находка неизвестного мне поначалу источника. Речь идет о бумагах Пьерпаоло Мазони: художник делал заметки обо всем увиденном и сопровождал их набросками. Девять тетрадок многие годы пылились на чердаке архива, никому не ведомые. Приложив немало усилий, я все же получила их в руки — благодаря связям моего научного руководителя с Национальным управлением по делам художественного наследия.

То были не толстые тетради, а небольшие

книжечки карманного формата (quadernini), по размерам чуть больше колоды карт, в переплете из телячьей кожи. Они закрывались при помощи веревочной петли и деревянной застежки — точь-в-точь как мое ирландское пальто, висевшее на вешалке у входа в читальный зал. Каждое утро художник прилаживал книжечку на пояс и выходил из дома, готовый внимательно записывать и зарисовывать все увиденное, словно какой-нибудь сегодняшний репортер, который с камерой на плече, в перемазанных грязью ботинках стоит посреди руин разбомбленного города и пишет что-то в пропитанном потом блокноте, вынутом из заднего кармана брюк.

Я представляла себе, как Лупетто шагает по вымощенным булыжником улицам, молчаливый, как вечно ходившая за ним собака, как он скупым движением забрасывает на плечо складку плаща, идет мимо закрытых дверей, порой останавливается около портика, чтобы зарисовать горгулий на крыше с хищными, вселяющими ужас мордами, или смотрит на Флоренцию с высоты городских стен, погруженный в свои мысли, внимательный, точно энтомолог перед муравейником.

Именно эта всеобъемлющая наблюдатель-

ность, этот пристальный интерес к миру и были главным, что я вынесла из записок Лупетто. Он заразил этим кое-кого из своих современников, а также из художников младшего поколения — например, самого Леонардо да Винчи. Тот был четырнадцатилетним учеником, когда они познакомились в мастерской Андреа Верроккьо, и вскоре стал одним из самых горячих поклонников Лупетто. «Запечатлеть человека в момент чихания, толщину капли крови, изучать лица людей, пока не научишься читать на них усталость, гордыню, похоть… изобразить бороздки на нёбе у собаки», — писал он. Я подумала: «Вот что значит настоящий художник — в своей пытливости он готов, если нужно, просунуть руку в пасть хищному зверю».

Помимо размышлений такого рода в тетрадях встречались кулинарные рецепты, счета, списки будущих покупок, разные указания и даже рифмованные строки — они были призваны высвободить демонов, снедавших художника изнутри. Но иногда в записи ударом топора прорывалась политическая действительность — например, 26 апреля 1478 года, за несколько часов до того, как живописец навсегда ушел в царство сумерек.

То было последнее воскресенье апреля. Повсюду еще витал дух недавней Пасхи. Я представляла себе залитую солнечным сиянием тихую площадь. От чтения дневников Лупетто кружилась голова, словно я перегнулась через ограду смотровой площадки на городской стене: бездонная голубизна неба, купол Санта-Мария дель Фьоре, величественно сверкающий под лучами солнца, голоса горожан, собравшихся к полудню на виа Мартелли, дабы присутствовать на обедне. И кто мог знать, что через считаные минуты, в самый разгар мессы, когда священник поднимал чашу перед главным алтарем, таинство обернется жуткой резней и нефы собора будут залиты кровью, завалены трепещущими внутренностями?

Хотя поля тетрадок были очень узкими, кое-где попадались обрубленные фразы, написанные чернилами потемнее. Я вновь и вновь перечитывала записи, стараясь уловить малейшие подробности, которые помогут в моем деле: выведенные дрожащей рукой слова, уходящие вниз строки, оборванные предложения — любые характерные детали. Чем ближе к смерти, тем ярче становились описания у Лупетто. В пещерном полумраке собора все должно было казаться отрывочным и нечетким, словно отраженным в

осколках зеркала, — и именно так все виделось мне, когда я читала эти старые пергаменты: белое сияние свечей, лицо человека в боковом нефе, его ошеломленный взгляд, словно глаза поймали нечто ужасное перед тем, как остекленеть, предсмертные хрипы, испуганная беготня… И среди этого переполоха вдруг возник монах, выйдя из-за исповедальни: лицо до самого носа как маской, желтым платком, рукава черной саржевой рясы по локоть перепачканы в крови, точно одежда мясника.

Собор обратился в ад. Повсюду слышались крики, храм до самого фундамента сотрясался от беспорядочного топота людей, в панике устремившихся к выходу. Смятение было беспримерным, и некоторым даже показалось, будто купол работы Брунеллески прямо сейчас рухнет на них. Бежали все: политики, соборные каноники, высоко поднимавшие полы своих одеяний, послы, простые прихожане — мужчины, женщины и дети. Ужас объял людей. Кто-то сказал тогда, что кровь флорентийцев оказалась не красной, но черной, и что праведнику лучше вырвать себе глаза, чем видеть такое.

Чем дальше я углублялась в записи, тем сильнее становилось неясное чувство, выходившее

далеко за пределы чисто академического интереса к теме: некая болезненная брезгливость, которая лишь подстегивала мое любопытство. Если верить Лупетто, известие о покушении на Медичи отравило воздух во Флоренции, налетело порывом бури, которая обрушивается на город, точно Божья кара, опрокидывает навесы торговцев, срывает флаги, наполняет узкие улочки разноголосыми воплями. Эти события, названные историками заговором Пацци — по имени семейства, сыгравшего решающую роль, — были знакомы мне, как и любому исследователю эпохи Возрождения. Но от изобилия гнусных подробностей меня, признаюсь, затошнило.

Кое-кто из заговорщиков, похоже, принялся рвать плоть мертвецов зубами — то ли из мести, то ли исполняя некий мрачный ритуал. Мне показалось, что здесь есть религиозная подоплека. Это не означало, что такой поступок непременно был проявлением каннибализма, реального или символического (вроде вкушения плоти и крови Христовой во время причастия), но лучше всего проясняло картину.

Как иначе объяснить то, что один участник заговора погрузил правую руку в рассеченный труп и принялся копаться во внутренностях? Вот одно

из свидетельств, собранных Мазони: «Он выдрал сердце, разорвал его на части… поднес одну из них ко рту и откусил; я бежал, завидя это…»

В моей голове теснилось множество объяснений этому, но чем дальше я читала, тем большее замешательство охватывало меня. Рвотные позывы стали настолько сильными, что я невольно прижала ладонь ко рту.

Я подняла голову и оглядела читальный зал, словно желая убедиться, что внутри этого храма науки я в безопасности. За столами трудились, кроме меня, четыре-пять человек, и я подумала о том, сколько первобытной свирепости может таиться в этих ученых. А я? Что за звериная сущность прячется во мне, раз меня интересуют подробности этой резни?

———

Я опустила глаза и продолжила читать, все еще не до конца веря написанному и бессознательно теребя истертые края пергаментной тетради, лежавшей передо мной на подставке. Грудь горела, словно от скорпионьего укуса. Внутренний голос подсказывал, что нужно сейчас же закрыть эту тетрадь и больше не читать из нее ни единого слова, но я не послушалась.

Описания вызывали отвращение своим натурализмом, но отвязаться от них было невозможно, как от мошки, назойливо гудящей за ухом. Я прекрасно знала, что исследование, любая научная работа требуют методологической строгости и отстраненно-рационального взгляда на вещи, но не могла избавиться от образов, захлестывавших меня на улицах Флоренции начиная с того дня: стук копыт по мостовой; тела, привязанные к лошадиным гривам; стоны раненых, изрубленных так, что уже не могут подняться; мерцание фонаря на узкой улочке близ пьяцца делла Синьория; вылезшие от страха глаза и падающие на них густые черные космы; куски мягкой беловатой плоти, там и сям бесстыдно пригвожденные копьем к воротам, и запах. Прежде всего — запах… Я настолько погрузилась в свои мысли, что не услышала шагов синьора Торриани, архивного служителя, который шел по центральному проходу прямо в тот угол зала, где сидела я. Не услышала я и щелчка пальцами, которым синьор Торриани рассчитывал привлечь мое внимание так, чтобы не беспокоить других посетителей. По правде говоря, я обнаружила его присутствие лишь тогда, когда тяжелая рука, точно львиная лапа, легла мне на левое плечо. Я отпрянула на-

зад так, что чуть не свалилась на пол.

— Синьорина Сотомайор… — пробормотал Торриани, растерявшийся от моей неожиданной реакции. — Вы в порядке?

— Да, все отлично, — успокоила его я, нашаривая упавший на пол механический карандаш.

Вновь подняв глаза, я прочла на лице служителя обеспокоенность — наверное, лицо у меня было белым, как саван. Торриани был калабрийцем, низеньким, но плотным и крепким — телосложение его угадывалось даже под серым рабочим халатом. На голове у него торжественно, как-то по-античному, сияла лысина, которую пересекали четыре длинных волоса, оставшихся с правой стороны. И хотя Торриани уже много лет жил во Флоренции, он сохранил свойственное горцам искреннее радушие.

— Просто испугалась, — выдавила я из себя, улыбаясь.

— Вы проводите тут слишком много времени. Вам, молодым, надо бывать на воздухе, а не запираться в четырех стенах. Здесь ведь одни древние бумаги и прочее старье.

Я вспомнила, как попрекала меня мама, когда я приезжала в родительский дом. В сущности, не так уж плохо, что кто-то иногда проявляет заботу

о тебе. Я благодарно посмотрела на Торриани, а затем спросила, что привело его в читальный зал.

— Там один мужчина хочет вас видеть.

Воспоминание пронеслось в моем мозгу быстро, как заяц, и я взглянула на часы. Было 13.30. Я едва не хлопнула себя по лбу: вот ведь растеряха! Совсем забыла, что мой научный руководитель, профессор Джулио Росси, обещал зайти за мной. Мы намеревались поговорить за обедом о том, как движется моя диссертация.

Я наскоро собрала свои вещи: положила карандаши и лупу в пенал, а исписанные листы — в папку со спиральным креплением, и закинула все это в сумку. Прежде чем выключить настольную лампу, я бросила последний взгляд на тетрадь Мазони. На нечетной странице, рядом с зарисовками внутренностей, помещался сделанный сангиной набросок волчьей головы с обозначением пропорций, а справа на полях художник нацарапал один из своих излюбленных афоризмов — загадочных фраз, возможно с двойным смыслом: «И появятся колоссы на двух ногах, напоминающие древних гигантов, но если приблизиться к ним, ты увидишь, как они уменьшаются в росте». Секунду я размышляла о

значении этих слов, но времени уже не было. Я закрыла тетрадь, застегнула ее на деревянный крючок и отдала синьору Торриани. Скоро она окажется на своем месте, среди тысяч архивных материалов, касающихся истории Флоренции.

II

Мальчик приставил руку ко лбу на манер козырька и поднял изумленный взгляд на вершину собора. Самый большой купол в мире! Он никогда не видал такой красоты. Новенькие кирпичи горели под полуденным солнцем: казалось, оно окрашивает их в густой красный цвет. Потрясающее зрелище, особенно для пятнадцатилетнего паренька, чей мир заканчивался обрывистыми склонами горы Монсуммано. Он так увлекся созерцанием, что не заметил проезжавшей по улице телеги со щебнем, запряженной мулами.

— Дерьмо Господа нашего и Пресвятой Богоматери! Чтоб тебя пришибли кости святого Бенедикта! — прогремел голос с повозки. — Смотри, куда прешь, болван!

Подростку показалось, будто земля затряслась под ногами. Он отпрыгнул в сторону. Щебень посыпался на мостовую, подняв облако пыли, и паренек зашелся в приступе кашля. На другом конце улицы толпа зевак смотрела, как рабочие сыплют мел и щебень в траншею: наверное, закладывали фундамент нового дворца. Другие

рабочие с помощью блока поднимали глыбу дикого камня — будущий обелиск, судя по форме и размерам.

Шум и гам совсем сбили мальчишку с толку, и он впервые по-настоящему почувствовал себя сиротой, хотя его отца давно уже сразила ружейная пуля — в сражении с пизанцами. Сердце парнишки тревожно билось, он бесцельно брел по городу, оглушенный кипением жизни вокруг. На его высоком лбу, обрамленном завитками волос, проступил пот, слабо пахнущий вареным луком — единственной едой мальчика за весь день. В волнении он приподнял край выцветшей серой рубашки, которую носил поверх брюк, порылся в висевшем на поясе мешочке и достал кусочек кварца размером с фасолину. Закрыв глаза и погладив камешек-талисман, паренек бросил его в канаву, призывая удачу в скитаниях по большому городу. Изнутри Флоренция виделась ему полной опасностей — но и счастливых случаев. Это был не город, а целый мир.

В то время в столице Тосканы жило больше сорока тысяч человек и она слыла самым оживленным городом Европы. Река Арно разделяла Флоренцию на две части. Город по всему периметру окружали громадные стены с двенадцатью

воротами. Ворота освещались факелами — пламя колебалось на ветру, удлиняя тени крестьян, что возвращались на склоне дня из садов; накинув на головы капюшоны, они тащили за собой тележки с дровами. Внутри городских стен насчитывалось двадцать три больших дворца, более тридцати банков, сотни ремесленных мастерских, десятки приходских церквей, аббатств и монастырей — а над всем этим возвышалась внушительная кампанила дворца Синьории. Мальчик восхищенно созерцал штандарты ремесленных цехов, развевавшиеся на площадях, и красные с золотом маркизы на зданиях.

Кроме смены белья и денег на неделю жизни в городе в его узелке лежал кусок пергамента, свернутый в трубку и перевязанный красным шнурком: то было письмо, составленное деревенским писарем от имени вдовой матери паренька. В нем она препоручала сына художнику Верроккьо, своему дальнему родственнику, чья мастерская славилась на всю Флоренцию и всегда была завалена заказами. Женщина просила взять в обучение сироту, который взамен может выполнять какую угодно работу: колоть дрова, таскать воду, мыть полы, носить записки, поскольку, как говорилось в письме, «юный возраст

возмещается в нем выносливостью и усердием».

Солнце светило мальчику прямо в лицо. Он шагал по городу, изо всех сил стараясь не терять самообладания. Пересечь Флоренцию из конца в конец — с севера на юг, перейдя реку по мосту, или с запада на восток — можно было за двадцать минут. Парнишка знал, что не потеряется в самом глухом лесу, но вот в лабиринте улиц никак не мог разобраться. Наконец поняв, что сам никогда не найдет дорогу, он решил спросить про мастерскую Верроккьо у ремесленника, с которым столкнулся на большой площади, напротив увенчанного зубцами дворца: судя по фризу над главным входом, украшенному фигурами львов, и высоте кампанилы, там помещалось правительство республики.

Ремесленник — низенький человек в потертом кожаном капюшоне — поглядел на него с удивлением, затем вынул руку из прорези старенького желтоватого плаща и показал, куда нужно идти. Свой жест он сопроводил несколькими словами, из которых мальчик не понял ни одного.

Замешательство подростка еще больше усилилось, когда вокруг него внезапно возникла суматоха: на площадь под колокольный звон въехал кортеж. Огорошенный, мальчик впервые

увидел Лоренцо Медичи, о котором столько слышал с самых ранних лет. Только Великолепного мог сопровождать такой эскорт. Изящно одетый, он делал вольты на коне в центре площади — столь искусно, что народ разразился шумными рукоплесканиями. Черные волосы спускались до подбородка, где были срезаны наискосок, напоминая крылья баклана. Лоренцо нельзя было назвать красивым, но его дышащий силой и властностью облик вызывал восхищение: стройное жилистое тело, упрямый, выдвинутый вперед подбородок, заостренный нос, дьявольские угольно-черные глаза, прикрытые, однако, мечтательными ресницами, заставлявшими вздыхать женщин всех возрастов и сословий. Подбитая горностаем шляпа блестела на солнце золотым тиснением, а попона коня была так богато изукрашена, что напоминала торжественное облачение священника. И вся свита Великолепного была истинно княжеской: красные шелковые одеяния, стремена, обтянутые камкой, штандарты из белой тафты, расшитые золотыми и серебряными цветами, копья оруженосцев, широкополые шляпы с перьями — казалось, что над площадью летит тысяча ярких птиц. Мальчик в жизни не видел ничего подобного. Эта сцена

пробудила в нем предвкушение тайн и грядущих приключений.

Когда кавалькада проскакала мимо, он свернул в узкий переулок, а затем вышел на улицу со множеством суконных лавок, пристроенных к старинной римской стене. Вдали, как и говорил ремесленник, возвышался дворец подеста. От него начиналась улица, на которой, судя по всему, находилась мастерская Верроккьо, недалеко от глухих стен страшной тюрьмы Стинке.

Пара десятков шагов — и мальчик очутился перед низеньким сводчатым портиком. Место походило больше на птичий двор, чем на мастерскую художника: несметное число кур бродило между наковальнями и мраморными и терракотовыми статуями, сваленными как попало у стены. Такой беспорядок покоробил паренька. Крестьяне верили, что куры и петухи — проклятые животные, ибо петух, как известно, пропел три раза, прежде чем Петр отрекся от Христа. Но, несмотря на предрассудки, подросток понимал, что у известного мастера должно быть много кур: в состав темперы, употреблявшейся для закрепления красок, входил яичный желток. Да, судя по количеству кур, он попал туда, куда нужно. Мальчик осторожно стал пробираться к дому, где,

видимо, и творил мастер: из внутреннего двора доносились стук молотов и тяжелое дыхание мехов. Войдя в левую арку, он заметил ларь для хранения зерна, связки дров, кувшин для масла и три винные бочки.

— Учитель!.. Учитель!.. — позвал он прерывающимся голосом, но ответа не получил.

Может, его не услышали из-за гудения печи и грохота молотов? Но идти дальше было страшно: ведь его могли принять за обыкновенного воришку. Поэтому он остался под сводчатым портиком, любуясь посмертной маской из алебастра. Но внезапно парнишку пробрала дрожь, и он застыл на месте, онемев от ужаса.

Изваяние размером с человека вдруг задвигалось, будто обрело жизнь. Мальчик вытаращил глаза, точно перед ним был один из потерпевших поражение в Армагеддоне. Но дальше оказалось еще страшнее: это гипсовое создание с жарким взглядом воскресшего из мертвых подошло к нему и испустило львиный рык. Сам дьявол не напугал бы его больше. Трижды перекрестившись, он понесся прочь так быстро, что распугал кур, с хозяйским видом расхаживавших по двору, и плюхнулся на землю возле терракотового амурчика, среди кудахтанья и летящих перьев.

Мальчик все еще валялся на земле, когда создание, громко смеясь, провело мокрой тряпкой по лицу и приобрело свой настоящий вид.

— Это всего лишь мраморная пыль, парень, — сказал незнакомец, протягивая подростку руку. То был высокий и крепкий человек с породистыми чертами лица, хотя и облаченный в рабочую одежду.

— Маэстро Верроккьо! — с облегчением воскликнул мальчик, кланяясь ему. — Никогда бы не подумал, что это вы.

— Боюсь, что это не я, парень. Маэстро Верроккьо уехал из города.

— Так кто же вы? — растерянно спросил подросток.

Незнакомцу, видимо, пришлась по душе непосредственность этого паренька с гор, курчавого, будто херувим. Что, если взять его моделью статуи Давида, заказанной Лоренцо Медичи для своей виллы?

— Скажем так: на сегодня я твой ангел-хранитель. Повернись-ка.

Тот безропотно повиновался, неловко крутанувшись на каблуках.

— Ну что ж, по манерам ты далеко не ангел Боттичелли, — неторопливо проговорил незна-

комец, обращаясь к художникам, которые, посмеиваясь, столпились перед пареньком, — но после нескольких уроков подойдешь.

— Подойду? Для чего, маэстро? — спросил мальчик.

— Гляди веселей, парень. Ты станешь царем Давидом. И по крайней мере пару месяцев будешь есть горячее. Кстати, как тебя зовут? Как-то ведь должны тебя звать?

— Меня зовут Лука, синьор, — произнес тот, выставив вперед правую ногу и приподнимая полы своей бедной куртки из мешковины в потешном приветствии, отчего все присутствующие опять развеселились.

— Пьерпаоло Мазони, — церемонно представился, в свою очередь, незнакомец и прибавил: — Художник, мастер по фрескам, знахарь и изготовитель театральных масок.

Затем, шутливо подражая мальчику, он снял с головы шляпу и сделал глубокий реверанс, точно перед ним стоял князь или герцог.

Мальчик с досадой поднес два пальца ко лбу, словно внезапно вспомнил что-то очень важное. Порывшись в мешочке у себя на поясе, он извлек свернутый и перевязанный шнурком лист пергамента, служивший ему верительной грамотой.

Поклонившись своему нежданному благодетелю, он протянул пергамент и торжественно произнес:

— Лука ди Креди, синьор, к вашим услугам.

III

Я познакомилась с Джулио Росси три года назад на конференции по Священной Римской Роте в университете Сантьяго-де-Компостела, где мой отец заведовал кафедрой истории права. Однажды профессор Росси прочел доклад «Церковь и власть в Тоскане XIV века», который пришелся сильно не по вкусу отделению канонического права. Может быть, как раз из-за воинствующего антиклерикализма докладчика мой отец оценил его сообщение и пригласил профессора отужинать у нас. С тех пор они стали друзьями и поддерживали переписку. Именно Росси предложил мне завершить учебу во Флоренции и вызвался стать моим научным руководителем. Думаю, известие о смерти моего отца, случившейся три месяца назад, подвигло его позаботиться обо мне. В конце концов, не так уж часто научный руководитель приглашает на обед своего дипломника.

— Анна! — с улыбкой воскликнул он, увидев, что я выхожу в вестибюль. — У меня хорошие новости, — потряс он белым конвертом.

Несомненным достоинством профессора Росси было то, что он приводил меня в хорошее настроение. Всегда жизнерадостный, он казался молодым, хотя был ровесником моего отца. Тощий и костлявый, профессор выглядел слегка нескладным, как это часто бывает с высокими людьми. Однако эта неловкость в сочетании с крайней застенчивостью не только не уменьшала обаяния Росси, но, напротив, располагала к нему. Профессор не был похож на итальянца — скорее на скандинава или англичанина: светлые глаза, пшеничного цвета волосы, зачесанные набок, на висках обильно тронуты сединой. Росси чем-то напоминал ирландского актера, игравшего Генриха II Английского в фильме «Лев зимой».

— Что это? — спросила я, сдерживая любопытство.

— Нам наконец ответили, — подойдя ближе, объяснил профессор с торжествующей улыбкой.

Его можно было понять. Мы уже два месяца выбивали допуск к одному из немногих сохранившихся полотен Мазони, «Мадонна из Ньеволе», которое лежало в мастерских галереи Уффици, ожидая реставрации. К реставрации всё не приступали, но и не выставляли картину на обозрение публики. Дело никак не могло сдвинуться

с мертвой точки: обычное явление для итальянского музейного мирка с его затхлой атмосферой недоверия и ожесточенного соперничества.

Многолетние споры вокруг картины вспыхнули с новой силой, когда галерея объявила о реставрации. Немедленно раздался хор протестующих голосов во главе с директором Ватиканского архива монсеньором Доменико Готье. Его поддержали все католические библиотеки и соборные архивы Европы: по словам Росси, это было лобби помощнее, чем торговцы оружием. Главный довод монсеньора Готье заключался в том, что живописный слой очень хрупок, а игра светотеней и оттенков настолько сложна, что касаться ее опасно. Готье обвинил сторонников реставрации в корысти: мол, преследуют коммерческие и маркетинговые цели, забывая о художественной стороне дела. Он утверждал, что очищать поверхность старинной картины так же бессмысленно, как делать подтяжку восьмидесятилетней старухе.

Пока шел спор между поборниками и противниками реставрации, полотно лежало в музейных мастерских, накрытое куском белой ткани, точно мертвец.

По дороге к ресторану на виа Гибеллина профес-

сор несколько сумбурно объяснил, что директор Уффици согласился выдать нам специальный пропуск для посещения мастерских. Какая прекрасная новость! Я застегнула пальто и сунула руки в карманы, объятая радостным чувством: оно всегда посещает меня, когда исполнение желаний близко.

Аромат жареных каштанов — зимнего лакомства — заполнял улицу, почти безлюдную в это время дня: лишь двое-трое припозднившихся служащих возвращались с работы да несколько кришнаитов, подставив бритые головы под холодный февральский ветерок, гремели колокольчиками, точно потерявшееся стадо. Профессор Росси любезно предложил понести мою сумку. У него были манеры джентльмена былых времен, так раздражающие феминисток — но, конечно, не меня. Тем не менее сумку я не отдала. На углу дворца Барджелло студенты раздавали листовки с ругательствами в адрес Берлускони. Защищаясь от ледяного ветра с Арно, они подняли отвороты курток до самого подбородка и топали по тротуару, чтобы согреться. Противоположная сторона улицы выглядела куда более мрачно: закопченные стены, облупленные двери.

— Посмотри на этот дом, — профессор показал

на автомастерскую со сводчатым входным портиком. — Очень может быть, что именно здесь помещалась мастерская Верроккьо, когда в ней начал работать Мазони.

Я поглядела в ту сторону, пытаясь различить среди кирпичных стен старинную арку входа, которую Лупетто описывал в своих дневниках. У меня никак не укладывалось в голове, что этот гараж со светящейся вывеской и рабочими в оранжевых спецовках и есть та самая мастерская. Не было сомнения, однако, что по этой улице Мазони проходил сотни раз, как и другие художники, которым покровительствовали Медичи, как и недруги могущественного семейства, явные или скрывавшиеся под масками меценатов, но державшие камень за пазухой, — убийцы и их сообщники.

— Джулио… — проговорила я и замолчала, не зная, как задать вопрос.

— Да?

— Как вы думаете, пожирание частей человеческого тела — это какой-то ритуал? — решилась наконец я.

— Видимо, ты имеешь в виду обряды сатанистов, — вздохнул профессор. Похоже, вопрос не сильно удивил его. — Это первое, что приходит

в голову, хотя расчленение тела укладывается в христианскую традицию, всегда прославлявшую мученичество. Имей в виду, что самобичевание было обычным делом почти для всех религиозных братств пятнадцатого века. Адепты часто собирались вместе, чтобы отхлестать себя на глазах у всех, и всегда кто-нибудь предлагал другим свои услуги, в память о страданиях Иисуса и христианских мучеников… — Профессор на секунду прервался и испытующе взглянул на меня. — Неудивительно, что ты наткнулась на нечто подобное, читая о заговоре против Медичи. Когда религиозные идеи — в данном случае связанные с умерщвлением плоти — накладываются на жестокость политики, мы гарантированно получаем изуверство.

— Но ведь для людей с религиозным сознанием мученики — это герои, а не преступники под пытками и не родственники, погибшие в вендетте.

— Конечно. Учитывай все это в своей работе. Впрочем, тебе хорошо известно, что в то время культура была насквозь пропитана религиозными представлениями.

Я подумала, что если тогда находились люди, готовые причинить физическую боль себе и ближним из религиозного благочестия, то, по ло-

гике вещей, еще больше встречалось тех, кто не прочь был поступить так же с врагами. Но больше всего меня поражало в описаниях Мазони не то, что заговорщики умирали, разрывая зубами человеческую плоть, а то, что они проделывали это со своими товарищами — отнюдь не с людьми из лагеря Медичи.

Может быть, пожирание плоти имело символическое значение, недоступное поверхностному взгляду? Или это было неистовство чувств? Как истолковать, к примеру, тот факт, что человек перед повешением поворачивается к собрату по несчастью и кусает его с такой страстью, силой или отчаянием, что вырывает сосок? Здесь не так-то просто прийти к определенному выводу.

Ресторан, выбранный профессором Росси, располагался на первом этаже палаццо XV века. Интерьер с потускневшими зеркалами и старинными картинами создавал теплую, располагающую атмосферу. Войдя, я сразу пожалела, что одета не так, как нужно. Мой наряд совершенно не сочетался с флорентийской элегантностью профессора: под его темным пальто обнаружился стильный американский пиджак из твида, широкие бежевые брюки и итальянские ботинки, которые, несмотря на спортивный вид, были

сделаны на заказ. Мои джинсы и пятнистый флисовый свитер выглядели в этом заведении так же чужеродно, как полярный исследователь при версальском дворе. Я боялась, что профессор почувствует себя неловко. Все-таки я слегка привела себя в порядок перед зеркалом, распустила скрепленные заколкой волосы и, призвав на помощь надменность, которую прививала мне мама, смело зашагала под люстрами ресторанных залов, словно ничем другим в жизни не занималась.

Шторы на всех четырех окнах были отдернуты, однако на столах горели маленькие лампы. Посетители — человек двадцать, не больше — молчаливо сидели за пятью столиками, отстоявшими довольно далеко друг от друга. Мы сделали заказ, Росси водрузил на нос крохотные очочки в золотой оправе и по-особому взглянул на меня. Я бы назвала такой взгляд академическим: глубоко проникающий, но взвешенный и спокойный. Похоже, эта способность была у профессора не врожденной, а приобретенной за долгие годы преподавания. Взгляд не был выпытывающим, не содержал ни следа упрека, однако я на несколько мгновении почувствовала себя не в своей тарелке — словно профессор экзаме-

новал меня или догадался, что я скрываю от него кое-что, и теперь ждал, пока я расскажу все по своей воле.

Когда нас больше не стесняло присутствие официанта — Росси сидел в торце стола, спиной к окну, я напротив него, — я впервые поведала ему о новом направлении, которое приняла моя работа после знакомства с тетрадями Пьерпаоло Мазони.

— Не понимаю, почему источник первостепенной важности выдают так неохотно, — пожаловалась я, вспоминая, сколько пришлось хлопотать профессору, пока начальник Управления по делам художественного наследия не разрешил мне ознакомиться с записями.

— Это очень ценный материал, — возразил Росси, соблюдая подобающую профессору дистанцию в общении. — Имей в виду, что пергамент крайне хрупок и портится не только от прикосновения, но и от света. Кроме того, Флоренция с трудом заполучила эти записи. Архивариус короля Георга Третьего обнаружил двенадцать тетрадок в Кенсингтонском дворце, но в Итальянский государственный архив они попали только в тысяча девятьсот пятом, причем пришлось выдержать тяжбу с Ватиканом, тоже заявлявшим

на них права.

— Вы сказали «двенадцать»? — поразилась я.

— Да. А почему это тебя удивляет?

— Синьор Торриани принес мне только девять.

Взгляд собеседника слегка затуманился, будто профессор рылся в памяти: сопоставлял факты или что-то считал. Такое за ним водилось нередко.

— Невозможно, — сказал он через несколько секунд тоном, не допускающим сомнений. — Проверь. Должно быть, в каталоге ошибка.

Пошел мелкий дождик, покрывая каплями оконное стекло. Шелест дождя подчеркивал тишину и изысканность обстановки: высокие хрустальные бокалы, бледно-розовая скатерть, бесшумно-приветливые официанты, которые то и дело появлялись и исчезали, унося и принося блюда, подливая нам вина. И конечно, не только из-за дождя, но и из-за превосходнейшего «Монте-Вертине» 93-го года слова профессора Росси становились все более пылкими, изменился даже голос.

— Полициано тоже находился под покровительством Медичи. — Профессор сделал небольшой глоток. — Блестящий и грозный, он сочинил длинное стихотворение о Симонетте Веспуччи

— «Стансы на турнир». Боттичелли вдохновился им и написал портрет этой девушки, умершей от чахотки в двадцать лет. Сейчас ее изображения можно встретить по всему городу.

И глаза Росси приняли не то задумчивое, не то мечтательное выражение, будто размышляли о чем-то сами, без его участия. Казалось, он всего пять минут назад беседовал с Лоренцо Великолепным, а лицо Симонетты было прямо сейчас перед ним.

— В обществе, где высоко ценилось благочестие, — сказала я, — убийство в храме оказалось чудовищным потрясением. Если верить Мазони, смятение было велико — люди боялись, что купол обрушится.

— Не очень-то верь ему, — заметил профессор, вытирая губы салфеткой. — В то время преступления в церквях случались довольно часто. Имей в виду, что шансов подобраться к намеченной жертве почти не было — разве только во время религиозной церемонии, тем более что на них приходили целыми семьями. В тысяча четыреста тридцать пятом году, в Фабриано, было вырезано семейство Скьявелли, явившееся к мессе. А миланского герцога Джованни Мария Висконти убили у входа в церковь.

Иногда в присутствии профессора Росси я чувствовала себя школьницей, которая изо всех сил старается не выглядеть изумленной.

И все же, хотя вера никогда не мешала совершать страшные жестокости, как правильно указал Росси, убийство во флорентийском соборе по своей злобе и свирепости превзошло все перечисленные им случаи. Я уже собралась спросить, как в эпоху революционных научных открытий, культа разума и веры в человека можно было дойти до такого крайнего варварства, но тут мне вспомнились ужасы иракской войны — я узнавала о них ежедневно за завтраком, читая свежие газеты. В наши времена гигантских гекатомб нет смысла возмущаться кровавой драмой, разыгравшейся более пятисот лет тому назад. Поэтому я задала другой вопрос:

— Знаете, что Мазони любил всяческие пророчества?

— Да, тогда почти все художники были помешаны на них. Даже Леонардо.

Я решила: настал удобный момент, чтобы спросить профессора о значении фразы, найденной в дневниках Лупетто перед неожиданным появлением синьора Торриани: «И появятся колоссы на двух ногах, напоминающие древних гигантов, но

если приблизиться к ним, ты увидишь, как они уменьшаются в росте».

— Не знаю… — ответил он. — Возможно, это намек на какого-нибудь известного человека, скажем, художника, вызывавшего восхищение и пересуды. Gente gonfiata, напыщенные, — если узнать о них больше, ты увидишь их во всей неприглядности, равными простым смертным. Вспомни, что тогда злопамятность и зависть в кругах посвященных были ничуть не меньшими, чем теперь. — Лицо профессора осветилось заговорщической улыбкой, и на миг он словно помолодел. Затем слегка покровительственным и чуть ироническим тоном он прибавил: — Художники эпохи Возрождения ходили везде с заточенным клинком.

Тут подошел официант с десертом. Горячий яблочный пирог с кальвадосом выглядел аппетитно. Профессор взял ложкой большущий кусок, поднес его ко рту и посмаковал, погружаясь в гастрономическую нирвану.

— Сочняк! — воскликнул Росси через несколько секунд по-испански, еще не проглотив все до конца. Галисийско-аргентинский акцент он перенял от моего отца.

— Сочняк? — переспросила я, еле сдерживая

смех.

— Ну да, — сконфуженно-наивно подтвердил он, — разве так не говорят?

— В общем, да, хотя… ладно, неважно.

Сбитый с толку профессор поперхнулся, почесал левый висок. Жест выдавал полную растерянность. За ним забавно было наблюдать во время непринужденной беседы: он терял профессорскую важность и становился невозможно застенчивым. Впрочем, он сейчас же вернулся на ту почву, где чувствовал себя уверенно.

— Если хочешь почитать что-нибудь еще по заговору Пацци, возьми «Историю Флорентийской республики» Джино Капони и еще «Апрельскую кровь» Лауро Мартинеса: это книга о событиях тысяча четыреста семьдесят восьмого года, только что вышла. Прежде всего обрати внимание на тех, кто стоял за всем этим, — по крайней мере, известных историкам. Я имею в виду Папу Сикста Четвертого и короля Фердинанда Арагонского. Надо же с чего-то начать.

Я постаралась припомнить, что знаю об этих персонажах. Грозный понтифик, взошедший на папский престол благодаря подкупу, не колеблясь уничтожал столько христиан, сколько требовалось для достижения его целей. В те вре-

мена Флоренция, колыбель Возрождения, и Рим, будущая родина барокко, находились в смертельной вражде, и для утверждения своей власти над Романьей Сикст IV воспользовался неоценимой поддержкой Фердинанда, короля Арагонского и Неаполитанского.

Достав из сумки лист бумаги в клетку, я, как прилежная ученица, записала названия книг, а затем сложила листок и сунула в задний карман джинсов.

— Иначе могу забыть, — объяснила я, улыбаясь.

Профессор Росси тоже улыбнулся — кажется, слегка снисходительно, но, может быть, просто из вежливости. Затем он обернулся к метрдотелю, изображая, будто пишет что-то в воздухе, и погрузился в молчание с видом то ли понурым, то ли отсутствующим: словно его беспокоит то, о чем нельзя говорить. Лицо его сделалось непроницаемым, в углах рта залегли морщины. Я уже не впервые наблюдала такие резкие перемены его настроения, точно посреди беседы он вспоминал о каком-нибудь несчастье или ощущал внезапную усталость и думал: «К черту все». Я хотела было спросить, что с ним такое, но почему-то не осмелилась. Росси сидел, уставившись куда-то в

пространство, пока официант не принес счет и не вырвал профессора из состояния отрешенности. Наверное, счета тут были во много раз больше, чем у Сальваторе, где я брала фаршированные шпинатом домашние канеллони[2].

Мы распрощались в вестибюле ресторана. Профессор направился к парковке, чтобы сесть в машину и вернуться к себе — у него был дом в пригороде, — а я собиралась зайти еще в библиотеку Фельтринелли. Я поблагодарила Росси за ужин, и мы договорились встретиться завтра в десять утра перед Уффици: нам предстояло увидеть «Мадонну из Ньеволе».

Прощаясь, я встала на цыпочки и уловила слабый запах, идущий от пиджака профессора; тогда я не поняла, что это такое. Это был не запах одеколона или лосьона после бритья, а какой-то другой, с легким дымком, смесь ароматов кожи и покрытого лаком кедрового дерева. Я подумала об удобных и теплых помещениях старых английских университетов, с массивными железными печами, рядами деревянных полок, на которых стоят книги, современные и старинные: в таком месте чувствуешь себя надежно защищенным,

[2] Примечания: 2
Разновидность пасты в виде трубочек большого диаметра.

читая, попивая горячий чай, с удовольствием наблюдая, как за стеклами в свинцовом переплете хлещет дождь.

Есть места, где дождь всегда выглядит ласковым и приручённым. Но то, что лилось с неба, когда через полчаса я вышла из библиотеки с полным пакетом книг, было настоящим потопом. Во Флоренции, как и во всех монументально построенных городах, при дождливой погоде атмосфера сгущается. Зонтика у меня не было, и я жалась к домам, прячась под карнизы, срезала путь по переулкам. Через несколько минут по мостовой уже текли реки, под ногами вовсю хлюпало: вскоре мне даже показалось, что кто-то идет за мной следом. То были мягкие, осторожные шаги и едва слышный шелест, словно чей-то плащ терся о стены зданий. Иногда мне мерещилось, что это легкая поступь животного: может быть, позади идет слепой с собакой-поводырем? Но эту мысль я отбросила: ведь тогда я слышала бы стук палки с металлическим наконечником. Кроме того, слепой не поспевал бы за мной и уж точно бы не выбрал эти глухие переулки. Я боялась обернуться, но все же пару раз останавливалась. Шаги прекращались, но не сразу, а через несколько секунд, и тогда слышалось тяжелое дыхание.

Чего только не случится с тем, кто идет по Флоренции, надвинув на голову капюшон! Во всех щелях таятся тени прошлого, и дышать становится трудно, порой почти невозможно, — несмотря на красоту города, а может быть, именно из-за нее.

Выйдя на виа Панцани, всегда довольно оживленную, но в этот час пустынную, с закрытыми магазинами, я пошла быстрее. Дождь лил немилосердно. Перед тем как перейти на другую сторону улицы, я остановилась под маркизой у витрины «Бенеттона», внезапно повернула голову и увидела за спиной двух необычных существ. Собака была черным терьером средних размеров — такие бродят среди мусорных контейнеров в любом городе; но эта выглядела относительно ухоженной, а ее умный взгляд говорил о готовности повиноваться хозяину. Человек был похож на монаха: из-под темного плаща выглядывали широкие полы какого-то коричневого одеяния. Ему было лет пятьдесят, судя по несколько отяжелевшей и сгорбленной фигуре, но лица за черным зонтиком я не разглядела. Встретить монаха во Флоренции — рядовое событие, как, впрочем, и собаку, но монах с собакой под дождем посреди безлюдной улицы — зрелище не особенно успока-

ивающее. Пес воспользовался остановкой, чтобы стряхнуть с себя воду. Несколько мгновений я смотрела на обоих сквозь косые струи дождя. Они не старались скрыться под каким-нибудь навесом и, похоже, не собирались прятаться от чужих глаз, а просто невозмутимо стояли на мостовой. Видимо, от работы у меня появились навязчивые идеи. Ведь могут же пути двух человек просто совпасть, и здесь нет повода бить тревогу. Скорее всего, я волновалась зря. Я зашагала дальше, стараясь успокоиться, но на последнем участке пути, вплоть до Леопольдинской школы, шла навострив уши. Позади меня по-прежнему раздавались тяжелые шаги, теперь отдававшиеся эхом от колоннад.

Ускорив шаг, насколько могла, я дошла до своего дома и, еле дыша, поспешно вставила ключ в замочную скважину. Только оказавшись внутри, я наконец сглотнула слюну, откинула капюшон и облегченно вздохнула.

IV

Мальчик задумчиво почесал в затылке, разглядывая большое полотно.

— В чем дело, Лука? Может, тебе не нравится моя «Мадонна»? — спросил Мазони с притворным упреком. Глаза его по-прежнему напоминали горящие угли, из-за чего взгляд получался не то рассерженным, не то задорным.

— Нет, учитель, — поспешил заверить его мальчик. — Просто Дева как будто… — Он запнулся в поисках нужного слова. — Не знаю… Это не Богоматерь, по-моему, — заключил он наконец.

— Как так? — с интересом спросил художник.

— У вашей Мадонны туманные глаза, маэстро, как у простой гадалки с виа де Либраи.

— Ах вот ты как думаешь? — улыбнулся Мазони, не став спорить.

— Значит, правду говорит мессер Леонардо? — спросил мальчик, изо всех сил скрывая любопытство.

— Можно узнать, что говорит этот великий плут?

— Он говорит, что в вашей «Мадонне» скрыта

тайна, из-за которой на костер могут отправиться сотни кардиналов, — ответил тот, обтирая кисть мокрой тряпкой и бережно пряча ее в деревянный ящичек.

— Вечно этот Леонардо преувеличивает, — пробормотал Мазони, кладя немного свинцовых белил на ствол дерева, под которым на картине толпился народ, увидевший Деву с младенцем.

Паренек уже начал понимать кое-что в основных красках. Но больше всего он восхищался не теми цветами, что получались при обычном смешивании, а блестящими пигментами, в которые добавляли толченые минералы. Особенно ему нравились ляпис-лазурь с ее загадочной густой синевой и киноварь, красная, точно кровь.

Стол на козлах был завален колбами, подставочками и ступками, в которых подмастерья учились смешивать краски. За несколько недель, что он служил моделью, подручным и мальчиком на побегушках, Лука научился разбираться в пропорциях и видах трав так, словно вырос в бакалейной лавке. Он знал, сколько в точности требуется семян, коры и минералов, чтобы, перетирая их в ступке, получить пигмент. В сущности, почти то же он делал и у себя в деревне, закладывая оливки в маслодавильню. Но на самом деле

Лука желал одного — наносить на полотно те смеси из охры, сиены и киновари, которые так заботливо приготовлял.

— Когда ты позволишь мне взять в руки кисть? — спросил он.

— Не спеши, — прогремел в ответ Мазони. Он стоял у стола в халате, покрытом пятнами краски; волосы разделял надвое безупречный пробор. В тридцать три года художник оставался все таким же гордым и насмешливым, как в те далекие времена, когда он приехал во Флоренцию и оказался под покровительством Медичи. Мальчик напоминал ему себя самого в ранней юности; правда, Лука был более простосердечным и не склонным к шуткам. Может быть, поэтому Мазони считал своим долгом учить его не только ненадежному ремеслу художника, но и куда более рискованному искусству идти по жизни. — Терпение, как и месть, — это блюдо, которое подают холодным, — изрек он, тыча пальцем в деревянную дощечку и свинцовый карандаш — продолжай, мол, практиковаться с ними. Это был испытанный способ охладить пыл начинающих.

— Но, учитель, так я никогда не научусь… — возразил мальчик.

— Ну, ну, — снисходительно улыбаясь, оборвал

его Мазони, — учись наблюдая. Погляди, например, на эту древесную крону. — Он указал на верхнюю часть картины. — Что ты видишь?

Лука всмотрелся в листья, выписанные столь тщательно, что казались созданием природы, а не художника: у кого хватило бы терпения изобразить с таким старанием блестящую поверхность листьев и сеть прожилок на каждом? Затем взгляд мальчика скользнул ниже по стволу, до самых корней.

— У дерева извилистые корни, они спускаются почти к самой голове младенца… — сказал он.

— Хорошо, а что говорит тебе этот образ?

— Мне? — оторопело спросил Лука.

— Да, да, тебе, — проговорил живописец. На дьявольском лице его загорелась насмешливая улыбка.

— Не знаю, учитель…

Мазони разочарованно покачал головой.

— Вижу, с тобой придется возиться дольше, чем я думал.

Мальчик вновь принялся внимательно разглядывать полотно: туманные глаза Девы, как у предсказательниц, читающих судьбу по линиям руки, мужчина рядом с ней, в изумлении подносящий руку ко лбу, задумчивый человек в левой

части картины, некто коленопреклоненный на переднем плане — что он протягивает младенцу? Изучив эти лица, Лука не пришел, однако, ни к какому выводу и вновь посмотрел на дерево, под приветливой сенью которого расположилась вся группа.

— Все листья разные.

— Браво, Лука! — воскликнул Мазони, вытирая руки тряпкой, смоченной в скипидаре. — Ты начинаешь видеть. Не подозревая о том, ты подобрался чуть ближе к моему секрету. Нельзя, как делают многие, писать листья на всех деревьях одним и тем же оттенком зеленого, даже когда стволы расположены на одном плане. Возьми немного малахита, смешай с битумом — и получишь темную листву. Если же хочешь добиться светлого тона, надо смешать зеленый с желтым и добавить чуточку куркумы, а для пятен света брать только желтый. Смотри. — И художник сделал последний мазок кистью из тончайшей щетины.

— Но что это за дерево? Не смоковница, не клен, не олива… Ни у одного дерева нет листьев такого оттенка.

— Живописец обязан уметь изображать не только то, что можно увидеть, но и то, что спря-

тано от глаз. Природа вокруг полна тайн. Деревья скрывают свой возраст — но мы узнаём его по кольцам на стволе; в потоках воды таится могучая сила; ночной мрак прячет от нас загадку солнечного сияния; за взмахами птичьих крыльев стоит секрет полета… Если мы стремимся к тому, чтобы живопись была отражением природы, разве она не должна точно так же скрывать свои величайшие тайны?

— Да, учитель, — слегка разочарованно согласился мальчик. — Но вы не ответили мне. Я спрашивал вас не о недостижимой тайне искусства, а всего лишь о загадке вашей «Мадонны». Все в мастерской только о ней и говорят, а еще о вашей неприязни к этому доминиканцу из обители Сан-Марко, для которой предназначена картина…

— Мой драгоценный Лука, вижу, что ты ловишь каждый слух. Но тебе следует лучше усваивать мои уроки. С первого твоего дня в мастерской я стараюсь показать тебе знаки, которыми говорит с нами мир. Если бы ты был чуть внимательнее к моим словам, ты вспомнил бы о том, что я повторял десятки раз: живопись есть отображение мира. Правила, позволяющие нам читать в великой книге жизни, годятся и для картины.

Нужно не оставаться на поверхности холста, а проникнуть внутрь него, пропутешествовать между частями композиции, найти спрятанные от глаза мертвые точки, принюхиваться, как это делает Лупо. — Мазони махнул рукой в сторону собаки, голова которой высовывалась из-за пилястра. — Только тогда ты постигнешь подлинную суть картины. Правда, чаще всего самое трудное — увидеть то, что прямо перед глазами. Твой приятель Леонардо очень любит эту загадку.

— Какую, учитель?

— Очень просто. Догадайся: чем оно больше, тем менее заметно.

Мальчик растерянно почесал в затылке.

— Не понимаю вас, учитель.

— Ладно, будем надеяться, что со временем ты поумнеешь, — улыбнулся тот. — Но хватит болтовни. Мы не в монастыре, чтобы терять целый день на богословские споры. Бери-ка корзину и отправляйся на Сан-Джусто-алле-Мура. Нам надо доделать входную арку, а лазурь и киноварь закончились. Возьми по унции того и другого

и не давай этим монахам из Инджезуати[3] обвешивать себя. Им палец в рот не клади — всю руку откусят.

Мальчик сунул в карман пять лир и вышел на улицу. Там царила полуденная трудовая суета. Из особняков, спрятанных за оградами, уже расползалось благоухание готовящихся блюд. На балконы, где проветривались одеяла и ковры, выходили распахнутые двери спален, и оттуда тянуло ладаном. Порой доносились печальные звуки лютни — то благородные дамы во дворцах оплакивали безответную любовь. Однако в кварталах простолюдинов с любовным томлением боролись иначе — на голову ретивому кавалеру из окна выплескивали ведро воды, отчего разбегались все кошки и собаки, а соседи получали искреннее удовольствие.

Проходя по виа Маттонайа, мальчик обменялся дружеским приветствием с Микеле ди Чоне, сидевшим перед своей печью. Лицо его было закопчено, землю вокруг покрывала пыль от обожженных кирпичей. Кварталы ремесленников, вроде Сант-Амброджо, с сорняками, растущи-

---

[3] Примечания: 3

Монахи из конгрегации Инджезуати, чей монастырь находился близ Флоренции, были известны своими химическими опытами. Приготовляемые ими краски славились среди живописцев.

ми по склонам канав, чем-то напоминали ему пчелиные соты и навевали воспоминания о деревенском детстве. Этот мир был понятен ему: вот угольщик несет мешок на спине — совсем как муравей, что тащит к себе пшеничное зернышко; вот идет монах, и полы его рясы развеваются на ветру — вылитый ворон, летящий на колокольню с орехом в клюве.

Лука окунулся в шумную суету продуктовых рядов на площади старого рынка. Здесь можно было вмиг узнать все, что творится и замышляется в городе. Продавцы нахваливали свой товар. Каплуны и дичь, окруженные роем мух, красовались на крюках под навесами, подстилки на земле полнились дарами тосканских садов — оливками, овощами, фруктами. Мальчик сталкивался с людьми, спотыкался о мешки с пшеницей и углем, нечаянно ступал в корзины, плыл среди торгового хаоса, словно корабль на грани крушения. Все было внове для него: пройдохи, предлагавшие снадобья, чтобы навечно приворожить любимого, растянувшиеся на порогах лавок нищие с кровоточащими ранами… Лука из любопытства прошел по кругу: все увиденное заставляло кровь кипеть. Но в то же время юноша ощущал себя диким кроликом, выдернутым из

норы. Так он бродил, зачарованный, пока не наткнулся на кругленькую булочницу в бордовом чепце, веселую и развязную: под смех и подначки она предложила пареньку корзинку кунжутных семян и приподняла столовым ножом край его куртки. Мальчик улыбнулся от смущения, уши его горели; но женщина расхохоталась ему в лицо и тут же о нем забыла. Пришлось униженно скрыться, пробираясь сквозь вонь мясных рядов, где земля была усеяна отрубленными головами и внутренностями животных — за них непрестанно дрались бродячие псы.

Наконец в корзинке Луки оказались зелень и мясо для обеда, а также по унции лазури и киновари, заказанные учителем. На обратном пути его внимание привлекло скопище народа. Сначала мальчику показалось, что это несколько женщин вступили в перебранку, однако голос, перекрывавший все остальные, был мужским — властным, металлическим; слова тоже не были простонародными. Лука, хотя и прибыл в город совсем недавно, уже знал, что Флоренция — настоящий рай для зевак: они бродили по людным улицам около рынка, жадно набрасываясь на политические новости и любые сплетни — от альковных тайн до придворных скандалов. Учитель

посоветовал ему держаться подальше от всего этого, чтобы не вляпаться в неприятности; но любопытство перевесило, и мальчик осторожно подошел к кучке людей.

Говоривший был одет не бедно — бархатная куртка, широкий плащ. Когда мальчик смог разглядеть его лицо, он узнал первого банкира Флоренции, Якопо Пацци, — черноволосый, с седой прядью на лбу, он держался с большим достоинством. В толпе Лука заметил нескольких монахов-доминиканцев; городского советника в тоге, живот которого, перетянутый алым кушаком, некрасиво выпирал; троих дворян, одетых по флорентийской моде: легкие туфли, короткая куртка, шелковые рубашки, переливающиеся на солнце всевозможными цветами; и молодого человека, видимо приезжего, судя по поясу с гербом и шапке о двух концах с кисточкой — такие носили герцогские приближенные.

Разговор шел оживленный, на повышенных тонах, и мальчик понял: речь идет о превратностях политической жизни. Даже от новоприбывшего не могло укрыться недовольство некоторых патрицианских родов семейством Медичи, которое железной рукой правило городом. Особое возмущение вызывали новые налоги. Лука, однако, так

и не смог ничего узнать: при его приближении собравшиеся заговорили тише.

И тут произошло новое событие. Произошло внезапно — ничто не предвещало его, кроме наступившей тишины, столь изумленной и столь прозрачной, что душа мальчика затрепетала.

По улице шла юная, стройная дама в платье цвета берлинской лазури и перчатках из оленьей шкуры; взмахи ее ресниц были полны неверных обещаний, огненно-рыжие волосы заплетены в толстую косу и уложены в сеточку, спускавшуюся до самого пояса. Женщина шла с привычно-гордым видом, высоко вскинув голову и не глядя по сторонам, — нет, скорее плыла, будто не касаясь земли. Ее сопровождали три девушки в полосатых батистовых одеяниях: придерживая на головах шелковые шляпки, они старались ни на шаг не отставать от госпожи, окружая ее с трех сторон, чтобы честь дамы не была запятнана чьим-нибудь прикосновением.

По улице поплыл аромат мускуса. Мужчины, до этого жарко споривших, почтительно склонились перед дамой. Тишина настала и под аркадами — раздавался лишь стук женских башмачков по каменной мостовой. Наконец ангельской красоты незнакомка скрылась за две-

рью. Только тогда мальчик услышал, как Якопо Пацци, доверительно обратившись к герцогскому приближенному, назвал ее имя — Кларице Орсини. Эти шесть слогов он произнес с покорностью и страхом, полуприкрыв рот рукой. Вероятно, лишь приехавший издалека советник да Лука не знали в лицо супругу Лоренцо Медичи.

Мальчик, точно оглушенный, стоял на месте, пытаясь задержать в памяти этот миг, в полной уверенности, что созерцал неземное создание. Затем он продолжил свой путь, обходя собачьи испражнения, осторожно пробираясь по булыжным мостовым — на флорентийских улицах можно было нечаянно угодить в стычку или стать жертвой грабителей.

V

Съемная сорокапятиметровая квартира на виа делла Скала не очень-то напоминала жилище в оксфордском Тринити-колледже — ни больших окон со свинцовыми переплетами, сквозь которые можно наблюдать за дождем, ни, конечно же, полок из кедрового дерева со старинными книгами — но я старалась с самого приезда создать в ней уют. На стену я пришпилила кнопками карту Европы, а вокруг нее — открытки с фотографиями моих любимых городов: вид на Лиссабон из замка Сан-Жоржи; копенгагенский порт с Русалочкой; трамвай в сан-францисском квартале Мишн; бульвар Малекон в Гаване; ночная Прага, покрытая снегом, — снимок с угла Золотой улицы. Напротив кровати с двумя большими подушками, служившей также и софой, располагался комод; на него я поставила телевизор с видеоплеером и небольшой музыкальный центр. Кухня отделялась от комнаты деревянной перегородкой. Бытовые приборы оказались маленькими, почти игрушечными, но сама кухня была удобной и светлой.

Моя святая святых помещалась рядом с окном, из которого открывался вид на флорентийские крыши. Там и сям торчали кампанилы — на рассвете они окрашивались густо-красным цветом, а вечером от дыма из труб становились коричневатыми. У окна я поставила рабочий стол с гибкой лампой, а сбоку от него — полочки: на них, вместе с книгами по истории искусства, лежали кое-какие сувениры. Я брала их с собой во все поездки — эти вещицы помогали мне пережить тяжелые минуты. Держать дома дорогие тебе предметы — значит хранить молчаливую верность себе.

Когда умер мой отец, я поняла, что способность человека к сопротивлению ударам судьбы зависит не столько от абстрактных построений или великих идей, сколько от маленьких и вполне материальных вещей, иногда очень простых: ручки с выгравированными инициалами, стеклянного кубика с четырьмя снимками по боковым граням, игрушечного паровозика со слегка покореженным передом, комикса о Корто Мальтезе[4]… На самом деле это был не просто комикс, а первое издание «Баллады о соленом море» — подержанное,

[4] Примечания: 4

Комиксы о командоре Корто Мальтезе создавались итальянским художником Уго Праттом в 1967–1989 годах.

но в хорошем состоянии: Венеция, 1967 год, цена 275 лир. На желтой обложке сам Уго Пратт черным фломастером написал посвящение: «Анне: знай, что где-нибудь тебя всегда поджидает остров, приключение или сокровище». Этот комикс подарил мне отец на четырнадцатилетие, а чтобы достать его, он, как я узнала позднее, через своего коллегу из Болоньи обратился за помощью к самому Умберто Эко. В то время я еще не открыла для себя чисто взрослого удовольствия — держать в руках старое издание, и эта книжка, узкая и высокая, ничем не выделялась из остальных выпусков приключений командора. Но потом она стала для меня подлинной драгоценностью, чем-то вроде маяка, помогавшего мне пережить кораблекрушения. Я брала ее с собой всюду и вот теперь привезла во Флоренцию.

Первое, что я сделала, вернувшись домой, — сняла пальто и повесила его сушиться в ванную, рядом с батареей. Оказавшись в безопасности, мы часто смеемся над собственными страхами, так же как дети при свете дня забывают о ночных кошмарах. Вытершись насухо и переодевшись, я подошла к окну и боязливо посмотрела вниз, но там не было никого: ни монахов, ни собак, ни прохожих — только серость и шорох дождя. Я ре-

шила сварить себе кофе и приготовилась засесть за работу на целый день.

Книги, рекомендованные профессором Росси, намокли, хоть и были в пакете. Я вытерла их и поставила на нижнюю полку, чтобы всегда были под рукой. Затем я зажгла лампу и попыталась расчистить пространство между компьютером, дискетами, горами беглых заметок и разбросанными по всему столу карандашами. Наконец мне удалось высвободить достаточно места, чтобы поставить чашку кофе. Потягивая горячий напиток, я вскользь поглядела на пробковую дощечку, к которой пришпиливала заметки на память. Квадратный листок со списком покупок, до которых так и не дошли руки; розовая бумажка — квитанция из прачечной. Я вспомнила, что в тетрадках Мазони тоже имелись бытовые записи — стоимость унции малахита, необходимого для пейзажного письма (четыре лиры), или пяти фунтов воска для свечей (одна лира). Домашние счета перемежались заметками о перспективе и анатомии человека. Главный урок его рукописей заключался именно в этом: все взаимосвязано, все является частью великого полотна жизни, будь то толщина капли крови или бороздки на нёбе у собаки.

Я подумала, что если столь возвышенный художник не пренебрегал ни большим, ни малым, то на моей пробковой дощечке спокойно могут сосуществовать список, включающий в себя зубную пасту и сгущенное молоко, и ксерокопия хронологической шкалы XV века, на которой красным фломастером был обведен 1478 год. Но прежде всего, конечно, следовало немного разобраться в событиях.

———

Взяв листок бумаги, я нарисовала мишень и поместила в центр Лоренцо Медичи, горделивого юнца — слишком юного, чтобы осознавать и обуздывать свой нрав, — гуманиста, любителя головокружительных философских конструкций и ночных бдений и в то же время блестящего, неумолимого политика и охваченного сомнениями поэта.

Я больше всего жажду того, чего меньше всего желаю,

жить дальше — вот что мне нужно.

Чтобы убежать от смерти, я жду смерти,

я ищу мира, но не спокойствия.

Чтобы освободиться от своих цепей,
я ищу льда в огне,
бури там, где царит согласие,
жизни там, где господствует смерть,
сражений среди перемирия…

Свои стихи он строил на антитезах. Возможно, единственное для умного человека средство противостоять превратностям судьбы — построить свою жизнь на противоречии, которое, как говорили древние греки, есть мать всех идей. Лоренцо жадно читал, с двенадцати лет писал стихи, но всегда помнил о своем политическом призвании — ему при всем желании не дали бы забыть об этом. Наверное, он культивировал свои склонности — к литературе и к действию — в двух несообщающихся отделениях души, как те, кто ставит свечки и Богу, и черту.

Контрасты в литературе развивают чувство юмора и ироническое отношение к действительности, но контрасты в жизни никак не могут подготовить человека к встрече с непредвиденным. А именно непредвиденным и была полна флорентийская политика. Кто способен вовремя среагировать на то, чего и вообразить не может? И как не отбросить опасения и страхи, если в

твоем мире ценится только смелость? Разве отважный человек станет повсюду появляться с телохранителями или прятаться от других, скрывая лицо, вечно пребывая в боязни? Старший из Медичи, видимо, считал, что поддаться страху — значит заранее сдаться на милость врагов, и потому решил гнать от себя все домыслы и предзнаменования, забыть о тревогах и дурных предчувствиях, которые, верно, не раз посещали его.

Я кое-что понимала в этом. Именно такого рода переживания я испытывала в последнее время, оказываясь на улицах города, — будто прошлое затаилось на перекрестках и любой сколько-нибудь чуткий человек может ощутить за спиной его незримое присутствие. Это чувство идет от нашей животной природы: словно обоняние тигра, оно предупреждает нас о происходящем или о том, что вот-вот произойдет, хотя мозг не воспринимает эти предвестия, утверждая верховенство разума над инстинктом. Именно здесь было слабое место гуманистов, и Лоренцо, как и множество художников из его окружения, поддался тщеславию собственного интеллекта.

Меня постоянно терзал вопрос: кто же был в городе тем воскресным утром? Боттичелли —

совершенно точно. Девятилетний Макиавелли, совсем желторотый мальчишка, играл в тот день с обручем неподалеку от пьяцца делла Синьория. Свидетелями событий оказались и другие известные люди — гуманист Полициано, Леонардо да Винчи, Пьерпаоло Мазони, географ Тосканелли. Кто еще? Кто из несметного множества флорентийцев, собравшихся на виа Мартелли, у входа в собор, знал, что произойдет? Сколько из них держали оружие под одеждой? Кто отдал последний приказ — о свержении совета, в котором главенствовали Медичи, — высшего органа власти в республике?

Когда все обсуждали участников событий, Мазони задавался вопросом, кто же был душой заговора. В его тетрадке есть упоминание о загадочном существе, не имевшем «ни лица, ни затылка, ничего — ни спереди, ни сзади». Сперва я подумала, что речь идет о призраке — дьявольском наваждении или чем-то подобном, но дальше шла фраза, заставившая меня расстаться с этой мыслью. Мазони имел в виду совершенно конкретного человека: «…зачинщик, вложивший яд в уста многих далеких от него людей, впрыскивавший его в течение долгого времени, который привел в исполнение свой преступный план

обманным и беззаконным путем и был способен поместить этот яд даже в уста любовницы или близкого друга своей жертвы…»

Мазони не ошибался в своих предвидениях: убийца был из высшего света. На третьей стрелке, ведущей к мишени, я поставила крупный вопросительный знак и написала большими буквами: ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК, словно то было название фильма.

С моей точки зрения, заговор созрел в самой Флоренции, где ненависть стелилась по улицам. Если история чему и учит, то прежде всего тому, что дерево для костра всегда берется где-то поблизости; лишь позднее приходят чужаки, чтобы подбросить своих дровишек. Вероятнее всего, Папа Сикст и Фердинанд Арагонский всего лишь оказали поддержку тем, кто разжигал смуту в городе, где Медичи своим невыносимым блеском затмевали всех и вся.

Иногда мне казалось, что еще минута, еще полсекунды — и я найду решение головоломки. Это ощущение посетило меня и ночью, когда я уже засыпала. Оно было мимолетным, и на миг я почувствовала себя на грани открытия чего-то важного, хотя не имела ни малейшего понятия о том, что это может быть. Обычно в таких случаях

говорят: «Слова вертятся на кончике языка». Реальность, однако, была иной: вопросов становилось все больше, а ответов — все меньше. Разволновавшись, я встала с постели; только что стемнело, и за окном зажглись городские огни.

Однажды вечером, давным-давно, я читала у нас дома, в Сантьяго, детскую энциклопедию и наткнулась на рассказ о раскопках Шлимана в Трое. Он поразил меня так сильно, что много лет я мечтала стать археологом. Когда Шлиману было семь лет — примерно столько же, сколько мне тогда, — отец подарил ему «Илиаду», и с тех пор малолетний мечтатель твердо знал: у него одна цель в жизни — отыскать развалины Трои. Потратив сорок лет, он нашел их. Вся жизнь Шлимана была лишь подготовкой к тому моменту, когда его заступ коснулся золотой погребальной маски среди руин Микенского дворца. И совершенно неважно, была это маска Агамемнона или кого-то другого. Главное, что Троянская война оказалась правдой: Шлиман в свои семь лет сердцем почувствовал, что Гомер не мог лгать.

В детстве все так и происходит: простодушие и мечтательность идут рука об руку. Потом приходит взрослая жизнь, и мечты отступают; но есть вещи, которые не забываются. Именно в то

время я окончательно пристрастилась к атласам и книгам. Я часами лежала в постели, на животе, задрав согнутые в коленях ноги, и читала о замкнутом, необщительном мальчике с плохими манерами, который, однако, в пятнадцать лет безукоризненно говорил на аттическом диалекте древнегреческого языка.

Можно найти лишь то, что ищешь, — в этом, пожалуй, и заключается преподанный Шлиманом урок. Иными словами, найти что-то можно, только упорно мечтая об этом. Но я искала во Флоренции не погребальную маску древнего царя, а сведения об убийце, которому пятьсот двадцать семь лет удавалось оставаться незамеченным.

Мой отец принадлежал к школе Шлимана: немецкие методы работы и романтическое представление о ее цели. Сотни раз я наблюдала, как он сидел в своем кабинете до самого рассвета: на лице упорство и методичность, глаза горят, среди бумажных завалов на столе дымится сигарета. Временами я попрекала себя за отсутствие такой методичности в исследованиях: мне хотелось браться сразу за все. В двадцать лет нелегко направить все силы на достижение единственной цели. Лишь позже начинаешь понимать, на что действительно стоит потратить жизнь.

Может быть, именно поэтому я уже три месяца жила во Флоренции, зарывшись в бумаги и старинные манускрипты. Я вошла в тот возраст, когда целеустремленный человек просто обязан поступать как Шлиман — другого выхода нет.

Внезапно вспышка молнии, точно автомобильные фары, осветила комнату. Началась сильная гроза, и, видимо, где-то случилась авария — на улицах воцарилась тьма. Слышался стук дождя по стеклам — похоже на то, как гремят пуговицы в треснувшей коробке.

Я зажгла свечи и села у окна, мысли мои блуждали: книга, генеалогическое древо, имя художника, комната, освещаемая свечами и молниями, за которыми запоздалым эхом гремит гром. Я сосчитала, сколько секунд проходит между молнией и тяжелым — будто где-то в горах прокатились лавина или камнепад — грохотом. Вдали виднелись река, холмы и Флоренция, оставшаяся без света.

VI

Дверь дома с обеих сторон освещалась факелами, вставленными в железные кольца, и была открыта, как и два окна в человеческий рост, откуда всегда доносились взрывы смеха и музыка — играли на бубнах и тамбуринах. Постоялый двор «Кампана» на богом забытой улочке был пристанищем ночных гуляк, отдыхавших в женском обществе от тяжелого дня. Здешние салоны и полутемные альковы были единственным местом во всей Флоренции, где стирались общественные различия, — под крышей этого дома можно было встретить цеховых мастеров, богемных художников, литераторов, банкиров, прокуроров, капелланов… Все они бежали из роскошных особняков, чтобы отведать слоеных «торрони» с сушеным инжиром и вволю напиться вина.

Уже не в первый раз Луке приходилось искать своего учителя в этом гиблом месте. С колотящимся сердцем и неясным предчувствием опасности мальчик пробирался меж веселых компаний, сознавая, что этот мир непознанных возможностей

ужасает его и в то же время притягивает. Между шутливыми подначками женщин и близостью с ними, не раз будоражившей фантазию юноши, существовало расстояние, преодолимое лишь подростковым воображением. Он больше не был тем тощим и узкоплечим мальчишкой, ragazzo, что на подкашивающихся ногах пришел в мастерскую, умирая от голода. Всего за два месяца городской воздух наполнил его неведомыми прежде желаниями. Пару недель назад он уже начал сбривать пушок с подбородка.

Лука шел по улице, словно по плохо натянутому канату, рискуя при малейшей оплошности свалиться в пропасть искушения. Многие из выпивох-одиночек и из тех, кто бесстыдно обжимался по углам, носили разукрашенные маски, блестевшие в свете факелов, чтобы остаться неузнанными все три безумных дня, когда город охвачен хаосом карнавала. Мальчик миновал вакханалию музыки, серпантина и рисовой пудры быстрым шагом, стараясь нигде не споткнуться. Им овладело смутное чувство вины — не только за себя, но и за слабости учителя. Он успел примириться с темными сторонами характера Мазони, но видеть, как тот посещает пристанище всякого сброда, было неприятно.

Пьерпаоло Мазони обладал искрометным талантом, но, как и многих незаурядных людей, его порой осаждали демоны уныния. Причину этого он хранил в тайне, и мало кто знал о ней. В мастерской не говорили о его прошлом, но в городе кое-кто рассказывал историю о том, как Мазони пожизненно заточили в подземельях тюрьмы Финке за некое страшное преступление и как сам Лоренцо Медичи вытащил его оттуда. Некоторые называли его беглецом и дезертиром; были и те, кто уверял, будто Мазони принадлежал к еретической секте Братьев свободного духа, вместе с географом Тосканелли, философом Марсилио Фичино, поэтами Полициано и Кристофоро Ландино, а также многочисленными византийскими эрудитами, спасшимися в Италии от страшного султана Мехмета II. Византийцы, избежавшие кровавой расправы, будто бы привезли с собой целые связки рукописей: в них заключалась вся греческая наука и философия от Фалеса Милетского до Аристотеля, а еще изгнанники питали подозрительную склонность к новомодному искусству геометрии. Многие почтенные христиане, мирно преподававшие под защитой цехового права, не выносили этих новоприбывших, которым благоволили крупнейшие

флорентийские меценаты. На греков нередко поступали анонимные доносы с обвинениями в идолопоклонничестве, содомии и святотатстве.

По всему городу стояли внушающие страх buchi della veritá — нечто вроде каменных ящиков с медным верхом, куда опускались доносы. Настоятели монастырей ежедневно вынимали их и вручали государственным чиновникам. До мальчика доходили слухи о том, что сколько-то лет назад Мазони оказался под угрозой отлучения от Церкви, подвергся пыткам и что тело его до сих пор хранит отметины от раскаленного железа. Лука не осмеливался спрашивать учителя об этом, но подслушанные обрывки двух-трех разговоров позволяли предположить, что слухи были недалеки от истины.

— В страдании есть мрак, — говорил однажды Мазони, стоя перед «Страшным судом» своего ученика Пьетро Вануччи, прозванного Перуджино. — От страдания у человека загорается что-то внутри, как и от наслаждения, но с другим смыслом. Это отрицание всего. Это верх опьянения, но только другого — его можно прочесть в глазах приговоренных, святых или еретиков. Во время пытки словно оказываешься под действием колдовских трав. В голове разом проносится все, что

ты читал или слышал. Ты не только признаешься в том, чего требует инквизитор, — ты выкладываешь все, что, по-твоему, он хотел бы услышать. Это самая ужасная связь… Есть вещи, которые мне хорошо известны…

То были не пустые слова: страх проникает в самые отдаленные уголки сознания, точно сумасшедший ветер, от которого меняется настроение, появляются провалы в памяти, замутняется восприятие реальности.

Так или иначе, бывало, что печальным туманным утром учитель впадал в непонятное расстройство, отнимавшее у него всякое желание жить. Исчезало присущее ему отменное чувство юмора, и Мазони погружался в глухое молчание, словно из-за душевной боли все меркло у него перед глазами. Проходили дни, порой недели, прежде чем он вновь делался разговорчивым. В худшие моменты казалось, будто он связан с миром столь тонкими нитями, что порвать их может простая перемена позы во сне, — как если бы, заснув, он блуждал по царству мрачных предвестий. Тогда Мазони просыпался, еле дыша, с потухшими глазами. Единственное, что в таких случаях могло слегка успокоить учителя, — это трехдневное пребывание в «Кампане», где какая-

нибудь сострадательная куртизанка прогоняла тяжелые воспоминания курениями из лавра и восточных трав.

Среди тех, кто продавал любовь за четыре лиры, были женщины из всех уголков Европы: сицилийки, крутящие задом перед каждым, кто шел за ними следом, полнотелые немки, бургундки в платьях с глубоким вырезом и даже беглые рабыни, чуть ли не таявшие в воздухе, когда скидывали платье, но готовые лечь под любого простоватого выпивоху, который желал утолить похоть здесь и сейчас. Скрип кроватных пружин и громкие крики девиц — казалось, что их режут, — возбуждали клиентов настолько, что ни один, пьяный или трезвый, не мог уйти, не отведав женских прелестей.

В перегородках между помещениями имелись деревянные жалюзи — они позволяли наблюдать за происходящим, оставаясь незамеченным: высший европейский лоск. Ходила молва о любопытствующих, что застывали на месте, узнав в женщине внутри алькова собственную жену; о наемных убийцах, переодетых танцовщицами, которые приходили сюда ругаться с заказчиками; о выходках настолько бесстыдных, что Лука обмирал от страха при одной мысли, что сейчас

пойдет этими коридорами в поисках учителя. Но художника не видели в мастерской уже три дня, надо было выполнять заказы, и повеление Верроккьо звучало недвусмысленно:

— Приведи его, пусть даже на веревке, снятой с виселицы.

Мазони пользовался в заведении известными привилегиями, так как обращался с этими женщинами без имени и средств словно с пленными принцессами. Поэтому те боролись за право вернуть ему вкус к жизни, не задавая вопросов и не прося ничего взамен. Впрочем, живописец расплачивался с куртизанками на свой манер — делал их моделями для картин. Они позировали с необычайным достоинством — точно невинные девы, прилегшие с разметанными волосами у ног художника.

Насытившись любовью, Мазони долгие часы пребывал обнаженным, замкнувшись в себе и неспешно отдыхая: плотские утехи он приносил на алтарь мысли. Так он лежал до рассвета, укрытый льняной простыней, и никто не осмеливался потревожить художника в священных размышлениях.

Когда под утро накал страстей спадал, повсюду слышались признания посетителей, которым

нужно было облегчить душу и выговориться. Тут можно было узнать о многих вероломных поступках и даже о государственных тайнах: дворяне и чиновники выбалтывали их своим любовницам на одну ночь, не заботясь о том, что за стенкой все слышно.

Именно так Мазони выяснил, что Папа Сикст приобрел город Имолу за сорок тысяч дукатов, одолженных ему банкирским домом Пацци. Капитана папской апостолический гвардии вместе с архиепископом Пизы Франческо Сальвиати видели входящими в особняк Пацци на улице Балестриери, недалеко от церкви Бадия. Высокопоставленный папский офицер посетил одного из главных кредиторов его святейшества — без сомнения, то был недобрый знак. Но Мазони вспомнил об этом лишь несколько недель спустя, когда во время торжественной мессы, во мраке собора, он почувствовал на шее мягкое прикосновение чьих-то пальцев.

Художник обернулся — и увидел, что вплотную к нему стоит человек с обоюдоострым кинжалом в руке. Он испугался — не смерти, а того, что ему могут повредить глаза. Но было уже поздно.

Всегда сложно выяснить, какая часть правды дошла до нас из глубины времен. Но если мы

пытаемся раскрыть секрет, который сохранялся веками, не стоит нарушать последовательность событий. В те мартовские карнавальные дни ничто не предвещало резни в соборе.

Итак, в поисках учителя Лука свернул в узкий коридор, ведущий к спальням: полумрак в них рассеивался свечами, стоявшими в одном большом подсвечнике. Мазони не пришлось искать долго. Он валялся на соломенном тюфяке с улыбкой изрубленного на куски ангела. Увидев наконец мальчика, пришедшего в ужас от такого разврата, художник шутливо спросил его, уж не на похороны ли тот собрался. Лука вздохнул с облегчением: если учитель начал острить, значит, выздоровление не за горами.

Одевшись в полутьме, Мазони свернул листы бумаги с набросками углем и сунул их в выточенный из каштанового дерева цилиндр. Тем временем из глубины комнаты Луке предстало лицо девушки с глазами, словно подернутыми влажной пленкой, — предстало на мгновение, но этого было достаточно: мальчик узнал ее. Он посмотрел прямо на девушку, напрягая все пять чувств, чтобы запечатлеть ее образ в памяти. Она казалась надгробным изваянием — бесстрастная, одетая во все черное, губы перемазаны соком

тутовых ягод, за ухом — красная гвоздика…

Выйдя на улицу, Лука надвинул на лоб шерстяной капюшон, и учитель с учеником направились в мастерскую. В индиговом свете зари вырисовывались очертания городских стен. По мостам, окутанным туманом с реки, гремели первые телеги с дровами. Рассвет посеребрил серые стены дворцов, печные трубы и мостовые; пахло смолой и мокрой древесиной. Все ярче разгоралось восходящее солнце, а вдали виднелись темно-синие хребты Фьезоле.

VII

Реставрационные мастерские Уффици располагались прямо напротив галереи, на втором этаже ничем не примечательного офисного здания. Пока меня вели по лестнице, я разволновалась до спазмов в животе. Накануне я так и не смогла заснуть по-настоящему и провела всю ночь в беспокойном полусне, предвкушая — наконец-то! — встречу с «Мадонной из Ньеволе». Справа от лестничной площадки находилось помещение реставраторов, а слева — дверь, ведущая в административный отдел, где меня и должен был ждать профессор Росси. Войдя в здание, я прошла через металлодетектор, затем предъявила доброжелательной с виду секретарше средних лет удостоверение личности и запаянную в пластик аккредитацию. Возле компьютера стояла вазочка с белой камелией.

— Анна Сотомайор? — спросила она, рассматривая фото.

Я подтвердила с легким беспокойством. Этого момента я ждала так долго, что боялась какого-нибудь сбоя в самую последнюю секунду.

— Я должна встретиться здесь с одним человеком, — объяснила я немного торопливо. — У нас есть разрешение от Управления по делам художественного наследия…

— Да, да, я знаю, — кивнула секретарша, встала, сняла очки и положила их на стойку. — Профессор Росси ждет вас вон там. Проходите, пожалуйста, через минуту я отведу вас в мастерские.

Когда я вошла в вестибюль, Джулио Росси так поспешно вскочил с кожаного дивана, что колени его подогнулись. Профессор рухнул на маленький столик и опрокинул его, вызвав небольшую катастрофу: кипа журналов и каталогов разных выставок разлетелась по полу. Я наклонилась, помогая ему подняться. Вблизи глаза его казались невероятно прозрачными и не серыми, как я думала до сих пор, а рыжими. Когда журналы были водворены на место, профессор сложил губы в слабой извиняющейся улыбке и, вскинув брови, поднял обе ладони, как это порой делают актеры: «Я безоружен». Это была искренняя просьба о снисхождении — лицо его озарилось, и профессор будто помолодел: ни дать ни взять неуемный сорванец, с которым не страшно разделить любое приключение. В профессоре Росси было нечто, трогавшее меня до глубины души, — эта улыбка

помогала легко представить, каким он был в детстве: хрупкий мальчик с узкими костлявыми плечами, в коротких штанишках, который едет на велосипеде по родной тосканской деревне, и дорога с обеих сторон обсажена оливами. Я ухитрялась строить догадки о прошлом профессора, хотя он ничего мне не рассказывал — например, о его музыкальных или книжных пристрастиях. Росси был очень застенчив в общении с окружающими, но я, в свою очередь, была уверена, что сама могу придумать целый мир. Профессор был одет не так строго, как накануне: рубашка с расстегнутой верхней пуговицей, поверх нее — спортивный свитер и рыбацкая куртка. Он так и остался стоять, точно боялся сесть снова, и принялся рассказывать мне о сложностях реставрации, спокойно, опять обретя уверенность в себе, сунув руки в карманы и легонько раскачиваясь вперед-назад. Наконец явилась секретарша с двумя охранниками и попросила нас следовать за ней в мастерские.

В зале, где работали реставраторы, была установлена замкнутая система видеонаблюдения. Сам зал представлял собой квадратное помещение с выложенными белым кафелем стенами. Пахло какой-то химией, будто в лаборатории.

Окна были прикрыты рисовой бумагой: листы кремового цвета защищали картины от прямых солнечных лучей. В центре зала на четырех больших столах лежали ждущие своей очереди полотна. Не будь камер на потолке, помещение можно было бы принять за подсобку: металлические шкафы, крючок на стене с висевшей на нем парусиной с кармашками для разнообразных щеток и кистей, а в глубине — стопка облицовочной плитки и отделанная такой же плиткой консоль, на которой лежали большие пакеты из супермаркета и перьевая метелка.

Крепкий седоволосый мужчина в белом халате, с прямоугольной, точно обтесанный камень, прической, с улыбкой поспешил к нам.

— Джулио! — воскликнул он, увидев профессора Росси, и добродушно хлопнул его по спине.

Профессор в ответ положил руку на его плечо, но только спереди. Это чем-то напомнило мне средневековую церемонию посвящения в рыцари, а разница в росте между Джулио и его другом только усиливала впечатление. Несмотря на это, профессор чувствовал себя раскованно, судя по тому, что впервые за все время нашего знакомства взял меня за руку. Я осталась чуть позади, он подошел, непринужденно подхватил меня под

локоть и повел к остальным.

— Анна, разреши представить тебе известного реставратора Франческо Феррера, лучшего врачевателя картин во всей Италии и моего доброго друга. Это ему пришлось выдержать всю тяжесть спора с Ватиканским архивом по поводу «Мадонны из Ньеволе». — Тот дружелюбно улыбнулся, но одновременно смерил меня долгим и проницательным взглядом человека, привыкшего по роду своей деятельности сразу же обнаруживать непорядок, взвешивать и оценивать увиденное. — А это Анна Сотомайор, — продолжил профессор, не отпуская мой локоть, — моя ученица, о которой я говорил. Она пишет диссертацию о Пьерпаоло Мазони.

— Весьма любопытный живописец, — сказал реставратор, протягивая мне руку.

Я не очень уверенно пожала ее, но ответное рукопожатие было твердым. У Феррера были большие шершавые пальцы гончара, говорившие о крепких нервах и способности к сосредоточению. Это был плотный, широкий, краснолицый мужчина, уроженец Пистойи, по словам Росси; выглядел он лет на шестьдесят с лишним. Внешне он напоминал ремесленника и, возможно, сознательно это подчеркивал, по контрасту

со своей академической карьерой. Глаза его были маленькими, но живыми и искристыми. Взгляд Феррера словно ласкал все, на что попадал. Но в то же время оставалось ощущение, что этот человек способен в один миг прикинуть, измерить и воспроизвести все увиденное.

— Я думаю, что при работе со старинными полотнами вам нелегко решить, выдержит картина хирургическую операцию или нет, — сказала я, подхватывая медицинскую метафору профессора Росси.

— Все иначе, синьорина, — ответил тот по-итальянски. — Как и в медицине, у нас существуют различные уровни вмешательства. Применяя современные щадящие методы, мы можем работать с картиной без риска повредить ее. В сущности, — добавил он, пока мы шли по залу, — это философский вопрос, *если вы понимаете.* Есть приверженцы оккультистских методов, во главе с монсеньором Готье, а мы здесь отстаиваем принцип читаемости картины. Допустим, у нас имеется пергамент со стихами Данте. Отдельные слова неразличимы из-за пятен от сырости. Как вы считаете, не надо ли очистить его, чтобы прочесть и понять, о чем говорит поэт? — Феррер сделал паузу, ожидая, что я выражу согласие, и

продолжил: — С картинами то же самое.

Затем он слегка склонил голову с геометрической шевелюрой и молча стал разглядывать меня. Во взгляде его я различила почтение, смешанное с любопытством, словно я напоминала ему кого-то.

Сравнение полотна с нечитаемым стихотворением мне показалось довольно занятным, но в то же время неточным. Франческо Феррер обладал даром красноречия в высшей степени, поэтому все его заявления звучали истиной в последней инстанции.

— На самом деле ничего нового, — вмешался Росси. — Церковь всегда предлагала принимать все на веру, будь то тексты, произведения искусства или литургия. Помнишь старый девиз масонов внутри римской курии? «Верить как можно меньше, не впадая при этом в ересь, чтобы повиноваться как можно меньше, не впадая при этом в ослушание»? — В голосе его слышалась насмешка. — Таинство оказалось на службе у власти. — На миг мне почудилось, что это мой отец разразился обычной для него антиклерикальной тирадой, хотя интонация профессора Росси была скорее философской, чем вызывающей. — Впрочем, как ты знаешь, — прибавил он, обращаясь

ко мне, — в этом заключалась главная причина Реформации.

Поучающие нотки, проскользнувшие в последней фразе, мне не понравились. Каждый школьник прекрасно знает, что Лютер выступал за свободное толкование Священного Писания, тогда как высшие католические иерархи полагали, что прямое участие паствы в таинствах приведет к потере влияния Церкви. Напоминание о столь элементарных вещах означало, что мне указали на место — довольствуйся, мол, прописными истинами. Вряд ли кому понравится, когда его ставят так низко.

— Да, — ответила я, в оскорбленной гордости взяв на себя роль адвоката дьявола, — но одно дело — добиться *читаемости* картины, — я сознательно подчеркнула это слово, — и другое — прояснить то, что художник, вероятно, намеренно сделал неоднозначным. По крайней мере, с «Мадонной из Ньеволе» так и обстоит дело.

Я подумала, что для меня читать картину гораздо труднее, чем книгу. Для начала, картину невозможно рассматривать с той же точки зрения, что и ее создатель, ибо он всегда внутри нее. Невозможно и полностью находиться снаружи: стоит подойти к картине, как она затягивает

тебя, — это знает каждый, кто оказывался лицом к лицу с произведением искусства. Не говоря уже о том, что некоторые художники дьявольски умело сопротивляются попыткам «прочесть» их, прибегая к секретным кодам, символическим и образным, которые доступны лишь немногим посвященным. Пожалуй, самый известный случай — это Леонардо, но профессор Феррер должен был знать не хуже меня, что к искусству шифровки картин автор «Джоконды» приобщился в мастерской Верроккьо — и, несомненно, благодаря Пьерпаоло Мазони.

Реставратор заговорщически улыбнулся, словно прочел мои мысли.

— Как хорошо, что ваша ученица на нашей стороне. — Он подмигнул профессору Росси. — Если ею заинтересуется Ватикан, мы погибли.

— Я же говорил, она умная девочка, — отозвался тот.

— Вероятно, никто не может рассматривать картину глазами ее создателя, синьорина, но ведь монсеньор Готье считает, что ее вообще невозможно рассматривать никакими глазами, capito? — Феррер то и дело вставлял в свою речь это словцо. — Пока что его маневры имеют успех: проект реставрации отправлен в долгий ящик, и

до разрешения спора картину нельзя выставить, так что она остается вся в грязи и нераскрытых тайнах. — Он показал пальцем на металлическую дверь в дальнем конце зала, рядом со стопкой плиток. — Можете сказать спасибо профессору Росси с его связями — иначе вы тоже не смотрели бы на нее своими чудесными глазами.

Через пять минут перед нами предстала «Мадонна из Ньеволе». Феррер сделал знак охранникам, те специальной карточкой открыли дверь, вынесли полотно и по указанию реставратора водрузили его на прочный щит с трехногой подставкой, установленный специально для этого перед окном.

Картина находилась в плохом состоянии — это было совершенно ясно. Поверхность ее местами покрылась темно-коричневым грязным налетом. Повсюду виднелись тончайшие трещинки, как если бы в ветровое стекло кинули камень.

— Трещины возникают от окисления, этому подвержены все картины той эпохи, — объяснил Феррер, — однако красно-коричневый тон в некоторых местах относится к периоду после тысяча четыреста семьдесят восьмого года — даты создания полотна. Я полагаю, что он появился позже Мазони.

— То есть, по-твоему, картину подновляли? — спросил профессор Росси, поправляя на носу очки.

— Ну, по крайней мере, в техническом описании утверждается именно так. После ультрафиолетового анализа возникли определенные сомнения в атрибуции, и мы, как обычно, прибегли к комплексному анализу. Были взяты поперечные срезы и исследованы под микроскопом. Обнаружилось, что верхний коричневый слой проник в лежащий ниже, хронологически более ранний. Это значит, что поверхность картины к тому времени должна была уже растрескаться, чтобы в трещины проникла свежая краска. Скорее всего, верхний слой был нанесен после смерти Лупетто, поскольку для появления трещин требуется много времени, лет тридцать — сорок. Мы не знаем лишь, было ли подновление сделано по эстетическим причинам — неким беззастенчивым реставратором, желавшим «улучшить» картину, — или же…

Феррер замолк, лицо его озарилось самодовольством. Видимо, ему нравились небольшие драматические паузы и тому подобные эффекты: белые брови удовлетворенно сдвинулись, словно ему доставляло громадное наслаждение

разжигать наше любопытство. Разновидность интеллектуального кокетства — вроде того, что заставляло Холмса развертывать свои построения перед Ватсоном. Было понятно, что это старое развлечение двух друзей.

— Или же что? — нетерпеливо поинтересовался Росси, включаясь в игру.

— Или же, — веско проговорил Феррер, выделяя каждое слово, — картину подновили по идеологическим мотивам.

Они пустились в рассуждения технического свойства, а я отдалась магнетической власти картины. То было довольно большое для такого жанра полотно — примерно метр семьдесят в высоту и метр пятьдесят в ширину. В центре композиции находились Мать и Младенец, но они не подчиняли себе пространство, а скорее были заключены в нем. Оба казались до крайности уязвимыми, словно чувствовали угрозу от окружавшей их плотной толпы ангелов или пророков, на лицах которых читались скорее испуг и удивление, нежели преклонение.

Деве на вид было лет двенадцать-тринадцать, не больше. Она сильно отличалась от идеализированного образа Мадонны с длинной шеей и томным взглядом: таких писали Боттичелли

и другие ренессансные художники. Мария на картине была ребенком, красивой, на первый взгляд, девочкой: правильные черты, высокий лоб, глаза-миндалины, затуманенный взгляд. Светлые волосы мягкими волнами падали на левое плечо, но что-то в выражении лица Девы причиняло подспудное беспокойство. Можно сказать, что от всей сцены исходил холод, — даже не холод как таковой, а скорее почти ощущаемое присутствие холода, как бывает, если недалеко от тебя находится что-то ледяное. Я рассмотрела все черты ее лица, одну за другой, а потом перешла к улыбке. Вот оно! Улыбка «Мадонны из Ньеволе» была черной, беззубой, и оттого нижняя часть лица производила впечатление волчьей морды. Возможно, легкий слой прозрачной краски цвета слоновой кости, наложенный на зубы, просто стерся со временем и осталась лишь черная основа? — подумала я. Но нет: у Младенца я увидела то же самое, словно это была семейная черта. Исключая эту особенность, ребенок выглядел совсем обычным: из плоти и крови, рожденный от галилейского плотника и иудейской девушки-подростка, которая потеряла девственность только при родах. Обнаженному Младенцу было года два с лишним: устроившись в подоле ма-

тери, он играл с колокольчиком, терявшимся в его руке. Видимо, звон успокаивал его — ребенок уже предчувствовал и свою смерть, и то, что ни Мать, ни все эти люди его не спасут. Художник ясно давал понять, что Младенца в будущем ждет трагическая гибель.

Остальные персонажи картины не образовывали тесной кучки: то была рассеянная и явно незаконченная группа, которая появлялась из черного фона, как бы клубившегося благодаря умело положенным мазкам белой краски. Нельзя сказать, что они не испытывают страха или почтения к Мадонне: на некоторых лицах, если вглядеться, заметны напряженность и тревога.

Мне хотелось обследовать полотно сантиметр за сантиметром — ведь так я могла получить бесценные сведения о Мазони: не только о его методах работы, но и об умонастроении, о видении мира. Но я не ожидала, что сейчас услышу нечто еще более зловещее.

— Поглядите на него. — Феррер не ткнул пальцем в картину, но по тому, как он решительно и бесцеремонно направился к ней, я поняла, что это может произойти. Он показал на высокого, со вкусом одетого юношу в длинном плаще. Лицо его впечатляло — мужественное, словно выре-

занное ножом, — но в глазах светилось какое-то сомнение. — Нельзя утверждать на сто процентов, но я почти уверен в том, что перед нами — автопортрет Лупетто. Итальянские художники пятнадцатого века часто изображали себя на собственных холстах, обычно смотрящими за пределы картины, как вот здесь. Кажется, будто он — связующее звено между созданной им воображаемой действительностью и реальным миром зрителя. Правда?

— Так же, как Хичкок в своих фильмах, — брякнула я, не подумав.

— Да, — улыбнувшись, сказал Росси. — Хотя я не думаю, что мастера эпохи Возрождения делали это из тщеславия, как знаменитый режиссер. И вряд ли они обладали британским чувством юмора. Вероятно, этого требовала логика построения композиции.

Реставратор потер нижний угол картины кусочком влажной ваты. Из темноты внезапно выплыла едва намеченная голова овчарки, которую я до того не видела. Собака, нарисованная в профиль, сидела в ленивой позе у ног мужчины в плаще. Уши ее, однако, были навострены, а взгляд говорил о готовности ловить загадочные сигналы, стоявшие за приказами хозяина. Я

вспомнила, что в одной из хранящихся в архиве тетрадок был почти такой же набросок песьей головы, сделанный сангиной. И этот союз человека и собаки сразу же стал для меня ядром всей картины.

Я шагнула вперед, чтобы обстоятельно их разглядеть. Блестящий, вышитый по краю плащ был, судя по складкам, из дорогой ткани, но ворот рубашки выглядел потертым и влажным от пота; лицо и руки довершали образ человека, привычного к труду. Мужчина был подпоясан кожаным ремнем с бронзовыми или медными заклепками, с которого свисало что-то вроде сумки. Присмотревшись, я увидела, что это не обычный кошель ремесленника, а книга или небольшая тетрадка размером с колоду карт. Не оставалось ни малейших сомнений: это единственный сохранившийся портрет Пьерпаоло Мазони.

Поза художника изобличала человека действия, знающего, куда он идет, но что-то в его глазах говорило: он предпочел бы об этом не знать. Видным мужчиной я бы его не назвала — скорее он принадлежал к загадочной породе людей, источающих непреодолимый магнетизм. Мне подумалось — у Мазони, наверное, был очень низкий голос, как у Тома Уэйтса. Я вспомнила

последний диск Уэйтса. «Как выбирает Господь? Чьи молитвы он отвергает? Кто стоит у руля? Кто бросает кости?» Эту песню я в последний раз слушала за несколько дней до приезда во Флоренцию в «форде фиесте» Роя, одного из любимых учеников отца, которого тот определенно хотел бы видеть своим зятем. Рой вел машину, включив музыку и высунув локоть в открытое окно. Солнце рисовало на ветровом стекле узоры, мелодия разносилась по окрестностям. Отличный был день: пиво, салями, сыр, раскладные стулья, отдых под соснами, на клетчатом одеяле. Возвращаясь, мы свернули на заправку около пляжа Санто, рядом с заброшенной верфью. Солнце бросало косые лучи на нагретый капот. Помнится, я увидела проржавевшие корабли и подумала: вот лучший пейзаж для расставания. Музыка звучала песней любви — хотя, как мы оба знали, любви между нами уже не было.

— Любая реставрация есть истолкование, — уловила я слова Феррера. — Универсальных правил не существует. Для Боттичелли методы одни, а здесь они могут быть совсем другими. Нужно постоянно спрашивать картину и решать, что делать в каждом конкретном случае.

— Если хорошенько поразмыслить, — Росси

почесал висок жестом шахматиста, обдумывающего ход, — то этот критерий годится не только для искусства, но и для других сфер жизни, как частной, так и общественной. Поступки всегда зависят от стоящих за ними намерений или от применяемого к ним истолкования. — Профессор сделал паузу и отошел на пару шагов, чтобы разглядеть картину чуть издали. Так он и стоял неподвижно, вдумчиво уставившись на полотно и чуть прикрыв левый глаз — на манер охотника, что целится в дичь. Внезапно взгляд его, предельно сосредоточенный и целенаправленный, сделался печальным. — В те времена различия между частной и общественной жизнью не существовало — во всяком случае, если говорить о знатных семействах. В этом городе, как тебе хорошо известно, — он посмотрел на меня поверх очков, и вид его стал еще более профессорским, — не только зародились политические теории: именно здесь жажда личной власти достигла немыслимых пределов. Ревность, зависть, месть, убийство — все это типично флорентийские грехи.

Порой я изо всех сил ненавидела Росси за этот поучительный тон, страшно меня раздражавший. Конечно, я не могла надеяться на дружеское

обращение, как Феррер, но хотелось бы слышать в его голосе чуть менее лекторские нотки.

— Не будем ходить далеко, — продолжал он тем же тоном. — Не забывай, Анна, что эта картина была подарена Медичи в тысяча четыреста семьдесят восьмом — в год заговора. Многие намерения были еще неявными, всегда можно было отвертеться или начисто все отрицать. Сколько тех, кто был тогда в соборе, могут сказать: «Я тебя не знаю, я тебя не видел, меня никогда здесь не было…»! Так всегда бывает в случае преследований и заговоров. — Он остановился и посмотрел на Феррера, словно внезапно что-то сообразил. — Но все это само собой разумеется. Грязные дела случаются и сегодня, и не только в политике. Скажем, в университете происходит нечто похожее: та же византийская ненависть, те же интриги. Правда ведь, Франческо? Мы оба знаем, до чего они способны дойти.

Мне показалось, что я упустила что-то, но выбранная профессором загадочная манера изъясняться удержала меня от вопросов. Я подумала, что он намекает на какие-то свои проблемы, и не мне в них вмешиваться.

— Certo[5],— неохотно сказал Феррер: ему, видимо, не нравилось, что разговор зашел о личном. — Удивительно, что, даже зная, мы не можем избежать этого. Не так-то просто упорядочить все, что нам известно, — ловко свернул он на другую тему. — Посмотрите на картину. От нас ускользают тысячи оттенков: некоторые мы не способны различить, остальные находятся в мертвой зоне. Возьмем вот эту коленопреклоненную фигуру, — он показал на правый край холста: там был человек в черной куртке, шелковых чулках и плаще малинового бархата с воротником, отороченным мехом лисицы. — Поначалу мы видим только желтовато-зеленый цвет лица и орлиный нос, но, если приглядеться, можно установить, что мужчина протягивает ребенку цветок то ли клевера, то ли жасмина. Искушенный глаз ботаника сразу заметит, что это Eruca sativa, или попросту руккола, символизирующая страсти Христовы из-за крестообразной формы цветка и горького вкуса. Нам станет доступно все, если снять шоры, но нас пугает суровость мастера. К примеру, обратим внимание на этого задумчивого человека, — палец Феррера передвинулся

[5] Примечания: 5
Конечно *(ит.).*

на противоположный конец полотна, — сановника или пророка, изображенного в несколько неестественном ракурсе, особенно в области левого плеча. Что вы видите? Отрубленную руку? Может, и так, но наверняка мы не знаем.

Реставратор замолчал, и лицо его осветилось улыбкой: он увидел, что мы заинтригованы. Вероятно, он играл в шахматы так же хорошо, как Росси, и так же любил всяческие загадки. Неудивительно, что они стали друзьями. В обоих было нечто общее — страсть к расследованию, необычная во взрослых людях и восхищавшая меня. Они напоминали подростков, что перешептываются в кино, желая разгадать все загадки и раскрыть все тайны. После нескольких секунд неловкого молчания Феррер заговорил вновь:

— Жизнь также имеет скрытую от нас сторону. Мы часто думаем: вот вещь, о которой мы знаем все, — но и она недоступна нам полностью. У каждого из тех, кто изображен на картине, есть свой секрет. Кажется, будто они стоят на страже, и вот это-то нас и тревожит: долгое ожидание персонажей, рассчитывающих, что их наконец увидят. Вот в чем хитрость. — Он повернулся и обратился ко мне: — Научиться расспрашивать картину, синьорина, — дело нелегкое и небезопасное.

— Думаю, что рассматривать картину нужно в надежде обнаружить какой-нибудь секрет, — подал голос Росси, — но секрет, который относится не к искусству, а к жизни.

Он сказал это с застенчивой улыбкой, но теперь уже не пряча от меня взгляда, наоборот, его глаза сознательно искали мои. Они глядели задумчиво и приветливо, но осторожно, словно хранили какую-то тайну.

VIII

В пятнах света, проникавшего в темную комнату, там и сям выступали разные предметы: инструменты, прислоненные к стене белые холсты, умывальный таз, соломенный тюфяк. Мальчик в задумчивости встал у окна. Из головы у него не выходили слова учителя, значения которых он до конца не понимал. Каждый раз, когда тот проводил ночь во дворце Медичи на виа Ларга, он возвращался в приподнятом настроении, глаза его блестели от соприкосновения с высшим светом, и мальчик пользовался этим недолгим приливом бодрости, чтобы расспросить художника о сложных вещах — например, о перспективе или кометах. Но часто объяснения, вместо того чтобы рассеять мрак невежества, порождали сомнения и новые вопросы, еще больше разжигавшие жажду познания. Она была так велика, что Лука даже добился от учителя позволения беспрепятственно рыться в книгах, которые тот держал в своей комнате на застекленной полке.

Там имелись «Послания» Горация в переплете из зеленой бараньей кожи, «Триумфы» Петрарки,

«Древо крестной жизни», вдохновившее Данте на создание «Комедии», Библия на простонародном языке и другие рукописные, чуть ли не рассыпающиеся книги со следами пережитых ими приключений.

По ту сторону окна со свинцовым переплетом стояла тихая февральская ночь, в безрадостном спокойствии которой было что-то от временной передышки, ибо начался Великий пост. Ясное лиловое небо еще не стало совсем темным, но кое-где на улицах уже загорелись факелы. Мальчик зажег свечу, и в круге света обозначилась лежащая на краю стола книга форматом в две четверти, переплетенная в черную кожу и закрытая на три медные застежки. Водрузив ее на подставку, Лука перелистал страницы и добрался до атласного шнурка гранатового цвета: на этом месте учитель прервал чтение. Поля украшал цветочный орнамент — колокольчики и листья рукколы сплетались в замысловатый узор. Внимание мальчика, однако, приковали не завитки, а рисунок в начале главы.

То была превосходно выполненная миниатюра — толедской школы, как говорил учитель. В центре изумрудной радуги помещался трон, а на нем восседал человек в тиаре, с посохом, оплетенным

змеей. Лицо его не было ни величественным, ни благообразным, как у Творца на иллюстрациях к священным книгам, а куда более земным. Ярко-малиновая туника с золотым и серебряным шитьем широкими складками спускалась до колен, на которые опиралась левая рука, сжимавшая рукоять обоюдоострого меча; в правой же, поднятой вверх, сидящий на троне держал длинную крестообразную ветвь. У подножия трона простиралась равнина с выстроенными войсками. Воинов с ног до головы обвивали разнообразные бесовские создания, которые, похоже, прославляли Господа в своей сатанинской красоте: вороны, ящерицы с раскрытой пастью, Горгоны, огнедышащие драконы, гарпии, инкубы, взъерошенные орлы, гидры, псоглавцы, змеи, василиски, скорпионы.

Миниатюра была залита светом настолько, что свеча казалась лишней. Мальчик вздрогнул, спина покрылась холодным потом — не только от страха, но и от зимнего ветра, проникавшего сквозь щели в ставнях. Пламя свечи дрожало, и чудилось, будто обитатели другого мира оживают и двигаются… Мальчик не знал, что означают эти создания, сверкавшие такими яркими красками, точно были нарисованы огнем или кровью. Но

что-то во всем этом заставляло его вспомнить проповеди доминиканца из монастыря Сан-Марко, сеявшего ужас среди прихожан: «Вера флорентийцев подобна воску, — говорил этот ниспровергатель устоев, — немного жара, и она растает».

Учитель порой рассказывал о колкостях, которыми обменивались доминиканцы, инициаторы создания инквизиции, и францисканцы, поборники бедности и «священных ночей», из которых рождались все ереси. Но самое опасное в учении «братиков», fraticelli, как называли в Тоскане последователей ассизского отшельника, была не тяга к духовному самосовершенствованию, а прямые нападки на роскошь, в которой купались папы и кардиналы. В своих утопических речах эти монахи предвещали наступление новой эпохи, когда дух Христов, преданный лжеапостолами, вновь снизойдет на Землю через братьев бедной жизни, отказавшихся от всякой собственности. Рим обвинял их в подрыве авторитета Церкви перед земными правителями и преследовал при помощи инквизиции. С тех пор понтифики задумались о создании единого могущественного банка, который навсегда обеспечил бы превосходство церковной власти над светской.

Мальчик чувствовал смятение в душе. Он отдался во власть медленного потока занесенных на пергамент слов, составленных из готических букв, высвечиваемых неверным пламенем. Дыхание ночи изменяло мир. Вековой мрак поглощал пространство, но не время, которое человек научился разделять на годы и месяцы, следующие в нерушимом порядке: философы считали его вечным путем Господа. Где-то там, во времени, были горящий на небе полумесяц, войны пап с императорами, преследования еретиков, тайна затмений, мечты Братьев свободного духа, мохнатые змеи, проворные ласки, гиены и твари из преисподней, во всех подробностях прорисованные на миниатюре… Какой же символический смысл был в ней сокрыт? Мальчик не знал. В сознании его все закручивалось в спираль, как на цветной готической розетке с изображением прекраснейшей колдуньи; губы ее почернели от восточных воскурений. Вид чародейки ошеломил подростка.

Именно тогда, увидев лицо девушки на книжной странице, мальчик понял, что рисунок перед его глазами не соответствует ни одному событию, о котором говорили хроники или священные книги: он обозначал то, что лишь должно было

произойти. Провидение довело его до этого места, чтобы он узнал о готовящейся беспощадной бойне.

На улице, рядом с башней Барджелло, глухо простучали конские копыта. И сразу же наступила тишина, плотная, как туман, что опустился на город после захода солнца. Мальчик больше не мог бороться с усталостью и уронил голову на руки, опираясь локтями на край стола. Он страшился сна и потому пытался держать глаза открытыми. Но сон все равно пришел, а с ним мрачные существа — трехголовые гидры, змеи с закрученными хвостами, с языками пламени на их кончиках — и лабиринты улочек, по которым он брел, погибая от холода и желания помочиться.

Сквозь сон он услышал три удара в дверь и еще три — уже в неверной реальности полусна. Затем внизу раздался скрип, и по коридору кто-то прошагал в сторону его спальни, которая открывалась снаружи — стоило только поднять крючок. Мальчик хотел было встать и задвинуть щеколду, но не смог пошевелиться, словно тело ему не повиновалось. Он увидел, как поворачивается дверная ручка, и крепко зажмурился, боясь, что в прямоугольнике света покажется

существо из иного мира. Дверь со скрежетом открылась, и на пороге возник кто-то смертельно запыхавшийся, чья тень доходила до самой кровати. Незнакомец был таким высоким, что ему пришлось, входя, пригнуть голову. Оказавшись в комнате, он сбросил плащ, скрывавший нижнюю часть лица, и горностаевую шапку, покрытую клочками мокрого снега. Только тогда мальчик узнал учителя, бледного, с невиданным прежде тревожным блеском в глазах.

Он не сказал ни слова. Мальчик подумал, что сердце сейчас остановится, когда художник направился к куску бархата с развешанными на нем клинками: несколько трофеев и полный оружейный набор — две скрещенные шпаги, четыре кинжала разной длины.

Самый длинный из кинжалов он привесил себе на пояс, затем взял несколько баночек с целебными травами и пересыпал их содержимое в фетровый кошелек, надетый на шею. Потом он наконец-то направился к мальчику, который наблюдал за ним, онемев, точно все это было сном, и велел быстро накинуть плащ и следовать за ним.

— Куда мы идем? — осмелился спросить Лука с нечаянной дрожью в голосе.

Они уже свернули с виа Гибеллина на какую-то козью тропу, пахнувшую свежим навозом.

— В ад.

IX

У красного фургона, припаркованного в конце улицы, боковая дверь была откинута вниз, и получился импровизированный магазинчик, словно на ярмарке. Двое парней в непромокаемых куртках и кроссовках стояли, облокотившись на дверцу-прилавок. С высоты своего жилища я видела, как квартал начинает оживленно бурлить: было четыре часа дня. Этажом ниже кошка забралась на перила террасы. Мягкое солнце настраивало на приятную лень; на паперти близлежащей церкви что-то искали и клевали голуби. На виа Пентолини уже открывались гончарные лавки, где по сей день можно было купить традиционные горшки с двумя ручками, давшие название улице. Из распахнутого окна моей комнаты открывалась обширная панорама: колокольни, купола, тополя за стенами старинных монастырей, как, например, обитель Святой Вердианы, которая тридцать четыре года провела в келье, и компанию ей составляли только две змеи. Сверху мне были видны дворики, крыши, террасы с развешанными мокрыми простынями;

кошки на карнизах тоже смотрели на улицу и магазины. В 1478 году в этом городе можно было купить что угодно — от нескромных статуэток для украшения семейной спальни до коршуна или сокола, возвращавшегося по свистку, или тех ужасных уздечек, что надевались на мизинец рабыни и привязывали ее к хозяину на многолюдном рынке. А теперь по вечерам за церковью Санта-Мария-Новелла продавались, кроме того, всевозможные зонтики.

Доносившийся из динамиков хриплый голос Тома Уэйтса уже рассыпал первые звуки «Somewhere», а я размышляла о том, где же кроется подлинная тайна Флоренции. Сперва я подсчитывала дни, оставшиеся до отъезда, словно школьник, отмечающий в календаре, сколько ему еще учиться. Мне так хотелось провести остаток своего студенчества в Сантьяго: запах свежего хлеба, когда по утрам я возвращалась от Роя, кофе со сливками в «Дерби», весенний бульвар Санта-Сусана… Скоро в садах зацветут азалии — и вот оно, мое маленькое счастье. Но теперь мне нужны были только кислые запахи архивных документов, крупные прямоугольники дикого камня на фасадах, придававшие дворцам вид утесов, разноцветный мрамор церквей,

секрет картины, слова художника. Мой город — по-настоящему мой — сместился на две тысячи километров к востоку и на пять веков назад. Гуманисты утверждали, что три четверти нашей жизни уже прожиты другими людьми, давно, на протяжении тысячелетий. Я задавалась вопросом: кем была бы я, если бы жила в 1478-м во Флоренции? Кого бы любила? Какая роль отводилась женщине в этом мужском мире? Я, конечно, думала о Симонетте Веспуччи — молодой, умной, красивой, несчастливой в браке, которая к тому же была талантливым поэтом — не хуже Джиневры де Бенчи — и автором бессмертных строк: «Chieggo merzede e sono alpestro tigre» — «Я, дикий тигр, прошу о милосердье».

Сверкающая «альфа-ромео» притормозила на переходе. Из нее вышел брюнет в приталенном пальто, усатый, с нафиксатуаренными волосами, зачесанными назад, и направился к фургону. Низенький, он выглядел совсем как дирижер: того и гляди возьмет и постучит палочкой по пюпитру. Через несколько секунд машинам дали зеленый свет, и «альфа-ромео» рванула с места. Затем из-за аркад показалась голова профессора Росси. На нем была та же моряцкая куртка, что и накануне, с поднятыми лацканами. Он неуклю-

же шагал, засунув руки в карманы, так, словно шел по какому-то своему делу и лишь случайно появился здесь. Я дождалась, пока он подойдет ближе, и сомнений больше не осталось. Закрыв окно, я включила кофеварку, поставив ее на три минуты. Когда профессор позвонил в дверь, вода уже закипала.

Рукопожатие Росси мне показалось слегка деревянным. Может быть, его смущала теснота или сам факт присутствия в моей квартире, где он до этого не бывал. Он застыл на пороге, с поднятыми плечами и папкой в руке, точно посыльный, который вручает письмо и сразу же уходит. Но в этой излишней официальности я не без удовольствия распознала — или мне почудилось — неуверенность, свойственную мужчинам, когда они боятся собственных желаний. Я повесила куртку профессора на вешалку и пригласила его сесть на диван, но он остался стоять, рассматривая книги на полке, в то время как я хлопотала с подносом, чашками и миндальным печеньем, которое мама регулярно посылала мне из Сантьяго.

Росси водил пальцем по корешкам книг: «Культура итальянского Возрождения» Якоба Буркхардта, издание семидесятых годов из отцовской библиотеки; «Жизнеописания наиболее знамени-

тых живописцев, ваятелей и зодчих» Вазари; том «Истории частной жизни» Дюби, посвященный Ренессансу… Теперь он, кажется, чувствовал себя комфортнее, его настроение изменилось — то ли от музыки, то ли от запаха кофе. Его внимание привлекли мои последние покупки, сделанные по его совету: профессор улыбнулся, увидев, что «Апрельская кровь» Лауро Мартинеса уже была полна карандашных заметок на полях. Взгляд его скользнул по романам: Стендаль, Фолкнер, Конрад, путевые очерки Жозепа Пла… Но больше всего Росси заинтересовался комиксом о Корто Мальтезе.

— Первое издание, — пояснила я, увидев, что профессор читает дарственную надпись.

— Это был великий человек, — пробормотал он, не отрывая глаз от обложки.

— Кто? Корто?

— Нет… — Профессор улыбнулся и погладил подбородок. — Я имею в виду Уго Пратта.

Он сделал паузу и выжидающе посмотрел на меня.

— Я и не знала, что вы были с ним знакомы.

— Нас познакомил общий друг в том венецианском ресторане, куда Пратт обычно ходил… как же он называется? — Профессор прищелк-

нул языком с таким видом, будто его страшно раздражала собственная забывчивость. — Черт… то легендарное заведение на Большом канале… «Виноградная гроздь»! — вспомнил наконец он. — Я никогда не увлекался комиксами, но мы вместе просто обхохотались. Так редко бывает: знакомишься с человеком, и вы оба сразу ведете себя по-приятельски. И чем дальше, тем больше он мне нравился.

На лице Росси появилась спокойная, задумчивая улыбка, как у человека, припоминающего что-то приятное.

Затем он поставил книгу на полку, поколебался несколько мгновений и наконец взял стоявший левее стеклянный кубик с фотографиями. С любопытством рассмотрев все его грани, профессор очень осторожно поставил вещицу на столик, рядом с подносом, и сел на диван, забившись в угол.

На одном из снимков была я с отцом. Мы стояли на небольшом причале, на груди у меня сверкала медаль «Победитель детской парусной регаты, 1985». Мне было тогда семь лет: нос в веснушках, не до конца выросшие треугольные зубы. Интересно, что я совершенно не помнила, как нас снимали, — вспоминался только холодок от

мокрых купальных трусиков под короткими штанами. Загорелый отец с гордостью держал меня за руку, а в его темных волосах еще не виднелось ни намека на седину.

— Это звездный час моего детства, — сказала я, и это было правдой.

До сих пор я не знаю ничего, сравнимого с управлением парусной лодкой: ветер обдувает лицо, ты ставишь парус так, чтобы угол против ветра был наименьшим, а скорость наибольшей.

— У меня начинается морская болезнь, даже когда я плыву в гондоле по каналу, — шутливо признался профессор. — Не хочу и думать о том, что такое регата.

— Ничего сложного. Надо лавировать и идти зигзагами. — Я изобразила в воздухе кривую. — Иногда кажется, что ты удаляешься от цели, но с новым поворотом вновь берешь курс на нее. — Я тоже при желании могла говорить лекторским тоном. — Как в жизни, более или менее, — прибавила я с довольной улыбкой.

Профессор повернулся ко мне, подняв брови, точно мое заявление поразило его или он ожидал каких-то разъяснений.

— Ну… — попыталась я растолковать, наливая кофе, — иногда случается, что мы вроде бы приоб-

ретаем, но на самом деле теряем. А когда кажется, что мы уже коснулись дна, раз — и нас, непонятно как, выносит на поверхность. Разве нет?

— Да, — немного растерянно подтвердил он, — пожалуй, да.

— Плохо то, что на земле не как в море: трудно понять, когда нужно поворачивать. — Я задумчиво роняла слова. — Иногда мы ничего не можем решить годами, а иногда все определяется за считаные секунды.

Не спрашивайте меня, почему я сказала это, — я не представляю. Особенно непонятно, почему я взяла такой высокомерный и претенциозный тон. Такое со мной бывает. Я говорю что-то, не зная зачем, словно это делает кто-то другой и я не могу ему помешать.

— Наверное, мне стоит заняться каким-нибудь спортом на открытом воздухе. Похоже, я узнаю много интересного, — не без иронии заметил профессор, пригубив кофе. Потом несколько секунд прошли в молчании. Три, четыре, пять, шесть… молчание вовсе не стесняло его.

— Дело в том, что мы в Галисии привычны к морю и к горам, — сказала я, стараясь повернуть разговор в сторону от моих высокопарных утверждений. — Как и все, кто живет на севере

Испании. Мой отец очень любил природу. Когда я была маленькой, мы часто выезжали за город. Как сейчас помню: такой восторг! — Я прислонилась к стенке, не переставая улыбаться. — Меня, полусонную, в пижаме с Томом и Джерри, сажали на заднее сиденье, а когда я просыпалась, светило солнце и нас окружали дикие лошади.

Профессор задумчиво взглянул на меня, улыбаясь слегка натянуто, — но я поняла, что обстановка разрядилась. Бог знает сколько времени я разглагольствовала о наших вылазках, завтраках среди сосен, напитках, охлажденных в ручье, о пути обратно, когда вдали виднелся маяк Финистерре, о том, как я прижималась лицом к стеклу и считала звезды, чувствуя себя плывущей среди ночи… Первоначальная скованность исчезла — я говорила размеренно, избегая слишком длинных пауз. От воспоминаний у меня образовался комок в горле — даже не комок, а огромный морской узел вроде тех, что я училась вязать в Лапаманской морской школе. Эти путешествия — словно бегство на необитаемый остров, счастье, которого я никогда впоследствии не испытывала и о котором давно, очень давно, не говорила никому. Я снова посмотрела на золотую медаль на бело-синей ленте с галисийским флажком. Детский

разряд. Первый приз. Хуже всего то, что с тобой навсегда остается ощущение потерянного мира. Я глотнула кофе и искоса посмотрела в окно, где заходило солнце.

Дружеские отношения питаются мелочами, без остатка вычерпывая воспоминания. Профессор рассказал мне о своих родителях, о сельском доме с большой каменной кухней, о дороге, обсаженной оливами. Иногда он переводил взгляд на пришпиленную к стене карту, а потом снова на меня. Он поведал о тете с материнской стороны, которая жила в Триесте и была нашпигована выдуманными историями о своей жизни при австро-венгерской монархии, о больших салонах с мебелью черного дерева, обшитой бордовым бархатом: это был предмет ее девичьих фантазий. Я узнала кое-что о его любимых книгах — среди них было «Сердце» гарибальдийца Эдмондо Д'Амичиса.

Я зажгла настольную лампу. Янтарный свет залил комнату. Профессор сидел, наклонившись вперед, закинув ногу на ногу и подперев ладонью подбородок. Свет лампы подчеркивал угловатый профиль его худощавого лица, двойные вертикальные морщины по обе стороны рта, орлиный взгляд. Двигаться обратно во времени,

рассказывая о себе другому человеку, — значит перешагнуть труднопреодолимую грань. Ведь там, в прошлом, — все, что мы узнавали, будучи детьми: названия ветров, ход приливов, игры, книги — как, например, «Белый клык», который я, десятилетняя, читала в палатке при свете фонаря…

Росси поглядел в окно — так, словно между диваном и огнями, которые уже зажигались на другой стороне улицы, было гигантское расстояние.

— Мое детство было непохоже на твое, — сказал он. — Выжить — вот единственное приключение, о котором мы могли мечтать. — Улыбнувшись, он сделал глоток из чашки. — Я ведь родился в сорок восьмом. До раздела Германии, представь себе. В моем возрасте все, что младше развалин Трои, кажется появившимся вчера. Я много чем занимался в жизни, — прибавил он, посерьезнев. — Да, много чем и ничем одновременно…

— Мой отец тоже родился в сорок восьмом. В декабре.

Профессор принялся созерцать кофейную гущу в своей чашке, словно мог угадать будущее. Он, возможно, хотел услышать от меня больше, но я не знала, что еще сказать.

— Мне всегда казалось, что вы с ним были очень близки, — проговорил он медленно, осторожно подбирая слова. Тон его изменился. — Тебе очень его не хватает, да?

В словах Росси я как будто расслышала легкое предубеждение. Он посмотрел на меня глубоким изучающим взглядом. Не только смысл его фраз, но и то, как они были произнесены, слегка сбило меня с толку, точно мы преодолели некий барьер.

Иногда, говоря о прошлом, забываешь о времени и о дистанции, отделяющей от собеседника. Я внезапно почувствовала, что рассказала что-то лишнее.

— Ну, по-моему, у нас все было как в других семьях… — сказала я, желая сделать беседу чуть менее доверительной. И тут я задумалась, нет ли у профессора детей: он всегда производил впечатление человека одинокого. Любопытство взяло верх, и я решилась спросить его об этом — довольно бесцеремонно.

— У меня были дети, — кратко ответил Росси.

Ни один мускул на его лице не дрогнул, но взгляд помрачнел — будто солнце скрылось за тучами. Я почувствовала себя неловко. Действительно неловко. Но в еще большей мере мной

овладело ощущение какого-то колоссального бесстыдства. Меня угнетало, что он сидит вот так, пристально разглядывая меня на фотографии — живое воплощение счастья: беззубая улыбка, искорки в удивленных глазах, с мокрых косичек, точно с кистей, на белую майку капает вода, тоненькие руки, ноги как птичьи лапки… Я хотела было забрать у профессора кубик со снимками и поставить обратно, чтобы рассеять овладевшее им уныние, но он с неожиданной ловкостью переложил сувенир в другую руку и продолжал вертеть его, будто кубик Рубика. Теперь он разглядывал тот снимок, где все наше отделение искусства стояло на ступеньках площади Кинтана.

— А где здесь ты?

— Вот тут, — я показала на крохотную светлую голову во втором ряду.

Я носила тогда очень короткую прическу, — ну прямо дитя из исправительного дома. Джинсы, черный свитер, излюбленная поза режиссеров «новой волны», включая сигарету в руке и нарисованную на лице искреннюю веру в бессмертие, — как и полагается пылкому подростку, независимо от поколения.

— А это кто?

Росси повернул кубик. На фото крупным планом был снят Рой с арабской куфией на шее. Он смотрел угрюмо и сосредоточенно: тусклые глаза инквизитора, от взгляда которых не скроешься.

— Рой. Мой друг.

— А…

Он поднял брови, словно прикидывая, что именно кроется за моим ответом, и, не сказав больше ни слова, положил вещицу обратно на книжную полку. Музыка закончилась. Росси сел обратно на диван и вновь стал по-профессорски далеким. Налив себе еще кофе, он помешал сахар ложечкой, сделал большой глоток, а потом поставил чашку на блюдечко — так поспешно, будто та была раскаленной или же он куда-то торопился.

— Я обнаружил кое-что интересное по поводу «Мадонны», — сказал профессор, меняя тему разговора.

Пока он открывал папку, я скинула журналы на пол и отодвинула поднос к краю столика. Освободилось немного места. Росси выложил ксерокопии. Они были тщательно рассортированы, местами виднелись подчеркивания желтым фломастером.

— Похоже, картина предназначалась для алтаря церкви в доминиканском монастыре Сан-Мар-

ко, — принялся объяснять Росси. Голос его звучал уже по-другому: спокойный, уверенный, повествовательный, как у диктора в теленовостях. — У Медичи были там прекрасно обставленные кельи, куда они удалялись для философских споров, а иногда кельи служили приютом для их придворных художников. Источники, которыми я пользовался, неоспоримо свидетельствуют о том, что там в разное время жили Мазони, Леонардо и поэт Полициано. Но после Пасхи тысяча четыреста семьдесят восьмого года — то есть непосредственно перед апрельским заговором — Лоренцо Медичи подарил картину Федерико да Монтефельтро, герцогу Урбино, — наверное, в качестве платы за какую-то услугу. Лоренцо, видимо, очень ценил эту работу, так как хотел подарить вместо нее «Клевету» Боттичелли или даже бронзового «Давида» Верроккьо, — но герцог не желал слышать ни о чем, кроме «Мадонны из Ньеволе».

— А зачем ему понадобилась картина?

— Не забывай, что герцог Урбино тоже был большим любителем искусства и одним из главных меценатов того времени. Тебе стоит собрать все доступные сведения о нем — может, это выведет нас на какой-то след. Что, если начать с

Государственного архива? — И он бросил быстрый взгляд на мой ноутбук.

— Думаю, да. — Я хотела встать и включить его, но профессор удержал меня на месте, взяв за руку выше локтя.

— Подожди. Сейчас будет самое любопытное.

Голос его понемногу окрашивался волнением, даже легким восторгом. Глаза приобрели цвет кружки с пивом, пронзенной лучом солнца, с прожилками янтаря, малахита и лазурита, а иногда сверкали блестками старого золота — такой пигмент встречается в некоторых итальянских вертепах.

— История картины, — продолжил Росси, — с тех пор, как та попала к герцогу Урбино, полна романтических приключений. Неизвестно, что с ней было до начала девятнадцатого века, когда она внезапно всплыла во Франции. Вероятнее всего, картину, как и многие другие произведения искусства, забрали наполеоновские войска в качестве военной добычи. В тысяча восемьсот двадцать первом году полотно неожиданно обнаружилось в Испании, во дворце одной вдовой графини по имени Тереса де Суньига-и-Кастро.

— Где-то мне попадалось это имя…

— Конечно, она ведь галисийка по проис-

хождению: графиня Лемос, маркиза де Сарриа. «Мадонна» хранилась в одном из ее мадридских дворцов, на улице Турко. Там собирался кружок, где спорили о границах веры и разума. Наверное, графиня была интересной личностью, хотя и проникнутой мистическими настроениями. Похоже, она вела переписку с некоторыми известными философами; злые языки утверждали, что она состояла в одной из масонских лож, которые тогда появлялись повсюду.

— L'Ami de la fraternité[6]? — спросила я, вспомнив недавно прочитанную книгу о влиянии французской революции на Испанию.

— Нет, — благосклонно улыбнулся профессор. — В древней ложе, возникшей почти одновременно с христианством. В конце концов, все тайные общества на самом деле исповедуют синкретизм, дополняя базовые религиозные представления учением Платона и Каббалой. Алхимики, филантропы, реформаторы, fraticelli… Не так-то легко разграничить учения. С идеями как с реками, которые текут тысячи и тысячи миль, и в какое-то время, близ моря, уже невозможно сказать, где основное русло. Река словно

---

[6] Примечания: 6
Друг равенства *(фр.)*.

исчезает, растворяется в собственной дельте. То есть остается в ней главное русло, но появляется и множество побочных, и эти побочные текут в самые разные стороны, и некоторые из них потом снова соединяются, и ты уже не знаешь, где начинается одно и кончается другое. Иногда ты не можешь сказать, что тут еще можно называть рекой, а что — уже морем. О масонских делах лучше всего осведомлен испанский иезуит Феррер Бенимельи — по крайней мере, это самый знающий и объективный исследователь. По-моему, он живет в Саламанке, и для тебя будет нелишним встретиться с ним, когда поедешь домой на Страстную неделю. Эти общества, в зависимости от страны и эпохи, принимали разные названия: Азиатское братство, Авиньонские иллюминаты, филадельфы, Рыцари черного орла, «Аррабьяти», розенкрейцеры, Братья свободного духа… — Профессор на миг замолк, затем продолжил: — Каждая ложа имела собственные символы — колокольчик, зажженная свеча, начерченный мелом круг, ароматические воскурения — но все они проповедовали один и тот же идеал гармонии и равенства. — И присовокупил, чуточку высокопарно: — Однако позднее некоторые из ритуалов этих обществ превратились в то, что

обычно называется черной магией.

— Так можно ли сказать, что «Мадонна из Ньеволе» принадлежала какой-то секте? — поинтересовалась я, как ученица, задающая вопросы после лекции. Но это был не столько вопрос, сколько размышление, окрашенное надеждой. Я испытывала прилив энергии, животворного ликования, наполнявшего меня оптимизмом, — как в детстве, когда возвращалась с купленным в киоске новым комиксом про любимых героев: запах типографской краски, четкие линии рисунков, ни с чем не сравнимое чувство начала приключения.

— Ну, вряд ли именно секте. Желание изменить мир так или иначе всегда присутствовало в тайных обществах…

— Вы думаете, Пьерпаоло Мазони принадлежал к одному из них? — настаивала я.

Этот вопрос был задан наобум, под влиянием интуиции, помогающей догадываться о том, чего я не знаю.

— Трудно сказать… — Профессор машинально потер подбородок, как часто делал в задумчивости. — Пожалуй, это должна проверить ты, Анна. — Он бросил на меня взгляд, одновременно побудительный и категоричный, но в голосе слы-

шалось не принуждение, а скорее подначивание: Росси словно бросал мне вызов. Затем он добавил более снисходительно: — Помни, что пятнадцатый век стал временем крушения старых верований. Когда Константинополь оказался в руках турок, целая армия эрудитов хлынула оттуда в Италию. Они везли с собой многочисленные связки манускриптов, в которых содержались вся философия и наука, и греческая и восточная. Мастерские служили не только для работы, но и для дискуссий и распространения идей. Многие художники страшились могущества Церкви и выступали за возвращение ко временам первоначального христианства. Если ты помнишь, — он повернулся ко мне, поправляя очки, — на картине и Мать и Дитя лишены нимба, вообще всякого знака божественности, зато у Младенца есть прицепленный к кукле колокольчик.

Профессор поднял брови, то ли вопросительно, то ли выжидающе, словно дал мне ключ к разгадке. Конечно же, я помнила колокольчик. Он бросался в глаза, хотя был совсем маленьким, и, глядя на него в мастерских Уффици, я почти услышала легкий, как у погремушки, звон, призванный забавлять младенца и, может быть, успокаивать его, рассеивать страхи. Но Росси не

сказал больше ничего на эту тему. Откашлявшись, он вновь заговорил о судьбе картины, будто внезапно осознал, что мы слишком удалились от предмета нашей беседы.

— В тысяча восемьсот тридцатые годы картина обнаружилась в Англии. Почти нет сомнений, что она попала туда при Фердинанде Седьмом, который преследовал либералов, — возможно, в экипаже какого-нибудь друга графини, бежавшего за границу. «Мадонна» оказалась в замке сэра Фрэнсиса Джеймса Дальтона, барона Босуорта, герцога Бервика. По данным из семейных архивов, в тысяча восемьсот тридцатом году полотно отдали на реставрацию.

— А что потом? — Я уже не могла сдерживать любопытство.

— Потом картина вошла в коллекцию сэра Фрэнсиса, но, к сожалению, вся документация по этому поводу утрачена.

— Так как же об этом узнали?

— В середине двадцатого века полотно фигурировало среди приданого Кэтрин Дальтон, тринадцатой герцогини Бервик, — красивой девушки с хрупким здоровьем, которая вышла за богатого владельца автомобильного завода. После войны, чтобы поправить дела семьи, английского

антиквара Роберта Гроссмана попросили найти покупателя для картины, — объяснил профессор, надкусывая печенье. Несколько крошек упало на свитер, и он стряхнул их ребром ладони.

— А как потом «Мадонна» оказалась в Уффици?

— Владельцам сделали несколько предложений, но на все последовал отказ. И лишь после смерти герцогини, как раз во время тяжелейшего кризиса на международном рынке предметов искусства, ее муж согласился продать картину за два миллиона долларов, которые выплатила галерея через посредство Гроссмана.

— Не так уж много для «Мадонны».

— Может быть. Но учти, что владелец был флорентийцем и родственником семьи Аньелли. Неудивительно, что он предпочел оставить полотно в родном городе. В конце концов, здесь он мог смотреть на «Мадонну» всякий раз, как того пожелает. — Профессор с шумом выдохнул, как бы ставя точку. — Вот все, что удалось установить. Ну и что ты об этом думаешь?

Он слегка поднял плечи с застенчивым и трогательным видом — в точности как ребенок, ответивший урок и ожидающий похвалы.

— Даже не знаю… — протянула я, стараясь не

выглядеть потрясенной. — Слишком похоже на роман.

Профессор посмотрел в окно. В комнате уже сгустился мрак. «Дай мне загадку, и я создам тебе мир, — подумала я, — дай мне карандаш, и я нарисую тебе квартиру в центре Флоренции с открытками на стенах». Ведь можно влюбиться в голос. Только в голос. Я не желала больше ничего слышать. Профессор приподнял рукав, чтобы взглянуть на часы. Было около семи. Пора прощаться.

Я проводила его до лестницы и сразу же подошла к окну, наблюдая, как он идет по улице своей особенной походкой. Ночь была окрашена в серые и оранжевые тона, как везде, где горят уличные фонари. Уже собравшись отойти в глубь комнаты, я заметила человека, стоящего под карнизом дома напротив. Ростом он был чуть повыше ребенка, но свет фонаря удлинял его тень. Было слишком темно и далеко, чтобы разглядеть лицо, но порой оно освещалось синим отблеском от мигающей вывески отеля «Априле». Человек прислонился спиной к стене дома, воротник его пальто был поднят. То был высокий воротник, подбитый мехом: «лисьи когти» — так, кажется, называлась раньше эта отделка. Это и привлекло

мое внимание. Человек, подняв голову, смотрел вверх, и, похоже, — или мне это лишь померещилось? — он смотрел прямо на мое окно.

X

От реки поднимался густой туман. Его причудливые клочья стелились вдоль улиц. Одних зданий не было видно, другие внезапно возникали как бы из пустоты: башня, колокольня, очертания моста, карниз дворца... Каждый, кто столкнулся бы с живописцем и его учеником, легко принял бы их за серых призраков, выплывающих из тумана вслед за огоньком масляной лампы.

Когда они шли по невероятно узкому переулку, вдоль которого тянулись длинные ограды дворов, Мазони задел плащом за цокольный камень, и в ватной тишине туманного вечера этот шелест прозвучал стоном умирающего. Мальчик закоченел от холода, но воображение его пылало: он строил всевозможные предположения. От ходьбы по неровному булыжнику ноги подгибались, и если бы учитель не поддерживал его за локоть твердой рукой, Лука давно уткнулся бы носом в мостовую. Недоверчивое ожидание, смутные грезы перемешались в нем с отчаянным страхом. Наконец они вышли на площадь, и мальчик

глубоко вздохнул. Глоток холодного воздуха с тончайшими снежными иголками вернул его к действительности. Они стояли у монастыря Сан-Марко, перед боковой дверью, которая вела в кухню и столовую.

Правила предписывали ужинать до наступления темноты, и братья, видимо, давно удалились в кельи на втором этаже. В монастыре царила мертвая тишина.

Их встретил плотный, сильно сутулый монах, лицо его скрывал коричневый капюшон. Прошептав что-то на ухо Мазони, он провел обоих через кухню, где остывала большая печь, и через громадный внутренний двор к южной башне. Монах в темной рясе широкими шагами начал подниматься по винтовой лестнице. Здесь, в южной части монастыря, располагались кельи, отведенные Медичи.

Никем не замеченные, путники поднимались по мраморным ступеням; эхо было таким, точно они шли по подземелью. Пройдя по коридору, они оказались перед запертой дверью. Монах остановился и тихо постучал в нее костяшками пальцев. Мальчику показалось, что с той стороны тяжело дышит какое-то животное, затем послышались шаги. Лука посмотрел на учителя в надежде, что

тот развеет его страхи, но лицо художника словно окаменело. Засов отодвинулся с металлическим скрежетом, и мальчик вздрогнул. Его объял настоящий страх — боязнь не умереть, а увидеть нечто такое, что безнадежно помутит его разум.

Они оказались в келье с низким потолком, где горела лишь одна восковая свеча: судя по тесноте, это было жилище какого-то монастырского служителя. У стены стояла кровать, на которой вздувалось, опадало, ворочалось что-то, больше всего похожее на гору мяса. Понять, что это живое существо, можно было только по прерывистому, как у умирающего, дыханию.

Учитель откинул простыню, прикрывавшую эти жалкие мощи, и мальчику пришлось опереться о пилястр, чтобы не потерять присутствия духа. Как раньше за страницами раскрытой книги, ему показалось, что перед ним призрак; все вокруг расплылось, стало нечетким от потрясения. Две руки, узловатые, будто корни оливы, были привязаны веревкой к брусьям изголовья; на животе — разрез, такой уверенный, что явно был делом рук свинаря. Рубашка превратилась в прилипшие к телу окровавленные лохмотья, сквозь которые угадывались внутренности. Невероятно, что столь варварски изрезанное тело

еще могло быть живым, — если только жертву хотели не убить, а жесточайше пытать. От мысли об этом у Луки застучали зубы. Он перевел взгляд на пропитанный слюной и кровью кляп во рту несчастного и вдруг увидел его глаза — серые, почти прозрачные, они смотрели пристально и испуганно: в этом взгляде было больше ужаса, чем в любом крике.

Мальчик не впервые сталкивался с физическими мучениями, но никогда прежде не встречал такой изощренной бесчеловечности. Ему представилась толпа флагеллантов на улице — такие процессии он наблюдал во Флоренции уже раза три. Кающиеся много значили в жизни города, и о них ходили всевозможные слухи. Одни считали их святыми, другие же обвиняли в ереси. Но выглядели эти люди всегда одинаково: они ходили по улицам гуськом, вплотную друг к другу, сжимая кожаные бичи с металлическими вставками и острыми шипами на концах, и хлестали себя по плечам до кровавых ран, непотребно корчась, под возбужденные вздохи и стоны, которые все учащались и часто перерастали в безумный вопль, когда среди этого скулежа кто-нибудь достигал болевого экстаза. Во главе шествия обычно выступали принадлежащие к братству священники

с хоругвями и свечами, пламя которых металось на углах улиц при особо сильных порывах ветра — но никакая непогода не могла остановить флагеллантов. Даже в зимнюю стужу кающиеся шли полуобнаженными под немилосердным небом, а доходя до церкви, бухались на землю и ползли дальше на коленях, оставляя на снегу кровавый след.

Вначале мальчик счел ритуал вполне благочестивым, но затем учитель объяснил, что шествия часто завершаются в подвале чьего-нибудь дома, превращенного в подлинную камеру пыток. Поскольку никто не мог обрести вечную жизнь благодаря собственным заслугам, некоторые проповедники заявляли, что средством для этого способно стать наивысшее страдание, и многие верующие доказывали свою набожность, умирая во время кровавых обрядов.

— Необходимость покаяния почти всегда влечет за собой необходимость смерти, — говорил порой учитель. Лука хорошо запомнил эту фразу — может быть, именно потому, что не до конца постигал ее значение. Это было чересчур философично для его юношеского понимания.

Поглощенный такими размышлениями, мальчик поднял глаза на пропитанное кровью ложе.

В келье находились еще молодой, безусый монах довольно высокого роста и женщина постарше. Они переговаривались вполголоса. Мазони велел женщине нагреть воды и вручил ей фетровый кошелек с травами, чтобы та приготовила снадобье из крапивы, белладонны и корня алтея. Художник изучил немало ботанических трактатов, знал свойства кое-каких трав и пользовался ими, особенно в периоды уныния. Но сейчас он хотел приготовить отвар, который погрузил бы несчастного в наркотический сон и избавил от мучений.

— Это все, что мы можем для него сделать, — сказал Мазони.

Молодой монах, сложив руки, начал читать жуткую молитву. Мальчик слышал, как ее читают приговоренные на эшафоте, но никогда прежде не обращал особого внимания на слова:

«Господь, всемогущий и вечный, захлестни меня пламенем Своей страсти, помоги мне разделить сладкое упоение с мучениками и святыми. Моя душа, увлеченная на край света, взывает к Тебе о помощи и молит взять их в Твое царство. Прими, Господь, от смиренного раба Твоего горькую желчь, кровь и боль, которые были знакомы и Тебе, пригвожденному к Святому кресту».

Многие флорентийские флагелланты принадлежали к религиозному братству Святой Марии Храмового Креста, или Черному братству. Эти люди, одетые в черное, с капюшонами на головах, сопровождали узников из тюрьмы на виселицу. Neri[7], как прозвали их в народе, медленно шагали рядом с приговоренными, влача цепи и пугая страдальцев рассказами о муках Христа по пути на Голгофу. Хотя братство состояло в основном из простолюдинов, всеми делами заправляли несколько влиятельных семейств, в том числе Пацци и Сальвиати.

Несколько недель тому назад старьевщик по имени Убертино да Верчелли был осужден на казнь за убийство старика. Его повезли, обнаженного, по городу к площади Санта-Кроче, где была воздвигнута виселица, а по дороге терзали раскаленным железом. Лука видел, как телега с Верчелли ехала по предместью Грачи. В его памяти четко отпечатались оглушительный колокольный звон, оповещающий город о казни, свист бичей и замогильные стенания Черных братьев, молчание подавленной и изумленной толпы. Но лишь позднее, в Пасхальное воскре-

---

[7] Примечания: 7
Черные *(ит.).*

сенье, он осознал всю меру этого сладострастия, увидев обезумевших людей, терзавших зубами человеческую плоть, когда на застланный дымом город спускалась злодейская ночь.

В сознании мальчика кровь преступников и кровь мучеников соединялись в какой-то безумный коктейль из казней и покаянных процессий. Лука вспоминал слышанные в детстве истории про религиозные войны, что опустошали целые области: об этих чудовищных побоищах крестьяне Монсуммано вспоминали осенними ночами под серебристой луной. В его мозгу пылала адская смесь из аутодафе, открытых Альберти законов перспективы, папских отлучений, незримых сил, управляющих движением тел, загадок затмений, изучаемых Тосканелли, и шествий флагеллантов…

Душу Луки раздирало на части — в ней перекрикивали друг друга могучие и непримиримые голоса, так что мальчик никак не мог привести к согласию разум и веру, дух и материю, законы небесные и земные. Голова его кружилась, точно мельничные жернова, в которые засыпали больше зерна, чем те могли перемолоть.

Лука снова посмотрел на кровать: с подбородка умирающего стекала тоненькая струйка то ли

крови, то ли слюны. Нижняя челюсть отвисла, словно тот неожиданно испустил дух. Женщина закрыла глаза и перекрестилась, но больше мальчик ничего не видел: внутри у него похолодело, и он упал в обморок.

Очнувшись, он понял, что лежит, но не в келье, а на скамье в кухне. Кто-то вылил на него кувшин холодной воды. Лука попытался встать, но стоявший рядом Мазони удержал его и положил под голову свернутую тряпицу.

— Спокойно, мой мальчик, — сказал он, поднося к губам ученика чашку с подогретым вином.

— Что случилось? — ошарашенно спросил Лука. На лбу у него выступила испарина.

— Поменьше вопросов. Лучше выпей вот это. На сегодня ты видел достаточно.

От вина с терпким вкусом щеки мальчика вновь порозовели, а в голове опять завертелись вопросы. Его интересовала свирепая жажда самобичевания, снедавшая стольких флорентийцев. Он слышал от своего исповедника, что это — единственное христианское средство справиться с позывами плоти, которые уже начинали беспокоить его.

— Вы говорили о жертвоприношениях так, словно вам это очень хорошо знакомо…

— Одна вещь на свете, Лука, возбуждает животных сильнее, чем наслаждение. И это боль. Каждый, кто испытывал ее, подтвердит мои слова. Есть сладострастие боли, так же как сладострастие блаженства. Присмотрись к выражению лица некоторых мучеников на картинах — и ты поймешь, что почти такое же появляется у некоторых животных перед спариванием и перед смертью. Кардиналы прекрасно это знают. Сегодня, как никогда, пламя веры пытаются разжечь с помощью страданий. Сам Папа Сикст советует епископам укреплять благочестие посредством страха. Это действенное средство, а кое-кому оно служит, чтобы заглушить упреки. Но не позволяй ложному благочестию вводить себя в заблуждение. В «Кампане» ты видел кардиналов, разодетых в женские кружева, готовых валяться в ногах у первого же встреченного голубятника.

— А этот человек… Вы его знали?

Мазони на мгновение задумался, потом сжал челюсти так, что скрипнули зубы.

— Я знал его много лет, но не хочу об этом говорить. — Тон художника стал каким-то просительным. — Это печальная история. Не забивай себе голову.

Голос Мазони слегка дрогнул. Мальчик не стал

расспрашивать дальше, но рассказал о своих сомнениях, о терзавших его загадках, о разжигавших воображение свечах, залитых кровью подвалах и мучениках с глубокими ранами на теле.

— Ты слишком много думаешь, парень, — сказал учитель чуть позже, когда они уже покинули монастырь через дверь, ведущую в свинарник. — Не делай из всего этого неправильных выводов. Тело, которое агонизировало перед нами, не принадлежало, в общем-то, ни мученику, ни кающемуся, — изрек он с мрачной убежденностью, — а тому, кого, видимо, пытали в приступе звериного мщения.

XI

Я проснулась перед рассветом и с трудом приподнялась в кресле. Все тело затекло так, что я едва могла пошевелиться. Вытянув руки за спиной, я покрутила головой, чтобы размять шею. Экран ноутбука, по-прежнему включенного, мерцал неярким светом. Я не в первый раз допоздна засиживалась за работой, но засыпать перед компьютером мне пока не случалось. Уже светало, ложиться в постель не хотелось, поэтому я решила принять душ и сварить кофе. По радио передавали последние известия — как раз говорили о судьбе похищенной в Ираке журналистки Джулианы Сгрены. Эта новость уже не один день занимала первые полосы газет.

В ванной я посмотрела в зеркало и поняла, что выгляжу неважно. На щеке отпечатался узор свитера, глаза опухли и покраснели, как это бывает, если проводишь много часов перед экраном. Примочки не принесли никакой пользы, душ тоже не сильно помог. Я чувствовала усталость и дикую тяжесть в голове. Апельсиновый сок, чашка кофе и тосты с маслом отчасти спасли положение, но я

понимала, что день будет невнятным. Такие бывают у каждого. В эти дни ты рассеянно смотришь на завихрение воды в раковине, вспоминаешь о том, о чем вспоминать не нужно, уныло и безвольно отдаешься течению мыслей.

Голос диктора сменился записью — похищенная журналистка просила вывести войска из страны; сообщение, похоже, было распространено арабским каналом «Аль-Джазира». От обращения Сгрены к мужу у меня прямо-таки мороз пошел по коже. «Пьер, помоги мне. Ты был всегда со мной, во всех сражениях. Помоги мне добиться вывода войск, обнародуй мой снимки детей и женщин с ранами от кассетных бомб…» И дальше журналистка говорила: «Этот народ не хочет оккупации. Он не хочет видеть у себя иностранцев».

Как ужасно из свидетеля конфликта стать его участником или, хуже того, жертвой, — подумала я. До чего же тонка линия, отделяющая нас вчерашних от нас сегодняшних, счастье от невзгод, жизнь от смерти. Все вокруг может измениться в одну секунду. В Багдаде, над пеплом и обломками, уже рассвело, но по дымному, мышино-серому небу нельзя было понять, утро сейчас или вечер; часы не слишком помогали делу, ибо чувство вре-

мени у людей притупилось, как оно притупляется — или вовсе исчезает — на любой войне. «Тысячи человек брошены в тюрьму, в том числе дети и старики, множество женщин изнасилованы… — печалилась журналистка, — люди умирают, потому что у них нет пищи, воды, электричества…» «Правда нуждается в том, чтобы ее кто-то высказал» — так заканчивалось сообщение, и вслед за этим без перерыва пошла рекламная вставка: восхваляли новый аромат от Герлена. Я окинула взглядом квартиру — безликую, обставленную каким-то агентством недвижимости, но не почувствовала себя защищенной внутри цивилизованного мира.

Из принтера на пол свалился ворох бумаг. Вооружившись терпением, я принялась их рассортировывать.

На рабочем столе лежала написанная синим фломастером записка Росси. Наклонным почерком профессора на листке был выведен интернет-адрес архива: http://www.archiviodistato.firenze.it.

Я вспомнила все, что произошло вчера вечером, — как профессор своей дерганой походкой удалялся по улице в сторону площади Санта-Мария-Новелла под апельсиново-серым ночным небом, а я наблюдала за ним из окна. Не забыла

я и того типа, что курил под маркизой отеля «Априле», прислонившись спиной к стене, — невысокого, странного с виду, с поднятым до самого лица воротником пальто. «Ждет кого-то, а тот опаздывает», — подумала я, с опаской сдвигая шторы, чтобы отгородиться от внешнего мира. Затем я села за компьютер и принялась, согласно указаниям профессора, искать данные о Федерико да Монтефельтро.

Зайдя на сайт архива, я далеко не сразу нашла страницу с инструментами поиска и списком микрофильмированных документов. Отыскав ее наконец, я открыла одновременно два окна — для поиска в алфавитном и хронологическом порядке. Я скользила курсором по названиям фондов, а думала о профессоре Росси. Я помнила звучание каждого сказанного им слова, все паузы, его манеру слегка улыбаться, когда он замолкал, чтобы продолжить через секунду. Росси говорил по-испански с еле различимым тосканским акцентом, — произношение от этого казалось каким-то теплым, обволакивающим, — и выговаривал слова тщательно, как человек, пользующийся неродным языком.

Внутри нас существует потайное место, где зарождаются все звуки: смех, смущенные вскрики,

шепот признаний, стоны вожделения — все, что разрушает барьеры и сближает людей.

Больше всего мне нравился глухой тембр голоса Росси, а еще то, как он внезапно понижал тон и в излагаемой мысли словно открывалась неизведанная глубина. Правда нуждается в том, чтобы ее кто-то высказал, повторила я про себя.

Я горела желанием понять, что же вызвало интерес Федерико да Монтефельтро к «Мадонне из Ньеволе», или хотя бы выяснить, на каких условиях Лоренцо Медичи уступил ему картину. Я безуспешно рылась в сотнях ссылок, пока в одном из окон не открылся раздел сайта, где, похоже, имелось то, что мне нужно. Обозначенный буквами C.U. — Codex Urbinus — он представлял собой собрание писем, выдержек из документов и общеизвестных фактов за период 1460–1482 годов. Двойной щелчок мышью — и на экране появился портрет герцога Урбино.

Это было самое известное изображение Федерико да Монтефельтро. Во время учебы я видела его сотни раз на репродукциях, а недавно и «живьем» — в восьмом зале галереи Уффици, на втором этаже. На портрете работы Пьеро делла Франчески герцог представал в профиль, в красной тунике и шапке с плоским верхом. Мне хотелось бы видеть

скрытую от зрителя правую половину лица Монтефельтро, чтобы более обстоятельно изучить его наружность — к примеру, оценить расстояние между глазами, способное немало сказать о внутреннем мире и свойствах характера, увидеть точные очертания тонких, почти незаметных губ или подбородка, говорящего о силе воли. Правда, изображение в профиль позволяло разглядеть своеобразный рисунок горбатого носа.

В выражении лица читалась усталость; оно несколько напоминало пустой театральный зал, в котором погасли огни. Герцог явно был человеком умным, крайне волевым и хотя казался слегка чем-то разочарованным, но все же сохранял свой орлиный облик. Внимание в первую очередь привлекали не черты лица, а именно его выражение: не знаю даже, как назвать это, но такого никогда не увидишь на снимке. В фотографиях всегда есть спонтанность, и лишь на живописных портретах людям присуще ожидание, что их рано или поздно увидят. Прав был профессор Феррер: картины в большей степени несут печать времени, по ним можно понять, какую роль в истории играл человек или какой оценки своих поступков он хотел. В портрете герцога Урбино ясно читалось именно это: ожида-

ние, что его увидят. Герцог будто был начеку или ждал будущего, частью которого была я, вообще любой, кто останавливался перед картиной. Если смотреть внимательно, создавалось впечатление, что вот сейчас откроется нечто очень важное из жизни этого человека, из его опыта, — такого невозможно добиться при помощи фотографии.

«Где же он мне попадался раньше?» — думала я: конечно, не про портрет работы Пьеро делла Франчески, а про реального человека из плоти и крови, тяжело и устало дышавшего под слоями краски, как если бы, утомленный позированием, он ждал, когда художник наконец закончит сеанс. Но прежде чем я успела припомнить, картинка на экране сменилась текстом, который начинался с биографического очерка. Помню, что я нажала Ctrl-P, и принтер затрещал, стремительно выбрасывая листы бумаги, а я старалась с той же скоростью пробегать их глазами.

Беглый просмотр оставил впечатление, что герцог Урбино пользовался репутацией человека серьезного, лишенного пороков. Он сотрудничал с многочисленными религиозными братствами города, а по определенным праздникам участвовал в шествиях кающихся на улицах Флоренции. Плотских прегрешений за ним вроде бы не числи-

лось: он скромно обедал в своем замке под чтение Тита Ливия, а в Великий пост — житий святых. Современники часто упоминали о его благодеяниях. Герцог покровительствовал художникам, таким как Берругете и Пьеро делла Франческа, обнаживший его душу на том самом портрете. При дворе его кормились более полусотни человек, а иерархия чинов была такой же строгой, как в свите знаменитейших монархов. Кроме того, Монтефельтро собрал одну из самых больших библиотек того времени. Из-за всего этого художники и остроумцы прозвали его светочем Италии. Герцог нередко приходил в женский кларетинский монастырь и через решетку беседовал с настоятельницей на религиозные темы. Когда он шел по улице, люди вставали на колени со словами: «Dio ti mantenga, Signore»[8].

Биография его выглядела слишком искусственной, задуманной почти как повесть, в которой не нужно беспокоиться по поводу перипетий сюжета и счастливого конца. Казалось, к такому концу подводило все, начиная с того, как Папа возвел Урбино в ранг герцогства на торжественной церемонии, когда Федерико да Монтефельтро

---

[8] Примечания: 8
Да поможет тебе Бог, господин *(ит.).*

поцеловал ему руки и ноги, поклявшись в вечной верности. Единственным диссонансом в повествовании о жизни этого достойного человека был слух, распространяемый кое-кем во Флоренции и пущенный, видимо, герцогскими слугами. Якобы герцог, поймав охотника, браконьерствовавшего на его землях, заставил того съесть найденного при нем зайца — прямо со шкурой. Поступок выглядел настолько бесчеловечным, что я сочла все это россказнями какого-нибудь недоброжелателя.

Об отношениях Монтефельтро с Лоренцо Медичи сведений нашлось мало — на сайте в основном рассказывалось о меценатстве герцога. Но мое внимание привлекло одно из приложений к кодексу, ссылавшееся на рукопись некоего Ди Пьетро под названием «Диалоги о знаменитых мужчинах и женщинах нашего времени». Я пошла по ссылке, не особо надеясь, что документ оцифрован, но, к удивлению, на экране появилось подробное содержание. Рукопись на двадцати восьми листах оказалась сборником пикантных историй, который составил флорентийский придворный Джусто Ди Пьетро. Материал представлялся занятным, и я скопировала его в папку с документами для моей диссертации, озаглав-

ленную «Апрельский заговор». Из всех историй особо примечательной мне показалась та, что произошла на празднике календимаджо[9]: в ней участвовали два человека, представлявшие для меня интерес.

Флорентийцы любили всяческие публичные представления, и местный календарь был полон всевозможных праздников. Во время майских торжеств устраивались выезды в разукрашенных каретах, шествия, охота на львов на пьяцца делла Синьория, игры в мяч на пьяцца делла Санта-Кроче, спортивные состязания. По словам Ди Пьетро, как раз на одном из состязаний — «палио», скачках, где соревновались представители разных городских кварталов, — юная Клариче Орсини, супруга Лоренцо, должна была вручить приз победителю. В разгар скачек молодая женщина вдруг почувствовала себя плохо и упала в обморок на подмостках для знати. Рыжие волосы закрыли лицо, «белое, словно надмогильный мрамор». Зрители заволновались, и хотя девушка быстро пришла в себя, а ее недомогание приписали женским делам, Федерико да Монтефельтро, стоявший рядом под балдахином в качестве

[9] Примечания: 9

Праздник прихода весны, который отмечается в первых числах мая во многих областях Северной Италии.

почетного гостя, отправил послание своему личному врачу, одному из лучших во всей Италии, с приказом немедленно поспешить из Урбино во Флоренцию и тщательно обследовать женщину, чтобы с ней не случилось несчастья. Нужно иметь в виду, что всех тогда преследовал страшный призрак туберкулеза, от которого умерла, например, прекрасная Симонетта Веспуччи.

Но здоровье Кларице интересовало меня куда меньше, чем любезный жест Федерико да Монтефельтро. Значит, его отношения с Медичи были такими близкими, что он не только стоял близ Лоренцо на помосте, но, возможно, без всяких церемоний поселился во дворце на виа Ларга. С другой стороны, в рекомендованных Росси книгах не раз встречались ссылки на документы, подтверждающие заметную роль герцога в разрешении флорентийских государственных кризисов. Он действовал как посредник, особенно в сношениях с папским двором, и власти республики поддерживали с ним самую тесную связь.

У Лоренцо и впрямь имелись основания быть благодарным Монтефельтро. Это могло объяснять щедрый дар с его стороны: крупные меценаты часто выражали признательность друг другу при помощи произведений искусства. Не было ни-

каких свидетельств о трениях или ссорах между Лоренцо Великолепным и Федерико да Монтефельтро, а вот с другими знатными семействами Флоренции, такими как Пацци или Сальвиати, Медичи грызлись постоянно.

Я достала из пластмассовой коробочки две желтые кнопки и прикрепила на стену распечатанный портрет герцога, чтобы он висел у меня перед глазами. Несмотря на невысокое качество печати, разглядеть выражение лица было возможно. Я подумала, не позвонить ли прямо сейчас профессору Росси в университет, чтобы рассказать о случае на скачках, а заодно услышать его голос, но внезапная боль в паху приковала меня к стулу. Недомогание, тревожившее меня с самого пробуждения, усилилось; весь низ живота охватила тянущая боль. Внутри меня словно зажглась крошечная сверхновая, готовая взорваться в любой момент.

Когда я в двенадцать лет впервые заметила пятнышко крови на пижамных штанах, то поняла: что-то безвозвратно ушло. Рано или поздно детство заканчивается. Появляются смутные непривычные страхи и уходят прежние радости — вроде игры «в резиночки» под аркадами Руа Нова, велопрогулок по горкам близ «Семинарио

Менор», в перчатках и свитере в розово-коричневую полоску, волейбольных матчей против команды из Монте-Пио… Однажды ты перестаешь обмениваться наклейками у входа в кинотеатр «Капитолий», стоять в очереди к карусели на празднике апостола Иакова[10], под алмазным небом, — начинается новая жизнь, с носом, прижатым к кухонному окну, через которое ты глядишь на струи дождя с неизбывной печалью в сердце. Я могла, запершись в своей комнате, целыми часами писать дневник в блокноте с листами в клеточку или слушать музыку, валяясь на кровати, глядя в потолок и мечтая навсегда сбежать в далекие и прекрасные края, о которых снимают фильмы и поют песни. Мне не нравился ни окружающий мир, ни я тогдашняя: вялая и неуклюжая, с узкими бедрами и разболтанной походкой, замкнутая, зацикленная на своих переживаниях, молчаливая, с челкой, падавшей на глаза, когда я тихо сидела во дворе, сунув руки в карманы куртки и наблюдая за неслышным движением облаков последней осени моего детства в серо-лиловом небе, под звон соборных колоколов. Это первое пятно на белой ткани стало для меня

[10] Примечания: 10

Крупнейший праздник в Сантьяго-де-Компостела, городе, названном по имени апостола Иакова. Отмечается 25 июля.

сердцем тьмы. Никакой неловкости или неожиданности — у многих девочек в нашем классе уже были месячные, — лишь ощущение собственной уязвимости, которое с тех пор каждый месяц разламывало душу пополам.

Возможно, как раз это и случилось с юной Клариче Орсини, вышедшей замуж в пятнадцать лет, когда она лишилась чувств на помосте под взглядами собравшихся. Ее длинные рыжие волосы растеклись, подобно реке, по лицу — столь прекрасному, что безвестный поэт сказал про него: «Pulchrior hac tota non cernitur urbe puella» — «Во всем городе нет девушки пленительней». Стройная, с гладкой кожей, она была, как говорят, крайне сдержанной. Щеки, белые, как могильный мрамор, никак не расцветали вновь, хотя кто-то настойчиво хлестал по ним, тряс девушку за плечи, — но ее закрытые глаза ничего не видели, оставаясь неподвижными и потухшими, как у мертвой.

«Ничего страшного», — пробормотала она, успокаивая мужа, когда очнулась через несколько бесконечных минут, стараясь скрыть кровавую отметину на безупречно чистой юбке, совсем узкой, по римской моде. Вероятно, она очень смутилась и опустила голову, желая исчезнуть

или стать невидимой, не зная, что кто-то запомнил во всех подробностях эпизод, который она с радостью вычеркнула бы из жизни.

Увы, ничто не может быть вычеркнуто или исчезнуть раз и навсегда, на нас вечно смотрит кто-нибудь украдкой через оконное стекло, цинично улавливающее и консервирующее наш образ, чтобы он не потерялся. С другой стороны столетий всегда найдется какой-нибудь исследователь, ученый, который с большого расстояния, как Джеймс Стюарт со своим биноклем[11], анализирует наше поведение в тот или иной день и с обращенной в прошлое страстью пытается разгадать наши намерения, благородные или подлые — или те и другие одновременно, ведь ничто не существует в чистом виде.

Я поглядела на улицы — по-рассветному малолюдные, полутемные, — ночь уже рассеялась, а день еще не наступил: пограничное состояние, час, когда гуляки возвращаются после ночных похождений, разгоряченные от любви или вина, а у тысяч людей начинается рабочий день. Я высыпала в стакан пакетик необруфена-600, скорчившись, рухнула на кровать и улеглась на

---

[11] Примечания: 11
Имеется в виду фильм А. Хичкока «Окно во двор».

живот в надежде, что вот сейчас наконец спокойно засну.

Не знаю, сколько времени прошло, но помню, что я блуждала ночью по городу, засыпанному песком или пеплом, по обширным дворам замков, которые воздвигал и рушил ветер, наполняя меня недоумением и страхом. Если задуматься — выяснится, что сны параллельны нашей дневной жизни. Часто сны повторяются: мы ищем кого-то в незнакомом месте, но место это каждый раз одно и то же. Иногда мы вспоминаем, что с нами было, потом просыпаемся и обнаруживаем, что это происходило не взаправду, а в другом, позабытом сне. Может быть, мои навязчивые видения возникли под влиянием Борхеса, хотя вряд ли — кажется, они осаждали меня еще в детстве, задолго до знакомства с историей слепца в лабиринте. Или все же стали приходить позднее? Думаю, это неважно. Главное — что я была затеряна в городе, который, в свою очередь, находился внутри головоломки, и я не могла ее решить.

Меня с детства притягивали всякие загадки, я жадно поглощала все детективы в отцовской библиотеке. Но подлинная, настоящая тайна — другое дело: мы сталкиваемся с ней, только став взрослыми, ибо она немыслима без желания,

здесь задействованы разум и нравственность. Тайна — не какая-нибудь задачка, которую можно решить, в нее углубляешься, словно в город.

Согревшись под одеялом, я прикрыла глаза и увидела перед собой широкую парадную лестницу, залитую холодным, явно не солнечным светом. Сейчас, правда, я думаю, что то была не лестница, а ряд высоких платформ в ночи. Я сидела, прислонившись спиной к камню, и боялась этих платформ — в них полукругом были расположены дверцы: из какой-то — я знала — должен был неожиданно выскочить человек. И он выскочил, но не потому, что я ждала этого, — просто так диктовала логика сна. То был не призрак Мазони или другого художника той эпохи, как могло показаться, а девочка. Обычная долговязая девочка, которая смотрела на меня, запыхавшись, точно устала от моих затруднений. Вид у нее был раздосадованный и чуточку заговорщицкий или зовущий к приключениям, не знаю. Девочка взяла меня за руку и бесконечно терпеливо повела по лабиринту расположенных друг над другом террас, пока полуденное солнце не озарило комнату и я не проснулась.

Я услышала далекие гудки грузовиков, доставляющих продукты в рестораны. Я никак не могла

прийти в себя — в сознании роились смутные образы… Но вдруг, потягиваясь и кладя голову на тот край подушки, куда еще не дотянулись солнечные лучи, я вспомнила лицо девочки.

У нее было лицо волчонка. И улыбка волчонка.

XII

Мальчик неохотно высыпал в ступку киноварь, смешал ее с жженой охрой, как велел учитель, и принялся толочь так яростно, словно то был невидимый враг. После того, что произошло, мастерская с ее скудной обстановкой казалась Луке единственным надежным местом, но в сознании подростка, мечтавшего стать художником, цвета вертелись как в калейдоскопе: серое небо и серебряные камни в свете зимнего утра; красные черепицы и горящие купола на особняках знати; изломанная лента реки с медным оттенком на закате, понемногу таявшим в бледно-лиловом тумане после захода солнца, — все краски притягательного и полного отравы города, которые Лука теперь хотел воссоздать при помощи измельченных в ступке пигментов.

Уже около недели он сторонился людей, погрузившись в себя, и больше не смеялся над лукавыми шутками Леонардо и главных художников мастерской, будто его подменили. Лишь учитель обратил внимание, что Лука теперь не тот веселый, беззаботный паренек, который

нежданно-негаданно, под кудахтанье кур, вошел в его жизнь. Зрелище смерти, откладываясь в самых дальних закоулках воображения, способствует взрослению: душа ребенка как бы отлучается от груди. Они больше не говорили о том, что видели в келье монастыря Сан-Марко, но Мазони знал: мальчик обо всем помнит.

Сидя в углу комнаты, у окна, Мазони искоса наблюдал за Лукой. Слева от мальчика на скамье стоял небольшой пресс, с помощью которого из льняных зерен получали масло. Набрав необходимое количество, Лука стал смешивать масло с толчеными пигментами, пока не получил нечто вроде красной пасты. Затем, не говоря ни слова, он подошел к учителю — тот, нахмурившись, смотрел на него через плечо. На Мазони был заляпанный красками серый балахон с рукавами, закатанными выше локтей.

Слегка обмакнув кисть в красную смесь, художник наложил последние мазки на тунику ангела, вытер пот со лба и поглядел на мальчика с грустной улыбкой.

— Если я сегодня умру, — сказал он без видимой причины, — ты не научишься ничему.

Ангел смерти взлетел с холста, прошелестел крыльями в терпком от скипидара воздухе ком-

наты, сел на голову мальчику и снова вернулся на картину, обронив лишь несколько перьев, никем не замеченных. Мазони снова стал разглядывать фигуру, изображенную в новом ракурсе. Одеяние усложнило цветовое решение группы.

— Ну, как теперь, Лука? — спросил он, пытаясь расшевелить мальчика.

Тот отошел на несколько шагов и посмотрел на холст строго и сосредоточенно, чего никогда раньше не делал. Учитель напряженно работал в последние дни, но картина была еще далека от завершения. На губах у Девы вырисовывалась еле заметная улыбка; она протягивала руку к ангелу, будто хотела взять его за тыльную сторону ладони, как проститутка — знакомого клиента. Младенец сидел у нее на коленях, касаясь одной рукой облегающего лифа Матери, а другой сжимая колокольчик. На заднем плане виднелось скопление голов с еле обозначенными лицами, пока еще без всякого выражения, — как, например, у коленопреклоненного персонажа в правой части холста. Он протягивал Марии лишь едва намеченный предмет — ветку оливы или другого растения, касаясь при этом ее бедра — совсем легко, но с точностью опытного любовника. И хотя у некоторых фигур были только набросаны конту-

ры, зритель понимал, что здесь ниспровергаются все каноны. Ни у кого, даже у Иисуса, не было нимба, и к тому же не соблюдался иерархический порядок, принятый для священных изображений. Все полотно было пронизано незримым намеком, неявным, но совершенно несомненным, который отталкивал мальчика и в то же время интриговал: простая ткань наряда Девы, слишком мощное бедро, голые ноги с потрескавшимися пятками… Эти тела заключали в себе слишком много жизненного опыта, чтобы изображать святых на полотне. Блестящие капли на лбу ангела никак не вяжутся с его бестелесностью, думал мальчик: крылатый вестник как будто всю ночь исходил потом, пыхтел, ворочался в постели, не в силах заснуть.

— Сколько вам краски? — спросил он через какое-то время, избегая отвечать на вопрос.

Мазони улыбнулся одними глазами.

— По-твоему, все так же неубедительно, а?

— Не знаю, учитель… — запнулся Лука, — я не понимаю, какому месту из Библии соответствует ваша картина.

— В этом-то и загвоздка. — Глаза Мазони загорелись каким-то особенным блеском.

— Что вы хотите сказать?

— Очень просто. Ты хочешь видеть что-то хорошо знакомое, сцену, тысячи раз описанную в священных книгах. Но подлинный смысл искусства не в этом. Художник не обязан быть благочестивым — только правдивым.

Лука не знал, что ответить. Он еще раз внимательно взглянул на картину. Ему показалось, что она источает запах свечей, алькова, случайной связи.

— Погляди на эти фигуры. — Художник взял мальчика за руку, подводя ближе. — Не бойся, не укусят.

Лука оторопело сглотнул слюну. Лицо его было красноречивее любых слов. Он стоял теперь так близко от холста, что не воспринимал изображенную на нем группу; у него закружилась голова. Издалека ни один мазок не давал ему ключа к картине, но по мере приближения — мальчик вдруг это понял — фигуры словно оживали.

— Клянусь Христовыми ранами, они живые! — И правда, персонажи будто дышали. По спине Луки пробежал холодок: учитель внушал ему трепет. Вопросы беспорядочно роились в голове, и наконец он выдавил: — Но кто они? Где вы их взяли?

Пьерпаоло Мазони, польщенный, таинственно

улыбнулся.

— Всему свое время, Лука. — Он дружески хлопнул мальчика по затылку и сменил тему. — Что до моего договора с Великолепным, то, если тебе интересно, я обязался закончить картину к ближайшей Пасхе. Но что касается платы, то я бы на твоем месте не обманывался. Говорят, у банка Медичи возникли трудности.

— Но вы же сами сказали мне, что у Лоренцо самое большое в городе состояние, — возразил мальчик, горевший желанием получить часть денег за работу, которые Мазони пообещал ему под аркадами старого рынка.

— Это так, Лука, но монеты долго не задерживаются в одном и том же доме. Папа Сикст вроде бы потребовал еще одной проверки счетов банка Медичи. Это будет уже вторая за год, а такое всегда порождает разные толки.

Он был прав. С тех пор как город ощутил на себе папскую немилость, ночи стали как будто длиннее из-за страха тех, кто не спал, дрожа перед угрозами Сикста IV наложить на город интердикт и отлучить флорентийцев от Церкви. Новости летали по улицам, прилегающим к рынку, где болтливые кумушки выдавали все, что становилось известно от гонцов из Рима. Эти слухи

быстро становились достоянием челяди и мастеровых, подогретых вином и патриотическими излияниями против очередной группы прелатов, о прибытии которой во дворец Синьории возвещали серебряные трубы. Впрочем, с не меньшим жаром эти люди восхваляли достоинства свиной ляжки.

При таком тревожном положении таверны, разбросанные по кривым улочкам старого города, сделались настоящими осиными гнездами, где постоянно слышалось жужжание. Собравшись в тесные кружки, завсегдатаи обсуждали последние известия, и всегда кто-нибудь знал обо всем из достовернейшего источника: закутанный в плащ прислужник знатного князя, недавно прибывший в город со свежими новостями чужестранец или просто вскочивший со своего места ремесленник, с пылкостью обличавший Папу — как тот посмел посягнуть на честь Великолепного? Все эти споры сливались в общий гул, в котором никто уже не мог отличить правду от вранья — кроме, конечно, наводивших ужас агентов грека — Ксенофонта Каламантино, бывшего монаха-доминиканца, которому Лоренцо доверил свою разветвленную сеть шпионов, действовавшую по всему течению Арно.

Трудности, как догадался художник в ту ночь, что он провел в «Кампане», начались, когда банк Медичи отказал папским послам, прибывшим в город под бело-желтыми знаменами. Папе нужны были сорок тысяч дукатов на покупку Имолы.

Решение далось Лоренцо нелегко — Медичи испокон века были папскими банкирами. Однако Великолепный понял, что новое приобретение Рима поставит под угрозу интересы Флоренции. И он не только отказался выдать деньги, но и послал депеши всем, кому возможно, с просьбой сделать то же самое. Впрочем, сама республика, которую юный Лоренцо превозносил на дружеских сборищах поклонников Платона, превратилась в иллюзию, и пять надушенных воронов в золотых клетках — папский подарок — хрипло каркая, казалось, пели ей отходную.

И в самом деле: против всех ожиданий, банк Пацци не посчитался с запретом Лоренцо и поспешил выдать понтифику требуемую сумму. Это было проявлением враждебности к властям, которую до того осмеливались выказывать только открытые противники, с оружием в руках. В ту бессонную ночь Лоренцо, остро переживая неудачу, вместе с другом Полициано бродил до самого утра по запорошенным пылью веков

старым кварталам. Острый угол какого-нибудь здания, внезапно надвигаясь на двух друзей, казался им носом гигантского корабля — флагмана вражеского флота.

На следующее утро посланник из Рима, одетый в папский бархат, с цехином, пришитым к берету, взобрался на пьедестал возле дворца Синьории и прочел папскую буллу, в которой объявлялось, что привилегия считаться главными банкирами понтифика переходит от Медичи к их соперникам Пацци. Более того, Лоренцо не только переставал быть заемщиком Римской курии, но и терял право на монопольное производство квасцов для нее, которое Медичи удерживали уже более ста лет.

— И как будто этого мало, — продолжил Мазони, — Папа подстроил еще одну каверзу: назначил пизанским архиепископом Франческо Сальвиати, а тот известен всем как приспешник Пацци.

Учитель с учеником, выйдя из мастерской, уже долго шагали по оживленным закоулкам квартала Санта-Кроче, где они обычно обедали в таверне, в компании каменщиков и фресочников.

— Но чего бояться Лоренцо Великолепному,

если за ним — приоры[12]? И кроме того, все во Флоренции преклоняются перед ним.

— Все не так просто, Лука. Сторонники во Флоренции — одно дело, а в Риме — совсем другое. Лоренцо прекрасно знает, что его влияние зависит от деловой репутации. Малейшее сомнение подорвет не только доверие банкиров и торговцев, но и его авторитет как главы республики. Или я жестоко ошибаюсь, или это — как раз то, чего добиваются его враги.

Из крытого дворика таверны тянуло ароматом тушеных голубей и терпкого тосканского вина.

— Ну все равно, не волнуйся, — успокоил Мазони, предвкушая добрый обед с кувшином красного, — воды вернутся к своему источнику. — Он бодро хлопнул мальчика по спине. Оба вошли в таверну, в этот час полную ремесленников. — У Лоренцо есть сильные союзники в Милане и Урбино, которые вступятся за него перед Папой. Федерико да Монтефельтро уже не раз помогал ему выбраться из таких передряг.

В заведении пахло едой и выпивкой. С потолочных балок свисали связки чеснока. У стены

---

[12] Примечания: 12

Приоры — представители наиболее влиятельных торгово-ремесленных цехов. Совет приоров был одним из высших органов власти во Флоренции.

лежали открытые мешки с фасолью и стояли неохватные бочки, из кранов которых капало вино. Мазони и Лука прошли по коридору на кухню. Та располагалась на другом конце таверны, в отдельном сводчатом помещении, окутанном паром из котлов; печь для хлеба отбрасывала на стены красноватые отсветы. Здесь царил постоянный гул смеха и разговоров. Труженики, потные, с голой грудью, разгоряченные вином и жаром от печи, поглощали суп, а повариха ловко пробиралась между столами, качая бедрами, обтянутыми бурой юбкой.

Мальчик обратил внимание на загорелых купцов в углу, которые отмечали удачное дело за миской голубей с пармезаном, но учитель заказал обычное блюдо из зелени, репы и моркови.

— Станешь отцом — будешь есть голубей, — изрек он с лукавой улыбкой на бесовском лице.

Похоже, торговцы за соседним столом не зря устроили себе пир: Мазони услышал, что они заключили сделку на две тысячи пятьсот флоринов на поставку шелковой ткани из мастерской, которую Пацци держали в Барселоне. Обедая, художник и его ученик не пропускали ни единого слова из разговора купцов и с некоторым беспокойством узнали о том, что король Фердинанд

Арагонский подарил Пацци едва ли не лучшие охотничьи угодья под Неаполем.

Лука мало что понимал в дипломатических вопросах, но сразу же сообразил, что подарок не предвещает ничего хорошего для его покровителей. Что может быть унизительней для Лоренцо: предавший его получает щедрый дар от иностранного короля! Сейчас это могло означать только одно — вежливо замаскированное объявление войны. Лука не сказал ни слова, но поглядел на Мазони с неприкрытым разочарованием, как крестьянка из басни, разлившая молоко, за которое рассчитывала выручить много денег.

Когда они вышли из таверны, ветер уже сменил направление. По пути им встретился заморенный битюг, волочивший телегу с дровами. На виа деи Балестриери работники разбирали груду мешков с зерном, которые грузчики складывали затем у дверей кухни дворца Пацци. К этой же двери быстрыми шагами направлялись два монаха. Лиц было не разглядеть, но предательский порыв ветра на миг забрался под капюшон того, что был повыше, — и под скромной шерстяной рясой обнаружилась красная кардинальская митра.

— Плохо дело, раз кардиналы одеваются фран-

цисканцами, чтобы войти во дворец, — заметил Мазони.

— О чем вы, учитель?

— Так, ни о чем, — ответил художник, наблюдая, как с запада плывут хмурые тучи. — Будет гроза, — сказал он и надвинул на голову Луки капюшон.

XIII

Мама решала кроссворд в столовой, когда зазвонил телефон. Стоял май, окно было открыто, и со двора доносился запах мокрой зелени — так пахнет бульвар после дождя. Я валялась на диване, листая книгу про экспедицию Скотта к Южному полюсу. Хорошо помню это: я как раз читала описание ледника Бердмор, где исследователь Эдвард Вильсон нашел окаменелости возрастом свыше трех миллионов лет, когда мама сняла трубку. Ручка выпала из ее руки, и мама наклонилась за ней, не выпуская трубки. Потом мне представлялось, что вся ее жизнь, как телескоп, сложилась в эту секунду: вот она снова и снова опускается в своей бежевой блузке, с повязанным вокруг шеи светлым платком. История — это всегда один разворачивающийся момент.

Она поднесла руку к горлу, словно ей не хватало воздуха, и рухнула в кресло. Должно быть, некоторые звонки делать очень тяжело. Как сказать кому-нибудь, что его отец, или сын, или муж умер? Для такого рода известий нет подходящих слов. Наверное, дорожная полиция их все же

находит. Но все равно, иногда не нужно ничего говорить. Мама утверждает, что все поняла по голосу.

Однако боль всегда приходит не сразу, а со временем. Ты вдруг чувствуешь прикосновение к спине или к волосам и оборачиваешься, словно кто-то стоит позади; или торопливо завязываешь шнурки на кроссовках, думая, что кто-то ждет тебя в дверях, как обычно. Отец всегда невольно поднимал рукав и смотрел на часы, когда я слишком долго играла или одевалась. Он опирался о косяк двери и терпеливо ждал, стоя в своем синем пальто, пока я завяжу шнурки. Влияние умерших на нас так же реально, как дыхание ледников, к которому можно прислушаться. Еще много месяцев воображаемые картины смерти отца в автокатастрофе накладывались в моем сознании на последние дни Скотта и его товарищей, умирающих от голода на льдине, в палатке, среди мрака полярной зимы. Я представляла себе, как он провел последние часы жизни внутри этого замкнутого пространства.

Ошибочно полагать, что нам подвластно малое, а не большое: жизнь доказывает как раз обратное. Незазвонивший будильник спасает жизнь — иначе попал бы под машину, что ехала

на красный; или вспоминаешь, дойдя до места, что забыл какую-то вещь, поворачиваешься и идешь обратно, не подозревая, что из-за этого попадешь в происшествие или благополучно избежишь его.

Обо всем этом я размышляла, крутя педали по набережной Лунгарно делла Дзекка Веккья, недалеко от перекрестка с Вьяле делла Джована Италия. Утро было великолепным, солнечным, и я решила не идти на автобус, а проехаться до архива на велосипеде. Я наслаждалась холодным ветром, бьющим в лицо, и вибрирующим шумом улиц. У парапета стояли газетные киоски; на первых полосах «Манифесто» и «Коррьере делла Сера» я разглядела заметно осунувшееся лицо Джулианы Сгрены, а «Космополитен» уже предлагал познакомиться с весенне-летними коллекциями. Рядом с виа Триполи кто-то переезжал — грузовое такси никак не могло въехать во двор и перекрыло дорогу, вызывая шквал гудков и ругательств со стороны нетерпеливых водителей. Я соскочила на землю и последнюю часть пути прошла по тротуару, толкая велосипед под сенью голых платанов.

Суровая девушка в стеклянной будке на входе в архив придирчиво проверила мой пропуск.

Раньше я ее вроде бы не видела. Наверное, она поступила на работу лишь недавно и проявляла излишнее рвение. Девушка смотрела на меня сверху вниз, как те могучие колоссы, что стоят со скрещенными руками у входа на дискотеку и решают, кому пройти, кому нет: тебе можно, а вот тебе нельзя. Вероятно, подозрение вызвал мой наряд: я повязала вокруг шеи фуляр, на манер шарфа, защищаясь от влажного ветра с Арно. Этот фуляр, синего цвета, как у туарегов, я купила в Сантьяго на празднике Вознесения, когда в городе наступает ярмарочная суета. Возможно, подозрение вызвали слишком потертые джинсы и спортивные туфли, которые я всякий раз надевала, садясь на велосипед. Ясно одно: я выглядела недостаточно респектабельно, чтобы войти в сей храм знаний. Поведение девушки вызвало у меня такое замешательство, что, вставляя пропуск в прорезь турникета, я подумала: вот сейчас загорится красный свет и завоют разом все сирены. Иногда я чувствую себя просто какой-то преступницей. Но, к счастью, ничего такого не случилось, вертушка повернулась, как всегда, и я пошла к лифту, облегченно вздохнув: девушка скрылась из вида.

Когда двери открылись на четвертом этаже,

синьор Торриани, сидевший за своим столом, улыбнулся мне с обычной доброжелательностью, блеснув золотым зубом.

— Мне уже начало вас не хватать, синьорина Сотомайор, — сказал он с неизменным калабрийским акцентом.

На самом деле я не ходила в архив всего три дня, но мне казалось, что времени прошло куда больше. Примерно то же — только наоборот — случилось с ефесскими отроками, считавшими, что проспали одну ночь, хотя сон их длился двести лет. Когда бредешь сквозь путаницу веков, дней и недель, ход времени становится другим, события пятисотлетней давности делаются вдруг неожиданно близкими, а вчерашние — такими далекими, будто уносятся куда-то, как лист, гонимый ветром.

Синьора Торриани, однако, не сорвал бы с его места даже смерч. Он был прочно укоренен в настоящем — со своим серым халатом, с волосками, пересекающими лысый череп, с грубыми крестьянскими руками. Непринужденно беседовать с ним было приятно. Так в детстве разговариваешь со второстепенными персонажами своей жизни вроде продавца комиксов или торговца сластями, и они потом видят в нас не больших

дядей и тетей, а детей, которыми мы всегда остаемся.

— Я решила чуточку отдохнуть, но теперь вернулась, — улыбнулась я, как бы в знак извинения, и стала заполнять требование на выдачу дневников.

— Кажется, не только вас интересуют эти записи, — сказал он. Мы пошли на третий этаж, где находились самые старые, тщательно охраняемые документы. Раздвижные двери в фондохранилищах открывались при помощи круглых ручек, вращавшихся на манер штурвала. — Два дня назад приехал профессор из Рима, который попросил выдать ему эти же дневники. — Голос его звучал заговорщицки, словно Торриани знал, что сообщает полезную информацию, но не знал, для чего она может служить.

Дневники находились в третьей секции металлического шкафа. Каждый был помечен общим номером дела и буквой М — «микрофильмирован», после которой в скобках шли инициалы автора — «Р. М.» и номер тетради римскими цифрами. Насколько я могла удостовериться, тетрадей имелось девять, от I до IX, хотя всего в каталоге значилось двенадцать, как утверждал и профессор Росси. Некоторые имели подзаголов-

ки с указанием, что речь идет о том или ином предмете — «светотень», «о полете птиц», «случай», «человеческая природа» и тому подобное. Я решила, что три последние либо находятся на реставрации, либо временно взяты кем-то для исследования. В любом случае, сказала я себе, должен ведь быть микрофильм.

Я проверила по главному компьютеру, но никаких следов трех тетрадей не обнаружилось, и я решила продолжить работу с того места, где остановилась в прошлый раз. Я села за свободный стол в глубине зала, вынула деревянный крючок из петельки и открыла дневник на странице с изображением овчарки, выполненным сангиной.

Проведя два часа за чтением мелкого почерка Мазони, я почувствовала, что близка к пониманию хотя бы некоторых сторон этой загадочной личности. Его тень словно витала над страницами, и чем больше я вникала в текст, тем лучше видела человека, который эту тень отбрасывал.

Около двенадцати я решила сделать небольшой перерыв и выпить кофе в комнате отдыха. Там никого не было. Я опустила один евро в щель автомата, взяла стаканчик и уселась на бежевый диван у боковой стены, за низеньким плексигла-

совым столиком. Глаза болели. Я откинула голову на спинку и принялась массировать веки.

— Это так утомительно — часами разбирать старые документы, — раздался мужской голос. Незнакомец говорил на безупречном испанском. Я тут же открыла глаза и подобралась. Передо мной стоял мужчина среднего роста, сорока с чем-то лет, в свитере с отложным воротником и немного старомодном виндзорском пиджаке, отчего он выглядел как принарядившийся экс-семинарист. — Разрешите представиться, — протянул он руку. — Боско Кастильоне.

— Анна Сотомайор, — сказала я, автоматически вскакивая под действием пружины вежливости, чтобы пожать его ладонь.

— Я знаю, кто вы. — Улыбаясь, он по-прежнему пристально глядел на меня, точно уже причислил к какой-то известной ему породе архивных крыс. — Похоже, мы интересуемся одним и тем же.

Несколько секунд я ничего не отвечала, осознавая смысл сказанного и одновременно изучая нового знакомого. Розовое, почти безволосое лицо, очки в толстой оправе и за ними — узкие, чуть раскосые глаза, напоминавшие прорезь копилки. Это придавало ему довольно комичный

вид китайчонка из мультика, особенно когда он моргал — кажется, от нервного тика. Я хотела было спросить, откуда он знает обо мне, но смолчала и лишь осторожно улыбнулась, спрятав руки в карманы.

— Я преподаю в Ватиканской школе палеографии и архивного дела, — продолжал он, а я подумала, что после всех этих объяснений он почувствует себя вправе расспрашивать меня о моей работе и жизни, о чем захочет. В Италии нередко вот так вмешиваются в чужую жизнь. Спрашивают, чем вы занимаетесь, холосты вы или разведены, девственница вы или мученица, без того, чтобы сначала установились доверительные отношения. В нашей стране все по-другому. Везде свои правила. — Я специалист по средневековой кодикологии и лауреат нескольких международных премий в этой области, — прибавил он с несколько наивной самоудовлетворенностью. Когда он улыбался, то еще больше походил на китайца: глаза растягивались в совсем узенькую щелочку. — Я посвятил много лет реконструкции утраченных и дошедших в неполном виде творений святых отцов: Августина, Тертуллиана, Исидора Севильского, Поликарпа Смирнского. Представьте себе, к нам

каждый день приносят коробки с рукописями — дары монастырей или находки археологов. И все это лежит в подземных хранилищах и ждет изучения. Подумайте только, — он изогнул брови, — манускрипты за две тысячи лет! Километры полок с неразобранными делами! Гигантская работа.

Я изобразила на лице восхищение. Мне он показался человеком безобидным, душевным, слегка фатоватым, невинное тщеславие которого не только не раздражало, но даже вызывало сочувствие.

— Разве во Флоренции есть что-то, чего нет в подземельях Ватикана? — спросила я с улыбкой, рассчитывая, хотя бы отчасти, прикрыть иронией свою недоверчивость. Но, судя по брошенному на меня взгляду, мои опасения не остались незамеченными.

— Вам лучше знать. Если мои данные верны, вы здесь уже несколько месяцев. — Я отметила сдержанное возбуждение в его голосе, как у человека, кого-нибудь испытывающего. Уверенность, с какой он говорил обо мне и моей работе, начинала меня беспокоить. Он подошел чуть ближе — вероятно, желая сократить дистанцию в общении.

Помешивая пластиковой ложечкой сахар в

стакане, Кастильоне завел речь о трех недостающих тетрадях дневника Лупетто — так тихо, что мне пришлось наклонить голову, иначе было не расслышать. Он не поверил, когда я сказала, что никогда их не видела.

— Если хотите, мы могли бы помочь друг другу ко взаимной пользе, — сказал он очень медленно после того, как сделал большой глоток. — Не забывайте, что у меня есть опыт, которого вам не хватает, и связи для доступа к любым документам, касающимся Церкви. Я не говорю о других полезных знакомствах.

Беспокойство сменилось настоящим раздражением. Почему этот человек с азиатским лицом считает, что у меня недостаточно исследовательского опыта? Из-за моего возраста, внешнего вида, манер, еще по какой-то причине? В его голосе не слышалось угрозы — напротив, тон был сладким, даже приторным, — и все же меня не покидало неприятное ощущение, что я прохожу испытание вслепую: примерно так, когда спускаешься по лестнице и ступенька вдруг оказывается ниже или выше, чем ты ожидал. Все мои пять чувств насторожились.

— О каких именно знакомствах? — сухо спросила я. Он улыбнулся, одергивая пиджак.

— Возможно, ваш драгоценный художник был не без греха.

Я на мгновение задумалась, как бы оценивая наметившиеся возможности.

— Простите, но я не совсем вас понимаю. Что вы хотите этим сказать?

— Вызывать дьявола — опасное занятие. — Он говорил размеренно и веско, словно предвидел мой вопрос. — Пламя может не только согреть, но и обжечь, и есть огонь, который никогда нельзя зажигать, если сомневаешься.

Взгляд его осветился при этом иносказании, словно у проповедника, возбужденного собственными словами.

— По-моему, вы неправильно меня поняли, — возразила я, стараясь вернуть разговор в прежнее русло. — Я имею в виду помощь друг другу. Не представляю, в чем мы могли бы сотрудничать. — Я сделала паузу. Произносила слова я взвешенно, желая создать впечатление, что обдумываю его предложение. — Кроме того, не вижу, как вы можете посодействовать мне в работе. У меня здесь есть все, что необходимо.

— Вы так молоды и уже так высокомерны. — От симпатичного китайчонка не осталось и следа. Направленный на меня взгляд стал жестким, в

нем читался упрек. — Мы знаем, что вы пишете диссертацию о заговоре против Медичи. — Он впервые употребил множественное число, очевидно, говоря не о себе, хотя я даже не догадывалась, кто еще имеется в виду. — Думаю, в архиве Ватикана имеются нетронутые документы, которые могут быть вам полезны.

— Что за документы? — спросила я, теперь уже с нескрываемым любопытством.

— Исповеди, к примеру. Документы по истории Святого престола, в том числе дипломатические. Секретные договоры… Подумайте.

— А что вы хотите получить взамен? — спросила я так, словно уже включилась в игру.

— Вы много чего раскопали, — сказал он с блаженной улыбкой. — Вы владеете информацией, так ведь? Ценные сведения, подробности, которые мы, возможно, попробуем проверить. Монсеньор Готье очень интересуется дневниками Мазони, которые так хорошо вам знакомы.

— Монсеньор Готье? — Это имя я где-то уже слышала.

— Директор ватиканского архива, а также глава Конференции епископов, — пояснил он.

Я вспомнила, что о Готье упоминал Франческо Феррер, реставратор из Уффици, в связи с поле-

микой вокруг «Мадонны из Ньеволе».

— А-а… — протянула я. — Что же может настолько интересовать Римскую курию в дневниках художника?

— Времена сейчас не лучшие, сеньорита Сотомайор. — Он вновь заговорил наставительно, поглаживая пальцем золотое распятие, что блестело на сером свитере. — Многие стремятся очернить человеколюбивые деяния Церкви, бросить тень на ее прошлое, вытащить на свет грязное белье, пользуясь тем, что здоровье понтифика сильно пошатнулось. Против Церкви ведется серьезная кампания, которая сильно беспокоит Святого Отца. Особенно когда из-за его слабого здоровья создается губительное впечатление, будто все начинания временны и конец понтификата близок. Трудно даже вообразить себе, сколько различных интересов задействовано тут. Есть люди, готовые на все, лишь бы посадить своего ставленника в кресло святого Петра.

— Прекрасно себе представляю, — уверенно ответила я. Римская курия никогда не казалась мне собранием монашек из благотворительного общества. — Но какая связь между избранием нового Папы и художником, который жил пятьсот лет назад?

— Есть нити, которые связывают прошлое с будущим. Вы историк и должны об этом знать: идеологические течения, оппозиционные Церкви, влиятельные группы давления, секты, продолжающие существовать. — Он намеренно изъяснялся загадками, решив, надо полагать, произвести впечатление на молодую студентку.

— Так… Вы хотите сказать, что Ватикану нужны записи тысяча четыреста семьдесят восьмого года для катехизаторской деятельности? — спросила я с нескрываемым сарказмом.

Я питала к этому Кастильоне смутную враждебность. Мне не по душе, когда меня недооценивают, а его объяснения, признаться, больно ранили мое самолюбие. Другое дело, что я была неопытной диссертанткой, но это не давало ему права считать, будто я проглочу что угодно, как мышка, завидевшая сыр в мышеловке.

— Ошибаетесь, сеньорита, — заявил он уязвлено и слегка смущенно. — Не стоит быть такой недоверчивой. Мы только хотим, чтобы эти тетради хранились в надежном месте и не попали в руки того, кто может злоупотребить этим. Ватикан пытался законным образом приобрести их у Государственного архива…

— Так же, как «Мадонну из Ньеволе»? — переби-

ла я его, вспомнив рассказ Феррера об интригах, задерживающих реставрацию картины.

— Вы хорошо информированы. Если бы покупка состоялась, нашего разговора не было бы. Но увы, положение уже не исправить. Хотя если вы согласитесь с нами сотрудничать, возможно, удастся избежать самого худшего.

— Повторяю, что я не видела этих трех тетрадей, — ответила я с долей нетерпения. — Я смогла ознакомиться только с теми документами, которые есть в каталоге и выдаются всем желающим. — Я сделала вид, что смотрю на часы. — Извините. Приятно было с вами поболтать, но меня ждет работа.

— Жаль, что вы не хотите сотрудничать. — Он был разочарован. Глаза его быстро заморгали, он выглядел растерянным, будто не знал, что сказать. — Я старался быть с вами любезным. — Лицо его все больше застывало. Он пытался подобрать нужные слова, а может быть, просто выиграть время. — Надеюсь, что вы пересмотрите свое решение, ради вашего же блага, — прибавил он наконец с деланой улыбкой, затем поднял руку и наставил на меня указательный палец. — Вы еще услышите обо мне. — Он очень внимательно посмотрел на меня, словно запоминая мое лицо.

«Ах ты ж лиса», — подумала я. В прощальных словах его звучала угроза, или мне так показалось. Возможно, это были только домыслы — порой я излишне подозрительна. Он достал из внутреннего кармана пиджака мобильник, повернулся ко мне спиной и подошел к окну, в котором виднелись голые ветви деревьев на аллее, тянувшейся до пьяцца Чезаре Беккариа. Через несколько секунд я вернулась к своему столу и украдкой посмотрела на Кастильоне — тот вошел в зал и направился к одной из кабинок у боковой стены, где стояли аппараты для чтения микрофильмов. Он сел спиной к столам, скрестив ноги. Через стеклянную дверь мне было видно, как он нервно шевелит ногой, не достающей до пола, в очень любопытном ботинке. То был ортопедический ботинок с трехсантиметровым каблуком и металлической пластинкой в области пятки. В нашем колледже один ученик носил точно такие же, звали его Мигель Анхель Кесада: последствия детского полиомиелита. Это был тихий мальчик, и поскольку он не мог играть в футбол, то на уроке физкультуры сидел во дворе и читал что-нибудь из приключений семейства Холлистеров. Понемногу я прониклась к нему большой теплотой. В очередной раз бросив взгляд

на моего занятного собеседника, я пожалела, что обошлась с ним так резко.

Вскоре, однако, я прогнала эти мысли и зажгла настольную лампу, чтобы без остатка погрузиться в старинные документы с их кислым запахом. То, о чем я читала, было и так слишком запутанно, и отвлекаться на другое не оставалось времени, но из головы не выходили мой одноклассник и слова экс-семинариста в виндзорском пиджаке, так что сосредоточиться оказалось нелегко. Довольно долго я старалась осознать, какое значение имели дневники эпохи, когда рушились старые верования, мир давал трещины и вибрировал, полный неведомых доселе возможностей, но также и опасностей. Боско Кастильоне не зря делал скрытые намеки: казалось, он начал гонку со временем. Когда парусник во время гонок выходит на финишный отрезок, двигаться по прямой не получается почти никогда.

Яхтенники называют «грязным ветром» тот, который идет от парусов соперника. Это уже использованный ветер, секонд-хенд, и он отбрасывает назад. Конечно, это не значит, что ты обязательно уступишь. Всегда можно совершить вираж, когда соперник этого не ждет, и обойти его, но в таком маневре требуется миллиметровая

точность, как при стрельбе из лука. Если маневр не удается, ты проиграл.

Несмотря на все усилия, я никак не могла сосредоточиться на работе. Мысли мои были далеки от страниц тетради. Меня терзали сомнения и тоска. Я уже несколько дней не говорила с профессором Росси, а мне так хотелось снова услышать его голос. Хорошо, когда есть кому поведать о своих сомнениях. Я быстро собрала вещи, кинула карандаш и блокнот в сумку и вернула дневники сотруднику читального зала.

Когда я оказалась на улице, вихрь поднятых ветром листьев перенес меня на другие аллеи и бульвары: о, эти затаенные желания, которые испытываешь в преддверии весны! Открыв замок, я освободила велосипед и посмотрела на Арно. Над рекой собирались длинные облака, быстро плывшие к югу. Погода меняется, ночью будет дождь, подумала я. Я стояла, держа руки на руле, и думала, какой путь выбрать — по виа Гибеллина или опять по набережной Лунгарно. Разница была небольшой, но иногда от таких мелочей зависят повороты судьбы. Ты попадаешь в происшествие или благополучно избегаешь его. Телескопический момент.

Машин на улице было немного. Светофоры

между двумя рядами платанов один за другим меняли цвет с желтого на красный. Поколебавшись секунд десять, я решила повернуть на виа Гибеллина. Ветер хлестал по лицу, а я размышляла о невидимых нитях, которые случай сплетает воедино. Дойдя до дверей, ты вспоминаешь, что забыл какую-то вещь, и возвращаешься; Лоренцо Медичи изменяет свое мнение и пересматривает планы, не подозревая, что из-за принятого в последний час решения он примет смерть или благополучно избежит ее.

Колеса автомобилей шуршали по мостовой. Время от времени мне казалось, что меня преследуют, — что-то неуловимое, беспокоящее, было за спиной — но, возможно, это всего лишь шелестела велосипедная цепь или джинсы терлись о крыло. Это чувство часто преследовало меня, когда я ехала по улицам, мимо каменных статуй и затерянных площадей, под непрерывное стрекотание велосипедных шестерен. Не в первый раз меня охватывал страх. На перекрестках я вертела головой, но никого не обнаруживала — сохранялось лишь ощущение, что кто-то смотрит в затылок.

Не в первый раз. Если целыми днями изучать документы в поисках скрытых следов, разгляды-

вать странные полотна старых мастеров, пытаясь истолковать сигналы, посылаемые случаем, то в конце концов начинаешь относиться ко всему с опасливым подозрением. Но ведь случай приносит нам не только беспокойство, говорила я себе, стараясь прогнать страхи, иногда он доставляет нам радость, пусть непрочную и недолгую, но способную порой оправдать существование. Я думала о случайности, благодаря которой познакомилась с Роем, в пабе, где эта случайность, казалось, воплотилась в голосе Тома Уэйтса, а не в человеке, поджидавшем меня внутри: я ничего не подозревала, не испытала, входя, никакого трепета.

Я закрутила педали энергичнее, почти прижавшись к поребрику, тело было напряжено, а голову занимали невеселые мысли. Боковым зрением я заметила косую тень на другой стороне улицы, слева от меня раздалось урчание мотора, и появившаяся машина заполнила мою половину улицы. В инстинктивном отчаянии я повернула руль вправо, позабыв о поребрике, и дальше не было ничего, кроме тьмы, — лишь в одно мгновение промелькнуло жуткое осознание того, что мне некуда свернуть и что меня непременно задавят.

То была доля секунды, настолько ничтожная, что никакие часы, пожалуй, не измерили бы ее, но достаточная, чтобы заключать в себе разницу между жизнью и смертью.

Хотя принцип неопределенности — это физический закон, управляющий нашей судьбой, но есть моменты, содержащие в себе будущее — шлепок тела о землю, удар виском о грань бордюра, — и точно так же есть моменты прошлого, содержащие в себе проникновение кинжала в тело, запах горелой плоти юного флорентийца, безоружного, одетого в простой плащ. Лежа на земле, я услышала визг шин; мелькнуло черное пятно крыла и тут же пропало за углом.

Оказавшись внутри бесконечного пузыря времени, я поняла, что подлинное ощущение опасности — это моментальная вспышка, которой хватает лишь для того, чтобы включилось сознание. Велосипедный руль впился мне в левый бок, из носа текла кровь. И тем не менее мысленно я не покидала дублинского бара, где сидела на высоком табурете, спиной к деревянной стойке. Я продолжала думать о том же, о чем думала до столкновения, словно видела сон о прошлом, где Рой, в том же ирландском свитере, что и в день нашего знакомства, медленно-медленно

протягивал руку к уголку моих губ. Вокруг меня, словно сквозь вату, слышались шаги вперемежку с голосами, мое тело ощупывали чьи-то руки, меня спрашивали, в порядке ли я, мне помогали встать — и наконец, благодаря людям вокруг, я покинула безмолвие и остановившееся время.

Греки полагали, что выжить — значит избежать своей судьбы. Но если ты избежал своей судьбы, то в чьей жизни окажешься после этого?

XIV

Всадник едва смог добраться до городских ворот, тяжело дыша, весь в поту после трехдневного пути под грозовым дождем. Попона его коня была облеплена дорожной грязью, как и низ войлочного плаща. На руках были плотные степные рукавицы. Куртка в желто-белую полоску была подбита изнутри мехом барашка, а блеклая каракулевая шапка, защищавшая путника от ледяного холода Апеннин, сливалась с седой бородой, доходившей до груди. Человек больше напоминал главаря разбойников, чем капитана папской гвардии.

Купол собора с белыми нервюрами и гордо высящимся на самой вершине шаром излучал такую мощь, что папский посланник на миг усомнился в успехе своей миссии. Взгляд его остановился на высокой кампаниле из зеленого и белого мрамора, которая вызывала священный трепет у каждого, кто прибывал во Флоренцию. Ночной дождь не остановил городскую жизнь, однако некоторые улицы превратились в трясины, где лошади оступались, а вьючные животные

вязли. Под аркадами продовольственного рынка проезжал возчик — он так здорово стегнул запряженного в тележку мула, что одна из оглобель разворошила кучу мешков с углем. Торговцы вступили в перебранку, маша кулаками, и чужеземец ловко увернулся от них: меньше всего он хотел ввязаться в заварушку.

Куда спокойнее было в «канто деи Картолаи» — квартале ювелирных и канцелярских лавок: здесь торговали бумагой, а кроме того, держали конторы нотариусы, банкиры и регистраторы. Осмотр города входил в задачу посланника. Воздух был очищен недавними дождями, и с высоты холма открывалась прекрасная панорама центра Флоренции: голубятни над плоскими крышами, море красной черепицы, торчащие зубцы стен, острые, прямые башни церквей, выше которых была только внушительная колокольня правительственного дворца с угрожающе глядящими бойницами… Дальше виднелись холмы Фьезоле, где его поджидал кардинал Сан-Джорджо с тремя сотнями конных арбалетчиков и пятьюдесятью пехотинцами в роскошных нарядах. Если во Флоренции тем вечером и творилось что-то подозрительное, никто этого не заметил.

С запада, со стороны ворот Прато, плыли тучи,

и воздух уже становился ощутимо влажным. Боясь с минуты на минуту быть застигнутым ливнем, путник поспешил бегло — на первый раз — обследовать местность между собором и монастырем Санта-Кроче, нарочно проследовав мимо особняка Пацци. У дверей лежала груда тяжелых мешков; грузчики не без труда оттаскивали их на хозяйственный двор. Свернув на виа Баллестриери, посланник столкнулся с высоким человеком с аристократическими чертами лица, богемный вид которого выдавал в нем художника. Рядом с ним шагал мальчик в надвинутом на голову капюшоне из толстой шерсти. Эти двое напоминали не столько учителя с учеником, сколько отца с сыном. Чужестранец обратился к ним с вопросом, где ему остановиться на ночлег.

Мальчик недоверчиво посмотрел на незнакомца, но его старший товарищ оказался более любезным.

— Или на постоялом дворе «Кампана», или в гостинице «Корона», позади собора, рядом с новым рынком. — Мужчина показал рукой. — И там, и там вы хорошо устроитесь. Флоренция известна своим гостеприимством.

Местный житель нисколько не хвастал. Город с торговыми традициями славился, несмотря на

злоязычие жителей, радушным отношением к путникам. Конечно же, первым их впечатлением был образ процветающей, гордой собой республики. Как опытный наблюдатель, всадник отметил с дюжину недавно возведенных частных дворцов с солидной каменной кладкой. Правда, ни один не мог сравниться с резиденцией Лоренцо Медичи, куда он и направился в расчете на аудиенцию. Тень сомнения мелькнула в его мыслях. Так велик был этот город и так крепко пропитан воздухом свободы, что управлять им извне будет очень непросто. Лишь несколько недель спустя посланник глубоко пожалел, что плохо прислушивался к интуиции. Но Флоренция тогда уже была устлана трупами, и каждый шаг по мостовым выжимал тошнотворные струйки крови.

Дворец Медичи посреди виа Ларга не оставлял сомнений в том, кому принадлежит власть в республике. Его геометрическое совершенство нарушалось лишь облицовкой из грубого камня, придававшей зданию вид неприступной крепости. Трехэтажный дворец был просторным и прохладным. Из вестибюля можно было пройти прямо во внутренний двор с апельсинами в цвету, вымощенный черно-белыми плитами. Его украшали светящиеся статуи, под аркадами

висели клетки с редкими птицами. В центре высилось изваяние, изображавшее Юдифь и Олоферна. Посланник прочел на пьедестале: «Regna cadunt luxu, surgunt virtutibus urbes» — «Роскошь губит царства, добродетель укрепляет города». Чужеземец, дивясь, глазел по сторонам и не сразу заметил Великолепного у себя за спиной. Лоренцо наблюдал за ним, стоя у подножия большой парадной лестницы, которая вела к покоям на втором этаже.

Обернувшись, гвардеец оказался лицом к лицу с человеком, которого должен был убить. Он обнажил голову, выставил вперед левую ногу, преклонил правую и представился:

— Джованни Баттиста Монтесекко, капитан Апостолической гвардии, по приказу его преосвященства кардинала Раффаэле Сансони Риарио, племянника Его Святейшества.

Это было правдой, но не всей правдой. Искушенный во владении оружием, этот кондотьер принадлежал к числу солдат, набранных в горах — вековечной колыбели голодных наемников. Он действительно служил в Риме, охраняя замок Святого Ангела, но без колебаний предоставлял свое копье в распоряжение того, кто лучше платил. Во Флоренцию его привела важнейшая миссия, с

которой были связаны интересы различных лиц, любой ценой желавших остаться в тени, — особенно тех лиц, кому капитан был обязан жизнью. Перед отъездом во Флоренцию он поклялся в папском дворце, что не выдаст, под угрозой отлучения от Церкви, имен руководителей заговора. Ему открыли план государственного переворота. Как солдат, побывавший в сотнях переделок, он знал, что совершить двойное убийство — нелегкая задача. Но опасения капитана померкли перед обещанием, что в нужный момент высокопоставленные флорентийцы расчистят ему путь.

— Итак, Святой Отец дал согласие? — спросил он, изумленный как размахом плана, так и обилием кровавых подробностей.

— Вы хорошо знаете, что Его Святейшество думает о Лоренцо, — выразительно сказал папский советник. — Этот мерзавец никогда не выказывал ни малейшего уважения к понтифику, и все наши попытки образумить его оказались тщетными. Настал момент пустить в дело железо.

— Значит, насколько я понимаю, Святой Отец знает обо всех мелочах? — настаивал кондотьер.

— Разумеется. И мы позаботимся о том, чтобы он лично сообщил их вам. У вас не должно остаться ни тени сомнения.

Затем советник коснулся плеча капитана обнаженной шпагой, словно посвящая его в рыцари. Монтесекко поежился, увидев, как решительно двигается эта железная рука с шестиугольником рубина на безымянном пальце. И он больше не сомневался: именно она, а не рука Папы или кого-нибудь еще, держала все нити.

Стоя перед своей будущей жертвой, чтобы передать лицемерное послание, Джованни Баттиста Монтесекко вспоминал тот разговор, каждое сказанное слово. Оказалось, не так страшен черт, как его малюют. В рубашке с пышными рукавами, перехваченной поясом с массивной бронзовой пряжкой, его грозный враг больше походил на вдохновенного молодого поэта, нежели на могущественного властелина. Великолепный предложил ему сесть в кожаное кресло, а сам взломал сургучную печать с гербом кардинала Риарио и достал письмо, пока дворцовый камергер хлопотал вокруг гостя, наливая розовый кампари из погребов Медичи в Сан-Миньято-аль-Монте.

Наемник неуклонно следовал кондотьерскому правилу — не пить ничего в доме врага, но угощение принял — ему срочно необходимо было промочить горло. Лоренцо Медичи внимательно

но читал послание, а капитан сжал челюсти, пораженный тем, что как будто во второй раз переживает события прошлого.

Действительно, заговорщикам однажды уже довелось поменять планы. Сначала предполагалось сделать все в Риме, так как Лоренцо ежегодно совершал пасхальное паломничество в Вечный город. Однако тот неожиданно, в последний момент, передумал и расстроил планы конспираторов, вынудив их произвести на свет новый замысел.

Время поджимало, и осуществление нового плана назначили на 19 апреля. На этот раз местом действия избрали виллу Медичи среди невысоких холмов к северу от Флоренции, в епископстве Фьезоле: Лоренцо намеревался дать обед в честь молодого кардинала Сан-Джорджо, племянника Сикста IV, возможно рассчитывая умилостивить Папу. Но и здесь возникли непредвиденные обстоятельства: Джулиано, младший брат Лоренцо, внезапно захворал лихорадкой и не смог присутствовать на торжестве. Заговорщикам пришлось снова бросать свои приготовления. Каждое промедление казалось вечностью тем, кто был настроен решительно — и как можно скорее — покончить с властью Совета Республи-

ки. Но они знали: если один из братьев выживет, сторонники Медичи сомкнутся вокруг него и не дадут совершить переворот. Единственным выходом виделось двойное убийство.

Третья попытка должна была стать решающей. От письма, которое Лоренцо держал в руках, зависел успех миссии капитана. В нем Раффаэле Сансони Риарио, кардинал Сан-Джорджо, сообщал о желании посетить Дворец Медичи на виа Ларга, чтобы ознакомиться с фамильной коллекцией произведений искусства. Таким образом, разыгрывались одновременно две карты: тщеславия и высокой политики. Все во Флоренции знали, что Лоренцо больше всего гордится своим бесценным собранием. А так как едва ли не все дипломатические вопросы решались на непринужденных встречах, разумным выглядело предположение, что Великолепный ухватится за эту возможность и попробует смягчить отношения с Римом — ведь семнадцатилетнего кардинала связывали с Папой родственные узы.

Прочтя письмо, старший из Медичи объявил капитану, что приглашает кардинала на обед в последнее воскресенье апреля, вместе с послами Неаполя, Милана, Феррары и прочими достославными дворянами, а также со своими союзниками,

такими как герцог Урбино, в чьих дипломатических способностях Лоренцо был твердо уверен.

Наживка, похоже, отлично сработала. Однако то, что Лоренцо выразил согласие таким простым и благородным жестом, безо всяких условий, смутило посланника, на миг расположив его в пользу жертвы. Но только на миг: в конце концов, то была всего лишь работа, а его разбойничья профессия не оставляла места для идеологии или личных симпатий.

Итак, заговор наметили на 26 апреля. Решено было собраться в соборе накануне торжественной мессы, а оттуда всем вместе направиться во Дворец Медичи, где и совершить переворот. Но судьба, как выяснилось, припасла в рукаве козырную карту.

После того как Лоренцо Медичи пожелал всего наилучшего кардиналу, Монтесекко вышел из дворца, снедаемый тревогой. Он чувствовал себя не в пример увереннее, сидя в засаде на горном склоне, где дух перехватывает от залегшего в пропасти густого тумана, чем в этом городе с обширными площадями, который — капитан слышал это столько раз — не имеет себе равных во всем мире. Монтесекко не обратил внимания на нищих с зияющими ранами, сидевших на

порогах домов: на Святой неделе благочестие верующих вырастало, а с ним — и размер подаяния. Замешательство посланника было вызвано не только бурлением большого города с сотней церквей и множеством таверн, куда стекались монахи после служб; нет, причиной было что-то другое, не столь определенное и еще более зловещее — наемник чувствовал его за спиной, как и дующий непонятно откуда ветер, что гулял по улицам, заглушая голоса до слабого шепота.

Осторожно, мерным шагом он подъехал к переплетению улиц за новым рынком, по указанию человека, встреченного им близ городских ворот. Капитан вспомнил, как боязливо дернулся, увидев его, мальчик, точно невольно предугадал роковое несчастье, грозившее городу с прибытием незнакомца. Такое же недоверие читалось теперь на лицах женщин, которые закрывали ставни, когда он проезжал мимо. В дорожной сумке у Монтесекко лежали еще три письма, запечатанные сургучом: во всех одного и того же человека призывали примкнуть к заговору. Через час в одной из комнат «Кампаны» капитан встретился с Якопо Пацци, узнав его по горделивому виду и пряди белых волос.

— Хочу передать вам приветствия от его

святейшества графа Джироламо Риарио и его преосвященства архиепископа Франческо Сальвиати, — сказал посланник, вручая собеседнику три конверта, содержимое которых следовало сжечь тотчас после прочтения. Инициатор заговора, торжественно касаясь шпагой его плеча, выразился предельно ясно: письма уничтожить, не оставляя улик.

Якопо Пацци, нахмурившись и заложив руки за спину, несколько минут пребывал в задумчивости. Бывший гонфалоньер справедливости знал, что выгоды могут быть немалыми: его семейство наконец займет подобающее место в истории Флоренции. Но риск все же был весьма велик. Если дело обернется плохо, месть Медичи будет страшнее всего, что только можно себе представить. И хотя переворот совершался с одобрения высших лиц в духовной и политической иерархии, главе рода Пацци нужно было подумать, прежде чем дать окончательный ответ.

Ни Пацци, ни Монтесекко не знали, что шпионы Ксенофона Каламантино следовали за ними до угла постоялого двора. Когда хозяин уже задвигал металлический засов, перед ним выросли два человека в черных плащах, со шпагами и кинжалами.

— Идите за нами, — сказано было только это: не то чтобы с угрозой, но так повелительно, что не приходилось даже помышлять о неповиновении.

Хозяин предпочел бы увидеть на месте этих двоих обычных грабителей с лицом, вымазанным в черное, что не раз приставляли ему клинок к груди со словами: «Кошелек или жизнь». Но агентам грека не было нужно ни то ни другое. Несчастный пытался сохранить остаток самообладания, но колени его дрожали, ноги стали ватными. Если бы его не держали крепко под руки, он повалился бы на землю, как тряпичная кукла.

Когда хозяина привели в условленное место — амбар у ворот Санта-Кроче — Каламантино пододвинул ему деревянный табурет. Трактирщик испытал подлинный страх — не перед смертью, а перед кое-чем беспредельно худшим: он ведь слышал так много всего… Говорили, будто пытаемым вырывают ногти, режут на куски язык, а потом выбрасывают на помойку, и те становятся поживой бродячих псов. Хозяин живо представил себе все это. Ужас заблестел в его глазах, черные волосы стали жесткими от обильного пота, дыхание сделалось учащенным, живот заходил ходуном. Грек подошел к нему с узким кинжалом

в руке и спросил, что он знает о встрече капитана Монтесекко с Якопо Пацци.

Тот пробормотал, собрав остатки сил, что он всего лишь подал им кувшин вина и два стакана. Не успел он закончить фразу, как Каламантино точным движением пригвоздил его ладонь к бревну.

Ужас на лице трактирщика потрясал больше самого пронзительного крика боли. Не дожидаясь, пока чужие пальцы мягко залезут ему в рот и извлекут язык, хозяин постоялого двора признался, что видел через щелку двери, как Якопо Пацци прочел при свете свечи три письма, а затем сжег их. Лишь тогда быстрым движением грек вытащил кинжал, освободив его руку.

Задвижка на двери открылась, и трактирщик почувствовал, как в амбар врывается свежий ночной воздух и отдаленный стук барабанов, возвещавший о наступлении Святой недели.

XV

Я знала, что у профессора Росси лекции по средам, а потому ближе к вечеру пришла на факультет, чтобы встретиться с ним. Под колоннадой, за входной решеткой, виднелись группки студентов. На скамейках на площади Сан-Марко под колокольный перезвон мирно сидели парочки. Я прошла через внутренний двор с тыльной стороны здания и стала изучать расписание. Ага, вот: «История современного искусства, Джулио Росси, магистерский курс. Среда, 15.00–17.00. Аудитория 3».

На часах было 17.05. Аудитория уже почти опустела, оставалась лишь одна студентка, которая что-то спрашивала у профессора. Они оживленно разговаривали рядом с возвышением, на котором стояла кафедра. Девица была одета крикливо, с расчетом на всеобщее внимание: мини-юбка в крупную клетку, черные колготки, длинная грива волос рассыпалась при малейшем движении, падая на плечи. Профессор, сунув руки в карманы пиджака, слегка улыбался, открыто и в то же время отрешенно, не теряя обычной застенчивости

и словно не замечая, как эта Диана-охотница пожирает его глазами. В груди у меня заколoло, отчего боль между ребер сделалась невыносимой. Дышать было больно. С рукой на перевязи и швами над левой бровью, я чувствовала себя самой непривлекательной женщиной в мире. Увидев Росси с девицей, я так смутилась, что чуть было не развернулась и не ушла. И ушла бы, но профессор заметил меня сквозь дверную щель.

— Анна! Что с тобой? — спросил он, поспешно распрощавшись с юной Мата Хари.

— Ничего страшного. Упала с велосипеда.

Мы пошли по каменной лестнице, ведущей со двора на второй этаж. Отделение современного искусства занимало просторную пристройку с большими окнами, выходившими в ренессансный дворик с полукруглыми арками и маленьким садиком в центре.

Войдя в кабинет профессора, я ощутила запах кожи и дерева, памятный мне со дня нашего знакомства. Странно, ведь в комнате не было старинной мебели — лишь безликая современная обстановка: стеклянные шкафы с книгами и архиваторами, разноцветные папки на рабочем столе, компьютер с облепленным желтыми листочками монитором. Стену, противоположную

входу, украшала заключенная в раму роспись — вид Флоренции с другого берега Арно, но не современной, а XV века, в кольце городских стен.

Профессор поставил на стол проектор и обойму с диапозитивами, которые использовал на лекции. Я заметила, что сбоку от монитора, рядом с гибкой лампой, стоит серебряная подставочка с фотографией — единственная вещь личного обихода в этой академической обстановке. На снимке была смеющаяся от всей души девочка лет четырех на трехколесном велосипеде, в джинсовом комбинезоне и красных сапожках.

Я быстро отвела взгляд от фото — мне стало неловко, словно я вторглась в чужое личное пространство, — но Росси все же успел уловить движение моих глаз. Несмотря на рассеянный вид, профессор был наблюдателен.

Он сидел в вертящемся кресле, положив руки на край стола, и в задумчивости смотрел на меня так же пристально, как раньше, но при этом легонько улыбаясь, точно желая сгладить неловкость, если молчание слишком затянется.

— Я думал тебе позвонить, честное слово, да неделя выдалась просто адской. — Росси показал на кипу листов у края стола. — Но если бы я узнал об этом… Почему ты не сказала? — Тон его был

искренним и озабоченным, с долей упрека, но в выражении лица не читалось ни малейшего следа расположения ко мне, как на прошлой неделе, в моей квартире, когда он словно обволакивал меня взглядом. — Должно быть, сильно ударилась? — Он помедлил секунду, как бы прикидывая, серьезны ли мои травмы. — Как это случилось?

— Ну… Ничего такого. Потом расскажу. Я хотела сперва поговорить о другом.

— Ладно. — Росси достал очки из внутреннего кармана и приладил их на нос. — Итак…

— Это насчет «Мадонны из Ньеволе». Я думала о том, что вы мне тогда сказали о тайных обществах и всяком таком. Хотелось бы узнать побольше об их возникновении и о том, удалось ли им дожить до наших дней.

Профессор удивленно посмотрел на меня, будто не ждал такого вопроса.

— А почему вдруг? Насколько помню, ты никогда особенно этим не интересовалась — по крайней мере, мне так кажется. «Слишком похоже на роман» — вот что ты говорила. И никогда не спрашивала об этом.

В голосе его не слышалось ни укора, ни порицания — скорее профессор притворялся чуточку

возмущенным. Брови его были сдвинуты, но глаза шутливо блестели.

— Ну так вот, Джулио, теперь я об этом спрашиваю. Мне показалось очень увлекательным то, что вы рассказывали про судьбу картины. Просто иногда требуется время, чтобы все осмыслить, — стала оправдываться я.

— Отлично, — улыбнулся Росси. — Не надо преувеличивать. Посмотрим… — Он потер бровь пальцем, точно в поисках утраченной нити разговора. — О происхождении розенкрейцеров существуют разные теории, но почти все возводят их к Древнему Египту. Некоторые считают первым главой ордена Эхнатона, но о тех временах известно очень мало. — Взгляд его сделался напряженным, как в минуты сосредоточения, лоб — нахмуренным, щеки слегка ввалились, морщинки в уголках губ стали намного заметнее. — Позднее таинственный Гермес Трисмегист частично изложил учение братства в письменном виде, откуда происходит термин «герметический», — спокойно продолжал он, строго и без пафоса, как человек, хорошо знающий, о чем говорит. — Постулаты розенкрейцерства смешались с античной философией и начали распространяться по Восточному Средиземноморью.

Пронзительно зазвонил телефон, и я подскочила на месте. Профессор снял трубку, не дожидаясь второго звонка:

— Не беспокойтесь, синьора Манфреди, можете оставить это в моем кабинете. Я не знаю, когда приду.

Затем он продолжил как ни в чем не бывало:

— Однако братство никогда публично не обнаруживало себя. В него принимали далеко не всякого.

— Кого же? — полюбопытствовала я.

— Только выдающихся людей, чьи способности привлекали внимание розенкрейцеров. Нечто вроде аристократии духа: мыслители, ученые, алхимики… — Он сделал паузу и посмотрел на меня пристально, как тогда в моей квартире, с явным расположением или чем-то похожим: я не очень понимала, как истолковать этот взгляд. Мне казалось, что такие перемены в поведении могут быть лишь свидетельством внутренней борьбы. Кашлянув, Росси продолжил: — Образовались различные тайные школы, и отдельные источники утверждают, что к ним принадлежали Пифагор, Сократ, Платон, Иисус Христос собственной персоной, Данте. В эпоху Возрождения такие общества множились по всей Италии, особенно

в Тоскане и Урбино. Тем не менее никто не смог установить, кем были подлинные розенкрейцеры, кроме, разумеется, тех, кто вошел с ними в контакт. — Он снова остановился, словно мысль его намного опережала речь. — Сегодня почти нет сомнений в том, что Леонардо входил в одну из этих лож, хотя при той секретности, какую предписывали правила тайных обществ, трудно найти решающие доказательства. Мазони куда менее известен, и о нем нет таких исследований. В каком-то смысле, тем лучше для тебя. — Лицо его озарилось улыбкой соучастия. — Ты будешь вспахивать целину, это большое преимущество.

— Даже не знаю, что сказать, профессор. — Я подняла брови, как бы ставя под вопрос эту сомнительную привилегию. — Проблема вот в чем: я так и не понимаю до конца, что мне искать. Я боюсь, вдруг оно у меня перед глазами, а я и не подозреваю?

— Ну что же, есть простейшие признаки, которые на первых порах могут тебе помочь.

— Например?

— Например, общий для них интерес к научному знанию, подчеркивание ценности человеческой личности, осуждение роскоши и великолепия, в которых купались земные вла-

сти, особенно церковные. — Профессор встал и направился к шкафу, стоявшему ближе всего к окну. Проведя пальцем по корешкам книг, он остановился на одной, в зеленом переплете из бараньей кожи, похожей на старинную Библию. Название — «Confessio Fraternalis» — было вытиснено готическими буквами. — Это перевод немецкого труда семнадцатого века, одного из немногих, посвященных ордену. Загляни в него, если хочешь, хотя язык может оказаться трудным для понимания. А посмотри сюда. — Он открыл том на середине и положил на стол передо мной, а сам встал позади, опершись рукой на спинку кресла, склонив свою голову к моей. Я чувствовала его дыхание у себя на затылке. В тексте говорилось про Папу, «узурпатора, змея и антихриста». — Неплохое изложение принципов, — заметил профессор.

Кое-какие схожие мысли мелькали у Мазони — но очень расплывчатые, как бы окутывающие туманом страницы дневника, и зацепиться было не за что. Правда, у меня не было трех последних тетрадей. Мне захотелось рассказать профессору о странном разговоре с Боско Кастильоне, но почему-то я так этого и не сделала. Вероятно, потому, что не рассказала бы о нем и отцу, чтобы

не вызывать преждевременного и, возможно, ненужного беспокойства. В архивах по всему миру полно тех, кому нравится считать себя центром Вселенной, точно им поручена некая божественная миссия.

— По-моему, это не очень-то поможет. В те времена любой мог исповедовать такие принципы. Возрождение как раз и отличалось тем, что тогда пересматривалась прежняя система знаний, начали доходить сведения из неизвестных прежде уголков планеты. Возможности были безграничны.

— Здесь ты права, — с улыбкой согласился Росси, — но подумай вот о чем: возможности были безграничны, однако уверенности не было совсем. Что неявным образом привело, скажем так, к философскому головокружению. И здесь-то нашлось место для тайных обществ.

— А какая эпоха обходилась без такого головокружения? Разве сегодня мы не висим в воздухе? Вдруг в наши дни существуют продолжатели дела тех обществ, разные секретные организации? А мы ничего о них не знаем или недооцениваем размах их деятельности.

— Как это не знаем? Знаем, разумеется. Сегодня, как никогда, мир поделен между лоббистами, или

группами влияния. Наравне с мафией, ЦРУ, «Опус Деи», ложей «П-два», транснациональными компаниями есть группировки, которые ведут с ними борьбу, противостоят им в глобальном масштабе. Но все эти модные модернистские или постмодернистские измышления тут ни при чем. Не впадай в распространенные заблуждения. «Код Да Винчи», «Протоколы сионских мудрецов», все пророчества о наступлении новой эры — чистой воды мошенничество. Подлинная опасность, как и всегда, исходит из сердцевины власти.

Я вспомнила намеки Кастильоне о скрытой борьбе в Ватикане. Всего пару дней назад я прочла в «Коррьере делла сера» скандальные заявления высокопоставленного представителя Римской курии о слабом здоровье Иоанна Павла II. Прелат без обиняков утверждал, что понтифик не в состоянии руководить Церковью, так что ему надо как можно скорее проявить волю и уйти на покой. Ватиканские воды, очевидно, были взбаламучены. Меня интересовало, какую роль играет во всем этом монсеньор Готье. Но особенно хотелось знать, как же, черт возьми, переживаемые Святым престолом кризис и неустойчивость были связаны с внезапным интересом Ватиканского архива к Мазони и его исчезнувшим дневникам.

Негромко постучав, в кабинет робко заглянул какой-то рыжеволосый паренек.

— Простите, профессор Росси, я хотел только поговорить насчет работы о Марсилио Фичино.

— Я еще не успел проверить все работы, Бруно. Зайди в четверг, и тогда поговорим, если хочешь.

— Хорошо. — Дверь за студентом бесшумно закрылась.

— Миром всегда правили не те, на кого указывает неосведомленная публика, — продолжил Росси, — а сейчас — тем более. После крушения башен-близнецов мы живем в атмосфере подозрительности, международная политика — дело темное, и многое из того, что прямо нас касается, недоступно нашему взгляду. Отрицают самое очевидное, любую истину могут исказить, изобретают ложные доказательства, оружие массового поражения находят там, где его никогда не было… — Профессор прервался, видимо поняв, что сильно удалился от исследуемой эпохи. Но при этом он не терял из виду Медичи и сеть интриг, что плелась во Флоренции пятнадцатого века. Он мог позволить себе отклониться от темы, перепрыгнуть на столетия вперед, а потом легко вернуться куда следует. — То же самое

в любом заговоре: один держит в руках нити, другие пляшут по его команде, но это все хорошо известно. — Голос его зазвучал ровнее. — Достаточно искры, чтобы взорвалась пороховая бочка. Проекты, идеи, самые прочные отношения — все взлетает на воздух. Это старо, как распятие.

Снова раздался стук в дверь.

— Да? — сказал профессор.

Кто-то дрожащим голосом попросил прощения за беспокойство. То была совсем молоденькая студентка с угреватым лбом, по виду иностранка: англичанка или ирландка. Она спросила у профессора насчет практики, которую им вроде бы поставили на этот триместр.

— На следующей неделе во вторник, Джейн, — сердечно улыбнулся ей Росси, затем повернулся ко мне, склонив голову и подняв плечи, словно в знак извинения. — Давай пойдем отсюда, здесь нас не оставят в покое.

Я сунула в сумку книгу о розенкрейцерах, и мы покинули факультет. Солнце опустилось чуть ниже, но лучи его еще сохраняли тот золотистый оттенок, что встречается порой на ренессансных полотнах. По оживленной в этот час улице Рикасоли шли компании студентов, слышались смех и болтовня. В воздухе разливалось предчувствие

весны. На балконах кое-где виднелись цветы, на террасах — тенты. Мы прошли по площади Сан-Джованни, между собором и баптистерием. Стук шагов по мостовой был таким же, как и пятьсот лет назад, будто здесь все еще витали воспоминания о случившемся. Беседуя с профессором, я думала о том, что каждый уважающий себя город должен иметь по меньшей мере два обитаемых слоя: один — плотное прошлое, в котором откладываются исторические события, и другой — разреженное, как бы еще не оформившееся настоящее. И в обоих проходят, перекрещиваясь между собой, жизни людей, снующих по городу. Наверное, эти пространства пересекаются, и поэтому иногда я не знаю в точности, где нахожусь.

— Все, что происходит в политике, — развивал свою мысль Росси, — свойственно и отношениям между людьми: зависть — пружина для многих махинаций. Каждый из нас становится их жертвой. Ты пока что слишком молода, но тоже когда-нибудь встретишься с этим — в работе, в личной жизни, где угодно… Все мы сталкиваемся с враждебностью: коллеги смеются над нами, вокруг нас образуется пустота, в университете это обычное дело. Я чувствовал это много раз, и не только на факультете, но и на улице, проходя

через двор, где собрались поболтать соседи. Любой человек может подвергнуться насмешкам и оскорблениям, и более того: часто мы сами побуждаем других к этому.

— К оскорблениям? — скептически-неодобрительно спросила я.

— Ну улыбнулся профессор, — в переносном смысле, конечно… Вот здесь, в этом месте, прошла немалая часть моей жизни, — продолжал он. — Конечно, я участвовал в подпольных кружках. Не забывай: на мое поколение выпали трудности послевоенного времени, мы мечтали все изменить, были преданы прекрасным идеалам. Или ты думаешь, никто, кроме вас, не хотел преобразить мир? В каждой революции наружу выходит все самое лучшее и самое худшее, что есть в человеке. Ангельское и сатанинское.

Солнце почти закатилось, и я вдруг почувствовала, что съеживаюсь внутри, словно холодный поток вынес меня, раздетую, на эту улицу, среди каменных дворцов. Мы шли бок о бок, не меняя шага, я — с опущенными глазами, глядя в землю; профессор нес на плече мою сумку. «Кто же идет рядом со мной, ангел или демон?» — подумала я.

На закате есть такое мгновение, когда небо как будто готово заледенеть; иногда в это время

поднимается легчайший, точно тень призрака, ветерок. Я искоса взглянула на профессора — высокого, с посеребренными висками и походкой Питера О'Тула — и решила: рядом со мной — не ангел и не демон, а средневековый рыцарь, князь эпохи Возрождения, и, может быть, он страстно любил меня в другой жизни, так что я не удивлюсь, если он неожиданно предложит мне руку и сердце, как сделал бы, конечно, Лоренцо Великолепный, и прочитает мне на ухо своим низким голосом первые строки «Божественной комедии»: «Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura…» От этого нет лекарства. У кого-то люди, живущие в воображаемом мире, вызывают жалость. Но невероятным образом именно тогда, охваченная видениями, я впервые после приезда совсем близко подошла к пониманию того, что все Флоренции реальны и все они пересекаются между собой.

Мы вышли на пьяцца делла Репубблика, где уличные художники, сгрудившись перед своими мольбертами, словно оркестранты, делали портреты за одну минуту. В двух-трех магазинах уже зажгли свет. Профессор показал на застекленное кафе по ту сторону площади.

Минуту спустя мы уже сидели внутри, потяги-

вая красный чай с мелиссой и мятой. Интерьер был выдержан в стиле XVIII века: зеркала, затуманенные паром от капучино, стены, обшитые до середины ореховым деревом. Народу в это время было немного, и мы сели за свободный столик у окна. Разговор зашел о роли случая в жизни человека: над этим вопросом я часто задумывалась в последние дни и, скорее всего, потому и клюнула на наживку. Меня расстраивали все отвергнутые возможности: двери, запертые перед неведомым, утраченные тетради Мазони, сны, забытые при пробуждении, ключ от флорентийского дома, сохраняемый, хотя вот уже пять столетий там никто не живет, неосуществленные планы, неотправленные письма, наше с Роем несовершённое путешествие в Тоскану… Лоренцо Медичи сумел уйти от своей судьбы. И все же крохотной случайности, изменившей ход событий, оказалось недостаточно, чтобы сохранить жизнь его брату. Может быть, поэтому до самой кончины Великолепный был осужден вспоминать, как его брат накидывает плащ, как легкая ткань развевается, почти летит… Это движение навечно отпечаталось в его памяти. Точно так же и я мысленно видела, как моя мать беспрестанно наклоняется и снова выпрямляется, с трубкой в руках, поднимая

с пола ручку, как мой отец вечно ждет у дверей, пока я завяжу шнурки.

— Я не верю в случай, — рассуждал профессор, пока официант ставил на стол поднос с тарелками спагетти, — но вот предопределенность стопроцентно существует.

Это прозвучало так фатально, что я не осмелилась возразить. Внезапно, взглянув поверх его головы, я застыла, парализованная страхом. В полукруглом окне, делившем помещение надвое, вырисовывался тонкий и смутно знакомый силуэт. Вблизи внешность этого человека показалась мне еще более карикатурной, чем в первый раз, когда он стоял под светящейся вывеской отеля «Априле». Тогда расстояние не давало мне разглядеть его, но теперь я впитывала его облик всеми пятью чувствами. Он напоминал ярмарочного танцора — блестящие от бриллиантина волосы, уложенные вокруг головы наподобие шлема. Одет незнакомец был так же — длинное и очень узкое пальто с разрезом, воротник оторочен лисьим мехом: человек от этого еще больше походил на карлика — Дэнни де Вито в наряде от «Армани». Искоса посмотрев в нашу сторону, он побрел дальше, к двери, словно покидающий сцену оперный певец.

Случайность, подумала я. Ничего, кроме случайности. В конце концов, город не так велик, и естественно, нам встречаются одни и те же лица. Главное — не поддаваться навязчивой идее. Но должно быть, мой вид как-то выдал внутреннюю тревогу.

— Что-то случилось? — спросил Росси.

— Нет, ничего.

— По-моему, ты принимаешь близко к сердцу все, что связано с диссертацией, — по-отечески заботливо проговорил он. — Давай сменим тему, а то опять поедешь на велосипеде с головой, забитой кровавыми убийствами, ничего не замечая… Обещай, что будешь осторожнее.

Он был прав. До чего же тонка линия, отделяющая реальность от вымысла, опасность от сигналов о ней и особенно идеи от их воплощения.

— Обещаю, — сказала я, глядя ему в глаза.

А потом случилось нечто странное и труднообъяснимое — правда, жест этот был таким случайным и мимолетным, что я подумала — уж не показалось ли мне. Профессор Росси не совершил, в общем, ничего ужасного. Не произнося ни слова, он неожиданно потянулся к моему лицу и очень бережно откинул челку со лба, но вокруг

стояла такая тишина, что это простое движение было как гром среди ясного неба.

И вправду, подумала я, застенчивые люди непредсказуемы. Я все смотрела на него, не зная, что сказать. Росси послал мне ответный взгляд — пожалуй, слишком выразительный, — но тут же отвел глаза и уставился в чашку. Между нами сразу повисло молчание, густое, чуть неловкое молчание, казалось, не возникшее здесь, в кафе, а занесенное откуда-то снаружи.

Нет ничего труднее, чем научиться смотреть на человека с близкого расстояния — и выдерживать взгляд другого.

XVI

Огромная рукотворная голубка пронеслась по веревке, натянутой между собором и баптистерием, над головами людей, собравшихся поглядеть на знаменитое scoppio del carro, «сожжение повозки». Утро выдалось холодным и туманным, но к полудню тучи разошлись и выглянуло теплое солнце. Дождя, похоже, не ожидалось, к большой радости флорентийцев, которые с нетерпением ожидали праздника в честь сошествия Святого Духа. Двери домов украшали свежие оливковые ветви, под арками то там, то здесь виднелись сплетенные из сухих колосьев венки — в знак надежды на хороший урожай. Город был весь в бумажных гирляндах и цветах, повсюду играла музыка, одетые принцами дети наблюдали за праздником с балконов богатых домов. До этого Луке не доводилось видеть ничего такого, и потому он вышел из дому пораньше, одетый в свой лучший наряд, чтобы занять место в первом ряду. Мальчик не подозревал, что столь долгожданный день таит в себе опасность, которой он страшился больше всего. Желая сократить путь, он углубил-

ся в паутину мощенных булыжником переулков центра и не раз останавливался, уступая дорогу процессиям возвращавшихся с литургии религиозных братств. Когда Лука добрался до соборной площади, там уже негде было упасть яблоку.

Главным лицом на празднестве был гонфалоньер справедливости в берете гранатового цвета. Его сопровождал оруженосец, держа над головой гонфалоньера зонтик. За ним следовали восемь приоров Совета в лиловых и алых тогах, представители цехов под своими знаменами, каноники церквей Сан-Марко, Санта-Кроче и Санта-Мария-Новелла в великолепных, искусно расшитых ризах, а также члены самых могущественных патрицианских фамилий в собственных каретах. Экипажи были самые разные — роскошные и поскромнее, запряженные золотисто-рыжими или черными лошадьми, — а в них компаньонки знатных дам, искушенные в тайном языке вееров, кокетничали с сидевшими на козлах слугами, направляя им пламенные послания. Из всех карет выделялась та, что принадлежала Лоренцо Медичи: окованная бронзой, запряженная двумя белоснежными конями — подарком миланского герцога Сфорца. Уже несколько месяцев, по совету Каламантино, старший из Медичи выезжал

из дворца не иначе как в сопровождении вооруженных всадников, под родовым штандартом из белой тафты с вышитыми солнцем и лавром — аллегорией собственного имени[13]. Мальчику штандарт был хорошо знаком: эскиз его набросал Верроккьо. Никто во Флоренции не получал и сотой доли тех славословий и поэтических посвящений, что звучали в адрес Лоренцо. За время, проведенное в городе, Лука узнал — и сомневаться в этом не приходилось, — что Великолепный — «отец» республики, что только он может одаривать милостями или отказывать в них, что его восхваляют, боятся и почитают больше любого другого. Восхищались, однако, не только пышными одеяниями и роскошью — народ искренне любил своего правителя.

Мальчик локтями расчистил себе путь сквозь толпу и оказался в каких-нибудь трех шагах от кареты. Молодой Джулиано Медичи вместе с братом приветствовал людей, а позади них, за газовой занавеской, виднелось широкоскулое лицо девушки с позолоченными веками — той, что вызывала у Луки почти религиозное обожание с самого первого дня, когда она, с толстой огненной

[13] Примечания: 13

Лоренцо — итальянизированная форма латинского имени Laurentius, означающего «увенчанный лаврами».

косой на плече, божественным видением явилась ему посреди улицы. Клариче Орсини грациозно ласкала персидского кота с оранжевыми глазами, сидевшего у нее на коленях. На секунду, не переставая гладить кота, она подняла голову — посмотреть на тех, кто с восторгом приветствует ее супруга. Мальчику показалось, что глаза красавицы остановились на нем, и этот мимолетный взгляд заставил его сердце шумно забиться. Он застыл бы на месте бронзовой статуей, если бы не толчки и тычки со всех сторон: пришлось плыть по улице вместе с людским морем.

Беднейшие ремесленники и торговцы, popolo minuto, в праздничном возбуждении заполняли прилегающие к собору улицы и площади; нищета сквозила везде — босые мальчишки, ревущие девчонки на руках у матерей. Девицы на выданье украсили головы венками из жасмина, мужчины достали из сундуков свою лучшую одежду. Лишь самые независимые, как Пьерпаоло Мазони, надели то же, что и всегда. На художнике были белая рубашка, темные штаны и сафьяновые башмаки, и, конечно же, неизменная тетрадка на поясе, чтобы записывать все, достойное внимания: воскресенье ли, праздник ли — с тетрадкой он не расставался никогда. Именно Мазони объяснил

мальчику, что нынешние пасхальные торжества в некотором роде исторические. На одной и той же церемонии присутствовали семейства Медичи и Пацци, связанные кровными узами после женитьбы одного из молодых Пацци на Бьянке, сестре Лоренцо. Те и другие приветствовали друг друга подчеркнуто учтиво, словно старые распри померкли перед цветущей весной, которая принесла с собой запах апельсинов в цвету.

Некоторые флорентийцы с удовольствием повторяли, что Пацци стали теми, кто они есть благодаря великодушию Медичи, однако многие считали, что, не будь Медичи, именно Пацци встали бы у руля власти.

Вскоре в воздухе пополз дым и по площади прокатилось оглушительное рукоплескание: деревянная голубка скользнула по веревке и зажгла фитиль, прикрепленный к повозке с фейерверками, которую белые быки тянули от ворот Прато. Взрывы мелких петард сотрясли площадь, и небо окрасилось цветной иллюминацией.

Праздник затянулся допоздна: звенели колокола, взлетали ракеты, музыканты во главе с самим Романо Турледо наигрывали быстрые мелодии. Многие обитатели предместий среди всеобщей суматохи покинули свои бедные домики из

песчаника, взяли с собой провизию, любимых кошек и собак и теперь брали штурмом каменистый левый берег Арно. Собравшись большими компаниями, достав караваи анисового хлеба и бутылки с домашней наливкой из перебродивших вишен, они ели, пили и пели, пока не засыпали мертвым сном среди зарослей падуба. Эти шумные поселяне, разложив товар под аркадами рынка, после мессы торговали всем, чем можно: пасхальными хлебцами, плетеными корзинами, веерами из перьев королевского павлина, кренделями с карамельками внутри, вокруг которых вились тучи мух, душистыми травами… Но среди торговцев, зычно выхваливших свои товары, внимание мальчика сразу же привлек молчаливый продавец чернил, к которому подходили нотариусы и писари. Были чернила красные, как кровь христианина, чернила со следами слез для любовных писем, золотые, фосфорные — чтобы писать в темноте, невидимые — они проявлялись, только если поднести листок к огню. Последние больше всего очаровали мальчика, но не успел он пожалеть, что нет в кармане золотого, как флакончик купил какой-то аристократ средних лет. Лука с завистью наблюдал, как покупатель выкладывает шесть

лир на выставленную торговцем доску. Руки его были белыми, не загрубевшими от работы, а на безымянном пальце сверкало кольцо с печаткой — огромным шестиугольным рубином. Лицо его было видно Луке лишь наполовину, но, когда тот повернулся, мальчик вздрогнул, точно узрел тварь из адского бестиария. Нос незнакомца был сломан, а от внешнего края глаза до уголка рта тянулся незарубцевавшийся шрам, рассекая верхнюю губу и обнажая ярко-красные десны. От этого пол-лица приобретало какой-то дикий, зверский вид, резко контрастируя с другой половиной — на ней читались глубокая серьезность и даже печаль.

Сперва Лука отступил на несколько шагов, но потом в нем победило болезненное любопытство, заставлявшее листать украдкой манускрипт с чудищами и изуродованными людьми, что стоял у учителя в шкафу. Стараясь не терять из виду дождевика незнакомца, Лука поспешно врезался в толпу, сталкиваясь с прохожими, получая удары локтями. Отвлекшись на мольбы нищего, распростертого на паперти, он решил было, что человек ускользнул, но снова встретил его через несколько улиц, близ Дворца Медичи на виа Ларга — на этот раз в компании высокого, сухопарого

монаха. Мальчик подобрался к ним так близко, что почти слышал шум дыхания обоих.

Таинственный человек поглотил внимание Луки настолько, что он не заметил, как оказался в топкой местности за богадельней. Шум праздника становился все более отдаленным и приглушенным. «Если я погибну в этой глуши, — подумал Лука, — меня никогда не найдут». Сознание его прояснилось — с тех пор как мальчик увидел на рынке это дьявольское лицо, он пребывал в каком-то трансе, а теперь, словно пробудившись от дурного сна, понял, как безрассудно вел себя. Зачем преследовать этих двоих — только потому, что разыгралось воображение? Если они заметят его, то с полным правом могут пустить в ход кулаки или оружие, решив, что за ними крадется обычный вор. Мальчик уже приготовился возвращаться с тяжелым сердцем — предчувствия его обманули, — но тут тишину нарушил скрип двери, чья-то рука хищно схватила его за рукав рубашки и увлекла внутрь амбара.

Он едва успел ощутить довольно полное тело опытной женщины, как та, исходя горячим потом и бурно дыша, опрокинула его на мешки с мукой, развязала завязки штанов, прыгнула сверху и,

повинуясь безотлагательному желанию, лишила юношу невинности. После этого оба в судорогах провалились куда-то, где пахло свежим хлебом.

В темноте мальчик не видел лица храброй амазонки и мог сколько угодно воображать ее с гривой рыжих волос, одетую в платье цвета берлинской лазури. Прекрасная в своей зрелости булочница полежала на нем совсем чуть-чуть, тяжело сопя, и исчезла во мраке, а вдали раздавался барабанный бой, точно затихающий отголосок далекой битвы. Мальчик так и не узнал, что неведомая женщина спасла ему жизнь.

Все произошло так быстро, словно это была не вспышка праздничного безумия, а заранее продуманное действие. Такое предположение, хоть и лестное для него, встревожило Луку, который на вершине блаженства неожиданно понял одну вещь: платоническая любовь к недоступной даме может уступить место вполне земной страсти. С этого началась его жизнь как мужчины.

Мальчик встряхнулся, ощущая тело каким-то чужим, и поглядел на небо. Над двором поднимался столб дыма, фиолетовый в мягком закатном воздухе. Но лишь на следующее утро ему стало известно, что, пока он, уступив натиску незнакомки, переполнялся наслаждением, двумя

дворами дальше совершался сатанинский обряд. Пятидесятитрехлетнего хозяина постоялого двора нашли подвешенным за главную балку. На обнаженном теле, висевшем вниз головой, ножом мясника был сделан глубокий надрез — от паха до подмышки, справа налево.

Кое-кто уверял, что над трупом совершенно точно поработали люди Ксенофона Каламантино, другие утверждали, будто трактирщик ввязался не в свое дело. Но Лука знал: следы пытки были такими же, что и на теле умершего в тесной келье монастыря Сан-Марко. Дрожь ужаса охватила его при мысли о том, как близко совершался жуткий обряд. И мальчик снова увидел себя в сарае, осыпанного мукой, тяжело дышащего в любовной лихорадке, от которой кружилась голова и темнело перед глазами.

Опыт плотской любви бросил его в море сомнений. Луку охватило ощущение потери и легкая грусть. В таком настроении, с полуразвязанными тесемками на рубашке, он брел по виа Гибеллина наедине со своими мыслями, а за спиной у него в дымном небе воздвигались огненные замки и слышались разрозненные обрывки музыки. Тихая ночь повисла над ломаным силуэтом крыш и колоколен.

XVII

Теперь, работая в архиве, я привыкла, что возле меня обретается тень. Иногда она была в виндзорском пиджаке, иногда — в темно-зеленом кожаном пальто, но неизменно в ботинках с металлическими пластинами.

Вся Флоренция была размытой и бледной, воздух насквозь пропитался дождем. Я бегала на цыпочках от квартиры до архива и обратно, летала над улицами, и ум мой по мере продвижения работы делался все более деятельным и дисциплинированным. Я выбросила из головы три недостающие тетради. В конце концов, передо мной были остальные девять — более чем достаточно.

Возвращаясь к себе, я устраивалась за рабочим столом и принималась писать диссертацию. Сто страниц были уже готовы. Однажды я снова увидела девочку с улыбкой волчонка — на пьяцца делла Синьория, перед Лоджией Ланци, как раз там, где много веков назад юный Данте Алигьери наблюдал за играми другой девочки, лет восьми, не старше: звали ее Беатриче. Моя девочка, одна-

ко, не играла, а спокойно стояла, уперев руки в бока, нелюдимо глядя и сопя, точно я чем-то обидела ее. Все это напоминало больше Блейка, чем «Божественную комедию», как будто Беатриче явилась Данте в проданном раю, где нет никаких голубок, только куры да разноцветные попугаи. Словом, что-то странное, слегка неземное и почти комичное, но смысл его — если тут был смысл — полностью от меня ускользал. Потом девочка окунула кончики пальцев в фонтан Нептуна и затерялась среди группы японских туристов — вот, честно говоря, и все. Ночные кошмары, повторяющиеся сны с базальтовыми лестницами и тайными переходами исчезли: думаю, отчасти потому, что моего внимания требовали другие проблемы, более прозаические. Ежемесячный грант меньше чем в тысячу евро едва-едва позволял дотянуть до марта, а денег у матери я больше просить не могла и поэтому весь конец февраля просидела на сэндвичах с салями и сыром, что немало укрепило мой дух.

Водопроводные трубы ревели, как корабельные гудки. На потолке образовалось влажное пятно, очертаниями похожее на Африку, а протянутая через всю комнату веревка для сушки одежды придавала квартире забавное сход-

ство с цыганским табором. Но стоило открыть утром кухонное окно, как в него с размаху врывалось флорентийское небо. Моя посуду после завтрака, я рассматривала дворик церкви Санта-Мария-Новелла, стаю ласточек — словно семена, рассыпанные на ветру, а дальше — арки Леопольдинской школы с кронами кипарисов над стенами и большие мраморные опоры колокольни собора, охранявшей сверху тайну всей этой красоты. Никакой особняк во всем мире не мог предоставить подобного зрелища.

Мне нравился мой квартал — он был живым: ни сувенирных киосков с открытками (гениталии микеланджеловского Давида крупным планом), ни магазинов, торгующих майками с портретом Леонардо. Только синьора Чиприани, как обычно, идущая с корзиной купленных на рынке помидоров и зелени, Симонетта, зовущая своих ребятишек из окна третьего этажа, да звон тарелок и приборов в ресторанчике «Пергола», где Сальваторе накрывал столы в ожидании клиентов. Иногда до моих окон доплывал запах спагетти с мясом, безбожно возбуждая аппетит.

Пришел март, на полу моей комнаты появился солнечный зайчик, поначалу неяркий, но понемногу оранжевый отсвет стал доходить до

конца коридора. Через открытое настежь окно я видела, как кот синьора Витторио взбирается на гофрированную жестяную крышу зимнего сада, и думала о том, как Лоренцо и Джулиано делили стол и кров со своими убийцами вплоть до дня страшного преступления. Двухлетний внук синьора Витторио, Томмазино, лепетал что-то над тарелкой фруктового пюре, в их квартире бормотало всегда включенное радио. Я понемногу отогревалась, встречая весну с ее запахами и цветами. Дивную флорентийскую весну.

Как может человек, пусть молодой, но опытный и проницательный, к тому же могущественный, жить под одной крышей с теми, кто намерен его убить, и при этом ничего не видеть и не чувствовать? Я не раз задавалась этим вопросом, тщательно восстанавливая хронологическую канву событий. Выходило, что да, может.

Лоренцо Великолепный не был от природы простодушным и доверчивым. Конечно, он был отчасти идеалистом и мечтателем, как все поэты, но действовал с львиной решительностью, не колеблясь, когда того требовали обстоятельства. С самого детства Лоренцо воспитывали не только как наследника политических традиций семейства, но и как будущего властителя, и здесь во

многом помог его дед Козимо. В пять лет Лоренцо уже выполнял дипломатическое поручение — встречал французского принца Иоанна Анжуйского. В десять лет он на белом коне выступал во главе войск республики на параде по случаю приезда герцога Сфорца. На шелковом штандарте Лоренцо в то время был изображен попавший в сеть большой сокол, хлопающий крыльями. Некоторые считали эту эмблему пророческой, но они ошибались, — как я уже говорила, Лоренцо сумел уйти от судьбы. В четырнадцать лет он уже зачитывался латинскими классиками, писал стихи, покровительствовал людям искусства. Кроме того, он научился вести банковские операции и политические дела семейства Медичи, побывал на приемах у самого Папы Павла II. Ум Лоренцо был гибок и могуч, ему легко давалось все, чем он увлекался: танцы, стрельба из лука, игра на музыкальных инструментах… В любом деле он достигал высот. И как раз эта исключительная одаренность кое у кого вызывала страх. Боялись, что новый Цезарь станет полным хозяином, неограниченным повелителем города. В семнадцать лет ему пришлось с оружием в руках защищать на пьяцца ди Говерно своего отца от бунтовщиков-аристократов. Чуть позже

отец умер: Лоренцо тогда уже был закаленным в испытаниях юношей с твердым характером. В те времена политическое насилие, конечно же, было нормой и каждый соприкасался с ним — в качестве насильника или жертвы.

Почему Лоренцо поддерживал сердечные отношения с фамилией Пацци и с Франческо Сальвиати, архиепископом Пизы, вплоть до самого дня заговора, — это загадка, не разрешенная и доныне.

Неоспоримо то, что мастерские художников и дворцы, улицы и площади Флоренции где-то за месяц до попытки переворота сделались гнездом интриг. Я все больше убеждалась в том, что заговор такого масштаба невозможно было задумать, если бы его участники не имели своего человека в стане противника, свободного от всяких подозрений и достаточно умелого, чтобы не оставить после себя никаких следов и свидетельств.

По отношению к родственникам Лоренцо делал все, что от него ожидали. Само собой, он не раз показывал, что не потерпит равного себе соперника в политической и общественной жизни, но в то же время умел проявлять великодушие. После помолвки сестры Бланки с Гульельмо ди Пацци он рассматривал род Пацци как ветвь

своего собственного. Благодаря ему Пацци вошли в совет приоров — высший орган власти в республике — и в другие важные правительственные учреждения. Лоренцо помогал им и в торговых делах. Так, всего за два года до заговора принадлежавший им караван мулов с ценным грузом по пути из Лиона во Флоренцию был задержан в Шамбери. Лоренцо сразу же попросил вмешаться герцога Миланского, и каравану вскоре разрешили продолжить путь.

Чего же хотели Пацци? Чем они были недовольны? Возможно, им не нравилось быть обязанными Великолепному. Есть люди, не переносящие, когда их вытягивают из затруднений. Они чувствуют себя униженными, если за них хлопочут, или считают, что остались в долгу, и это тяготит их.

Но ведь были же знаки, приметы, по которым Лоренцо мог догадаться о комплоте, о желании врагов поскорее убрать его. Заем в сорок тысяч дукатов, выданный Папе Сиксту IV для покупки Имолы, был ясным свидетельством громадных амбиций семейства Пацци. Лоренцо поспешил предупредить друзей, чтобы те отказали Папе в деньгах, потому что новые территории, приобретенные папским государством, — это новые

источники налогов, которые пойдут на пользу соперникам Флоренции. Почему Пацци осмелились бросить вызов Великолепному в такой важнейшей области, как внешняя политика республики? И в особенности — как Лоренцо не увидел в этом поступке объявления войны, сделанного по всем правилам? Обо всем этом я спрашивала профессора Росси, с которым мы регулярно встречались.

— Мы игнорируем знаки и видим лишь то, что хотим, — пояснил он однажды. — Это в той или иной мере свойственно всем. Подумай, как часто мы не прислушиваемся к голосу здравого смысла и запираемся в клетке своих вымыслов. Кто захочет жить в постоянной тревоге, объятый страхом или паранойей? — Он поднял глаза, эти свои светло-коричневые глаза, и посмотрел на меня с такой пронзительной настойчивостью, словно в глубине его зрачков уже можно было прочесть твердое суждение. — Но ты ведь не поддашься искушению стать на чью-то сторону, верно? — Он укоризненно покачал пальцем. — Ради бога, Анна, ты ведь слишком умна, чтобы делать типичные ошибки новичков. Не воспринимай буквально все, что пишет Мазони. Имей в виду: он находился под покровительством Медичи, как

Боттичелли или Полициано. Естественно, они превозносили своего благодетеля. Многие из тех, кто зарабатывал на жизнь кистью или пером, были вынуждены петь дифирамбы и сочинять славословия. Этот род зависимости возник не вчера. — Взгляд профессора был полон намеков и умолчаний. Когда он говорил о том, что знал досконально, вся его робость улетучивалась. Я подумала, что студентки не могут устоять перед этими вертикальными морщинками в углах рта, словно вырезанными ножом. — Лоренцо можно назвать великим, но святым он не был точно.

— Я и не говорю, что был, — стала я защищаться, но подспудно чувствовала себя изобличенной.

Нет, я была не за Лоренцо, а против предательства, грязной игры, кинжала в спину от мнимого друга. Вот что меня пугало во всей этой истории. Не борьба за власть, не политические амбиции — их можно порой понять и даже оправдать, — а то, что от заговора попахивало подлостью. Что-то за этим крылось дьявольское, слишком дьявольское, иногда мне казалось, что я слышу за спиной змеиное шипение. Но как все это объяснить профессору?

— Историки, — продолжал он, — ослепленные блеском Медичи, всегда были настроены против

Пацци. Тебе не кажется, что пора чуточку восстановить равновесие? Тем более в нашу эпоху, когда атаки террористов и громкие политические убийства похоронили все рациональные доводы. Сегодня больше чем когда-либо мы должны прибегать к разуму.

Аргументы профессора были безупречными, но я не могла двигаться дальше, не вставая ни на чью сторону. Как рассказывать о таком, как оставаться нейтральной, если те люди действовали страстно и убежденно? Все мои запасы эмоций тратились на документы, которые я изучала. Я прекрасно знала, что такая вовлеченность не рекомендуется исследователю, что нужно применять строго научные методы, дистанцироваться от событий прошлого. Но в глубине души я сомневалась, что научная беспристрастность так уж полезна; кроме того, считала я, раз факты неполны, их интерпретация зависит исключительно от меня, и тут уж нельзя остаться чистенькой.

И я вовлеклась в события с такой горячностью, будто от этого зависела моя жизнь. Наверное, работа стала еще и средством прогнать сны, которые одолевали меня. Мне снилось, как я иду по улице, рядом — знакомая долговязая фигура профессора, руки он держит в карманах, черты лица

словно выточены из дерева ножом. Я знала, что он старше меня на двадцать лет, что он ведет себя со мной как отец — разве только не ворчит: «Чем ты питаешься?» — но кто же способен управлять снами… Все в нем интриговало меня — приступы молчания с отсутствующим выражением лица прямо посреди разговора, будто им овладевали безмерная усталость или мрачные мысли, его старание вернуться обратно к собеседнику, когда лицо внезапно прояснялось и он продолжал говорить как ни в чем не бывало. Я сгорала от желания раскрыть тайну профессора. Любопытство всегда было самой надежной из ловушек, которые расставляла мне любовь.

Я взяла сэндвич, налила себе кока-колы и вновь принялась стучать по клавишам, уткнувшись носом в экран и забыв обо всем на свете. Засиживаясь допоздна, я не раз уже наблюдала первые проблески зари и на их фоне — черные точки: кипарисы церкви Санта-Мария-Новелла и колокольни церкви Оньисанти, с которых доносился звон к заутрене.

Временами, отрываясь от монитора, я утыкалась взглядом в портрет Федерико да Монтефельтро, пришпиленный к стене. Глаза его были ровно на той же высоте, что и мои. Какую роль

играл он во всей этой заварушке? Я старалась связать концы с концами, но они постоянно повисали в воздухе, словно все пути, избранные для исследования, не сходились в один, а разбегались все дальше. А есть ли у меня что-нибудь твердое, бесспорное? — спросила я себя и тут же ответила: есть. Это заговор самых высокопоставленных персон против Медичи. Есть имена главных участников: семейства Пацци и Сальвиати, Папа Сикст IV и его союзник, король Арагона и Неаполя. Но мне все яснее представлялось, что для обеспечения своих интересов на границах с Флоренцией оба вполне могли начать обычную войну по всем тогдашним правилам, а не развязывать бойню в соборе. Есть девять тетрадей Мазони с его впечатлениями от многих персонажей и событий, связанных с заговором, правда, все это чертовски трудно расшифровать. Есть очень странная картина, которую зачем-то прячут от глаз публики, картина, подаренная Лоренцо Великолепным Федерико да Монтефельтро. Есть человек, который наблюдает за мной, стоя у стены, с непостижимым выражением лица.

Полуприкрытые глаза герцога Урбино, казалось, не смотрели никуда и были полны печали — но не вялой, меланхолической печали, а тща-

тельно сдерживаемой горечи. Каждый день я находила в портрете что-то новое, почти неуловимые изменения, необъяснимые в неподвижной картине. Мне пришло в голову: вдруг он оживает из-за каких-то религиозных обрядов? Шея у него была широкой и мощной, но зеленовато-желтый цвет лица как будто говорил о больной печени. Самой заметной деталью профиля был резкий излом носа. Так или иначе, от герцога веяло глубокой флегматичностью. Кожа была дряблой, и обрисовывался двойной подбородок, хотя, казалось бы, мышцы были напряжены, а зубы крепко сжаты. Увядание особенно было заметно по уголкам тонких губ. По-моему, именно здесь и крылась загадка герцога: не знаю почему, но я была уверена, что он равнодушен к плотским сношениям. Те, кто от рождения обладает этим бесценным даром, стоят выше прочих смертных, не ведая человеческих слабостей, — и невозможно без ужаса думать о том, в какую жуткую гримасу способна превратиться улыбка на безгубом лице.

Главное же — передо мной упрямо вставала картина: крестьянин глотает зайца, целиком, со шкурой. Каких издевательств можно ждать от человека, заставляющего браконьера заживо

съесть русака? Я раскипятилась настолько, что сорвала портрет со стены и спрятала его в книгу Вазари. Колдовство закончилось.

Однажды утром я узнала по радио из квартиры синьора Витторио, что Джулиану Сгрену наконец освободили, хотя потом ее чуть не прикончили по ошибке американские солдаты, обстреляв машину, в которой журналистка ехала с КПП. Всего по автомобилю выпустили триста или четыреста пуль меньше чем за полминуты. С такими друзьями не нужно никаких врагов. В Рим она вернулась с переломанной ключицей, подавленная смертью своего ангела-хранителя, но живая.

Дни становились длиннее, крыши и внутренние дворики расцвечивались невиданными прежде красками: суриком, охрой, сиеной, веронской зеленью… Иногда луч солнца, падая на терракотовую черепицу, рождал во мне ожидание какого-то внутреннего откровения. Так после долгой зимы в Сантьяго, после многомесячных дождей, проглядывало солнце — и начиналось буйство жизни, преображавшее мир. Мы сидели в одних рубашках на ступеньках площади Кинтана, греясь на солнце, как ящерицы, читая, наигрывая на гитаре мелодии Лео Ферре или Леонардо Коэна, которые принадлежали к по-

колению наших отцов и поэтому притягивали нас больше. Это был мой Сантьяго, тайный круг, очерчивающий юность, вечный город, подобно Флоренции или Риму, в котором я могла остаться навсегда. Но я решила попросить грант и уехать. Вечные города нужно покидать вовремя, не то превратишься в соляной столп. А теперь это же самое солнце спасало меня от мрака во Флоренции. Стебли бугенвиллей взбирались по балкону синьоры Чиприани, и нежные розовые бутоны скрывали облупившуюся стену. Весь город, казалось, распахивается навстречу свету. И вот на вершине доверия к миру, когда я меньше всего ждала этого, зазвонил телефон.

— Анна, это Франческо Феррер, я звоню из клинической больницы. Приезжай, если можешь.

— Что случилось? — встревоженно спросила я.

— Это с Джулио. Не волнуйся, он вне опасности, но полиция хочет задать тебе пару вопросов.

XVIII

Художник уже несколько часов предавался размышлениям, не произнося ни слова. Нахмурившись, заложив руки за спину, он шагал от стены к стене в таком расстройстве, что мальчик стал опасаться, не наступит ли очередной кризис, особенно когда тот неожиданно повернулся — вертикальное пламя масляной лампы, подвешенной к балке, отбрасывало на лицо призрачные отсветы — и, схватив на ходу плащ, вышел и хлопнул дверью, не препоручив себя ни Богу, ни дьяволу.

— Подождите, учитель! — взмолился мальчик, спеша вслед за ним и скупым движением забрасывая складку плаща на левое плечо.

В преддверии торжества вид города сильно переменился — во Флоренцию стекалось множество крестьян из округи на шумные пасхальные празднества с вином, фейерверками и колокольным звоном, которые длились восемь дней. Всадники на чистокровных жеребцах, стук барабанов и звон погремушек мирно уживались с тайными собраниями во дворах ремесленных

цехов. Сотни глаз смотрели наружу из полумглы, сквозь прикрытые ставни, и хотя никто не мог сказать в точности, что происходит на самом деле, кое-кому удавалось заметить, что в воздухе разливалась какая-то тревога. Она ощущалась сильнее всего в кварталах, где громоздились душные гостиницы, где запах капустной похлебки смешивался с запахом пота юных пастухов-горцев, которые бродили от двери к двери, предлагая молоко пятнистых коз. Кроме жителей гор и паломников город наводнили чужестранцы всех мастей, пизанцы и перуджийцы — они заполонили таверны и постоялые дворы, располагаясь на ночлег даже на паперти Санта-Мария-Новелла и францисканской церкви Санта-Кроче, а порой и в амбарах, служивших приютом тем, кому не досталось комнатки.

Богатые дома в эти праздничные дни сверкали великолепием и днем и ночью, при свете сотен факелов; с балконов свешивались штандарты. Но все особняки затмевал блеском Дворец Медичи на виа Ларга, где Лоренцо ежегодно давал торжественный обед в честь близких друзей и людей искусства. Всего два дня назад Мазони сидел там рядом с другими известными мастерами кисти и пера — такими как Сандро Боттичелли

и его верный помощник Чезаре Галиция, виртуоз свинцовых белил, поэт Полициано со своим другом Пико делла Мирандола, молодой Микеланджело, географ Тосканелли. Вместе с тремя десятками советников и друзей мецената они наслаждались роскошным пиром: поражающие изобилием яств столы, накрытые во дворике, под апельсиновыми деревьями, огромные подносы с фазанами в грибном соусе, лучшие тосканские вина. Специальные подмостки были возведены для струнного квартета школы изящных искусств во главе с маэстро Романо Турледо.

Гостеприимный хозяин не скупился на милости для своих верных товарищей в тот знаменательный день, который, как и все пирушки, завершился в тиши библиотеки, священнейшего места в доме, где среди шкафов красного дерева с несметным множеством книг, расставленных в строгом порядке, Великолепный и его друзья наслаждались чистыми идеями. Рассевшись в кожаных креслах вокруг бюста Платона, они до поздней ночи витали в философских эмпиреях. Подчас казалось, что Лоренцо больше волнуют новые теории, чем собственные враги.

— Всемирное правительство, от начала времен пребывавшее на Востоке, переместилось

во Флоренцию, и нам теперь суждено еще шире раздвинуть границы разума, — говорил он.

На полках вдоль стен покоились ворохи рукописей — переводы из Цицерона, Эвклида, Платона и Аристотеля. Тосканелли показывал компании карты, исправленные им от руки по рассказам путешественников, а юный Джулиано Медичи забрался на перила лесенки и, встряхивая гривой волос, с лихорадочным блеском в глазах читал длинную возвышенную поэму, пока ощетинившееся колокольнями небо не окрасилось в розовый цвет.

В глубине библиотеки был проход в другое помещение: там, за простыми деревянными дверями, Лоренцо с ближайшими соратниками обсуждал самые щекотливые дела. Именно туда на рассвете, когда почти все приглашенные уже разошлись, он вызвал Мазони. После долгой беседы художник вышел от Лоренцо в угрюмом оцепенении, которое не рассеялось и спустя два дня.

Совет за закрытыми дверями не был для живописца чем-то необычным. Все знали, что над Флоренцией веют недобрые ветры с тех пор, как Папа Сикст помог Франческо Сальвиати, ставленнику Пацци, занять кресло пизанского

архиепископа. Лоренцо имел все основания полагать, что устремления Сальвиати не ограничатся церковными делами. Столь напряженными отношения Флоренции со Святым престолом были только однажды, когда Великолепный поддержал антипапский мятеж во время борьбы за контроль над Читта ди Кастелло. Но Мазони не понимал, почему именно его «Мадонна из Ньеволе» должна стать орудием сближения с Римом через посредничество дружественного урбинского двора.

— Будь уверен, я пытался соблазнить Федерико другими дарами. — Лоренцо пристально посмотрел на художника, кладя руку на сердце. — Я слишком хорошо знаю, что произошло между вами: вспомни, ведь это я вытащил тебя из подвалов Стинке. Но герцог, представь себе, отверг одну из лучших картин Сандро. — Лоренцо решил польстить Мазони, отлично зная о его соперничестве с Боттичелли. — И даже «Давида» работы Верроккьо. Поверь, у меня не было выбора.

— Но, государь, вы же знаете, что… — попробовал было возражать художник.

— Знаю, — сухо оборвал его Великолепный. — Но герцог выручал нас из куда больших неприятностей и всегда был предан нашему семейству.

Кроме того, он превосходный знаток живописи. Гордись, что из всех, кому я покровительствую, Федерико выбрал тебя.

Мазони становилось дурно от сознания того, что картина, в которую он вложил душу, достанется его смертельному врагу, едва не сломавшему художнику жизнь. От одной мысли, что его творение попадет в руки мстительного ветхозаветного властителя, кровь стыла в жилах.

Отвращение к этому человеку зародилось в нем больше десяти лет назад, когда, увлеченный арифметикой и символами, он поверил, что освободился от сетей разума. В те годы не было лучшего места для познания тайн мироздания, чем урбинский двор. Художник был еще достаточно молод, чтобы верить во вселенское братство, и не понимал, что нить, связывающая две воли, может обернуться зловещими путами, когда тот, кто натягивает ее, испытывает на ком-нибудь свою хитроумную мощь. В один памятный день художник присоединился к обширному братскому миру лож. Он шел с завязанными глазами, ведомый высшей волей, чудесным образом скользя обратно по ленте времени, вплоть до грандиозных древнеегипетских церемоний в кругу свечей, зажженных во славу Великого

Архитектора Вселенной. С грудью, обнаженной в области сердца, и необутой левой ногой, он правильно ответил на все три ритуальных вопроса, задаваемых ученику.

— Я даже накинул веревку себе на шею, — поведал он мальчику, барахтаясь в трясине памяти, когда они шагали среди ветхих домов, подобно двум душам, уносимым дьяволом.

На виа деи Кальцаюоли, которую обязательно пересекали идущие от собора к дворцу Синьории, они встретили несколько шаек — brigate — полных грубо-молодого задора. У каждой имелись свои отличительные знаки. Лоренцо обычно нанимал эти уличные компании для поддержания порядка во время праздников, но зачастую они не пресекали разные стычки, а сами становились их причиной, схватываясь друг с другом на манер собачьих стай.

Учитель и ученик свернули на одну из улиц, что вели к старому рынку, и мальчик подскочил от испуга: заморенный битюг вдруг зашлепал губами во дворе, где оглоблями вверх стояла повозка. Но Лука не узнал этого места, пока не раздался скрип обитой гвоздями двери черного хода «Кампаны». У девочки, открывшей им, не было за ухом гвоздики, как в прошлый раз, но

отуманенные глаза были все такими же, хотя в них теперь читался страх перед неминуемой и близкой опасностью.

— Как вы поздно! — воскликнула она, объятая ужасом, и спрятала лицо на груди Мазони.

— А ты уверена, что это они? — спросил художник.

— Само собой, иначе я не послала бы за вами. Вы все сами увидите.

Она тихонько провела их по узкому коридору, в конце которого было что-то вроде склада, сообщавшегося через винтовую лестницу со спальнями на втором этаже. Поднявшись, они вошли в клетушку с убогой кроватью и умывальным тазом. Стены были покрыты надписями и рисунками более или менее непристойного свойства. На одной из деревянных перегородок с краю имелись частые жалюзи. Многие знатные дворяне снимали эту комнатку ради удовольствия, будучи незамеченными, подсматривать за происходящим в соседней спальне, — ходили слухи, что с другой стороны кое-кому из таких любителей выкалывали глаза швейной иглой. Однако Мазони и Лука пришли сюда не ради утонченных забав — их привело дело совсем иного свойства.

— Я предупрежу вас, — сказала девочка. —

Когда услышите легкий стук в дверь, три раза, значит, можно смотреть.

Живописец остался стоять, скрывая нетерпение, но мальчик, утомленный суетой последних дней, повалился на соломенный матрас, умятый от частого употребления. Условный сигнал все не раздавался, и он задремал. Когда, часа через два, Лука открыл глаза, учитель, согнувшись, уже прилип носом к жалюзи.

В соседней комнате беседовали. Одного из говоривших Мазони узнал — это был коренастый иностранец с длинной седеющей бородой, который двумя днями ранее спрашивал их насчет гостиницы. Правда, одет он был теперь намного лучше: вместо грязного дорожного платья — золоченые доспехи капитана папской гвардии.

— Синьоры, вам следует пересмотреть ваш план, — произнес он почтительным тоном. — Уверяю вас, дело крайне серьезное, и я не вижу, как вы справитесь: Флоренция велика, а Лоренцо Великолепный, как я успел заметить, пользуется здесь большим уважением.

В помещении были еще двое мужчин: один — высокий, с мертвенно-бледным лицом, которого хорошо было видно сквозь щели. Известная всем седая прядь на лбу выдавала в нем Якопо

Пацци. Второй стоял спиной к жалюзи, и Мазони слышал лишь его голос. Этот голос с оттенком металла он никогда не забыл бы, даже сильно постаравшись.

— Джованни Батиста, ты никогда не жил во Флоренции, и не тебе выяснять, как горожане относятся к Медичи — хорошо или плохо. Делай свою работу. Я поклялся, как и все мы, на листке рукколы, и ты знаешь, что речь идет не просто о перевороте, а о создании единого ватиканского банка, от которого будут зависеть все европейские банки. Когда Флоренция окажется у нас в руках, мы будем диктовать свою волю всей Италии, а затем и всей Европе. Все банкирские дома вольются в нашу компанию. Следи за тем, чтобы все так и шло, а я буду молиться Господу о помощи в близящемся великом предприятии. Все пройдет как надо, — заговорил он примирительно, положив руку на плечо капитана. — Не сомневайся ни на мгновение, мой верный Монтесекко.

— Да будет так. — Склонившись, капитан поцеловал кольцо с шестиугольным рубином на пальце своего господина.

Тот стал доставать принадлежности для церемонии: кропильницу со святой водой и флакончики со священными маслами — первое орудие

сатаны.

— Salva me ab ore leonis[14],— послышался вновь медный голос. Все приготовились начать церемонию.

Лука с замиранием сердца неотрывно следил за этой сценой. Для него словно обрели смысл миниатюры из книги, лежавшей в комнате учителя, и главное — странная красота крестообразного нимба над смарагдовым троном, окруженным зверями, горгонами и ящерами.

Трое в соседней комнате разделись догола и встали на колени, а публичная женщина, чье лицо скрывал шерстяной капюшон, принялась хлестать их кнутом с пылом новообращенной, снова и снова, пока на спинах не выступила первая кровь — предвестие нечеловеческой бойни.

Художник решил, что хватит, и поднялся, закрыв мальчику глаза ладонью. Тот обливался холодным потом.

— Ты видел достаточно, Лука, — сказал Мазони.

---

[14] Примечания: 14
Спаси меня от пасти львов *(лат.).*

XIX

Я дошла до площади перед Санта-Мария-Новелла меньше чем за десять минут. У входа в больницу, рядом со стеклянной будочкой, висел плакатик с красной надписью: «Управление полиции». Я быстро проскользнула в двери клиники. Стены больничного коридора были выложены стерильно-белым кафелем. Я поглядела по сторонам, не очень понимая, куда идти. У меня сосало под ложечкой и кружилась голова — как на яхте, когда под внезапным порывом ветра судно дает крен и хватаешься за первую попавшуюся ручку. Наконец я свернула в боковой коридор, выстланный линолеумом, который заглушал шаги. Родственники пациентов, сидя в оранжевых пластмассовых креслах, прикрученных к стене, ждали перед двустворчатой дверью. К ней скотчем было приклеено распечатанное на принтере объявление. Я подошла и увидела, что это расписание посещений больных, поступивших ночью и вчера днем. Внизу стояла подпись доктора А. Ладжи, заведующего отделением неотложной помощи. На стене справа от двери висело малень-

кое переговорное устройство с красной кнопкой. Я уже собралась нажать ее, когда увидела, что ко мне по коридору идет Франческо Феррер.

Он был в рубашке навыпуск, прическа напоминала обтесанную глыбу, как и в тот первый раз в мастерских Уффици, но вообще реставратор выглядел безмятежным. Засунув руки в карманы, он шел с улыбкой, которая заставила мое сердце биться помедленнее. Подмигнув мне заговорщически, словно старому другу, он поздоровался и тут же перешел на «ты».

— Но что же случилось? — спросила я.

Мы проходили по галерее со стеклянными стенами, которая, видимо, вела в палату интенсивной терапии. Мимо нас, толкая пылесос, прошел смотритель-индиец.

— Долго объяснять. Думаю, лучше тебе сначала увидеть Джулио.

— Конечно.

Профессор Росси лежал на втором этаже, в помещении, где кровати были отделены друг от друга лишь занавесками, скользящими по карнизу. От правой руки два провода тянулись к монитору. На профессоре была зеленая больничная пижама, и выглядел он неважно: осунувшийся, с зачернившей подбородок двухдневной щети-

ной и немаленькой раной на виске. Резче стали морщинки в уголках глаз на сумрачном — от вынужденного безделья — лбу. Он напоминал сейчас не льва зимой, а худого отшельника из пустыни, сэра Лоуренса Аравийского после боя.

— Как ваше самочувствие? — спросила я.

— Скажем так, бывало и лучше, — пошутил он, но голос звучал устало.

— Ты сильно почернел, — заметил Феррер, тоже шутливо.

Росси искоса посмотрел на него и улыбнулся, сдвинув брови, точно превозмогал боль.

Я рассчитывала, что мне что-нибудь расскажут, и нетерпеливо переводила взгляд с одного на другого, стараясь, однако, не показаться слишком навязчивой. Наконец, после дежурных шуток насчет больничной еды, Феррер поведал мне о случившемся. Он присел на край кровати и заговорил — медленно и спокойно, а я, сидя на единственном стуле, жадно впитывала его слова и представляла в подробностях, как все это было — с того момента, когда синьора Манфреди ровно в девять толкнула калитку профессорского сада, чтобы заняться ежедневной уборкой.

Вот она, ничего не подозревая, мягко ступает по гравиевой дорожке резиновыми подметками

башмаков женщины-труженицы, знающей землю, по которой шагает. Женщина пятидесяти с лишним лет в драповом пальто поднимается по трем ступенькам, достает ключ из небольшой черной сумочки, вставляет его в скважину, не замечая ничего необычного. И вдруг, открыв дверь, она отшатывается перед лицом опасности, глаза ее широко открываются, как у персонажа триллера или детектива — соседа, служанки, кого-то, кто оказывается на месте преступления случайно и обязательно прижимает ладони к голове или ко рту, подавляя невольный крик, словно не верит в реальность увиденного. В комнате беспорядок: кресла и стулья опрокинуты, бумаги и книги на полу, и это святая святых — библиотека в три с чем-то тысячи томов, куда даже она, отработав у профессора столько лет, не осмеливается входить без разрешения, подлинное святотатство, думает женщина, — вынутые ящики, истоптанные книги, компьютер развинчен, кабели выдернуты…

— Профессор! Профессор Росси! — позвала она с ноткой тревоги в голосе, но никто не ответил.

Тогда она решила пройти в жилые комнаты, пропитанные непривычным запахом ацетона или смолы — синьора Манфреди не знала точно, — и обнаружила профессора лежащим на

кровати.

Она пробовала его разбудить, трясла за плечи, била по щекам. Росси пробормотал что-то невнятное, какую-то бессмыслицу, попытался открыть глаза и даже привстать. Ему удалось подняться на ноги, но он тут же рухнул на пол и ударился головой о край ночного столика. Отсюда и рана на виске. Синьора Манфреди позвонила в службу спасения и попросила прислать «скорую».

Та прибыла через семь минут. Росси уже пришел в сознание, но ничего не помнил. Он работал до двенадцати и потом сразу же лег, не почитав перед сном, как делал обычно. Последним ясным воспоминанием профессора было то, как он тушил ночник: рассказывая об этом синьоре Манфреди, Росси ощущал страшную сухость во рту и еле мог отлепить язык от нёба. Челюсти словно закоченели. Ему казалось, что внутри него раздувается какой-то пузырь, затем снова наступило забытье.

— Хлороформ! — объявил инспектор полиции, лишь только уловив запах.

Двое его коллег, осторожно бродя среди хаоса, брали пробы и отпечатки пальцев. На портупеях у них висели рации, из которых доносились приглушенные разговоры. Как поняла синьора

Манфреди, преступники не стали взламывать дверь, а проникли через окно второго этажа. Полицейские упоминали какую-то банду румын или албанцев, вроде бы орудующую в районе. Настоящие профессионалы, сказали они: никакого лишнего разгрома, жертву усыпляют хлороформом или эфиром, берут только то, что можно выгодно продать на черном рынке. В прошлом месяце эти ребята уже ограбили виллу неподалеку.

— Но вот что странно: не похищено ничего ценного, — продолжал Феррер, — только рабочие материалы: документы, компакт-диски, винчестер…

Он кинул на Росси вдумчивый и проницательный взгляд человека, всю жизнь разгадывавшего тайны старинных полотен, умеющего видеть каждую мелочь. Затем он посмотрел на меня так серьезно, будто полагал, что мы что-то замышляем, но ограничился лишь словами: «И это все». Рассказ был закончен.

Но это было еще не все. Что это за грабители, которые врываются в дом и не берут ни дорогой музыкальный центр, ни телевизор «Банг и Олафсен», упомянутый в показаниях синьоры Манфреди, ни висящую в кабинете литогра-

фию Брака, ни серебряный чайник XVIII века — ничего, кроме папок с бумагами? Что это за грабители? — спросил меня инспектор Леони в комиссариате на Корсо деи Тинтори. Что это за грабители? — спросила и я, после того как, не моргнув глазом, выслушала Феррера.

Внутри у меня все сжималось от угрызений совести. Я раскаивалась, что не до конца рассказала Росси историю о падении с велосипеда, умолчала о разговоре с Боско Кастильоне, утаила появление карлика в пальто с лисьим воротником. В памяти всплыли слова профессора: «Мы игнорируем знаки, не прислушиваемся к голосу здравого смысла и запираемся в клетке своих вымыслов. Кто хочет жить в постоянной тревоге?» Но зачем же я пренебрегала такими знаками? Поведай я все вовремя профессору Росси, он, возможно, не лежал бы теперь на больничной койке, измученный, словно нокаутированный боксер, утративший на время остроту ума, раненый, беспомощно скрючившийся на кровати.

Врачи диагностировали отравление наркотическими веществами через дыхательные пути. В крови нашли высокую концентрацию трихлорметана и хлористого этила, очень эффективного и очень токсичного анестетика. По словам док-

тора Ладжи, повышенная доза могла бы вызвать остановку сердца.

Я чувствовала себя страшно виноватой — почему я скрывала все это? Бравада? Желание притвориться, что ничего не случилось? Или страх, что, узнав об этом, профессор заставит меня бросить диссертацию? А может, я считала, что не говорить ничего — это способ отогнать опасность, вычеркнуть ее или уменьшить ее значение, точно это идиотская мелочь, не стоящая внимания? Положа руку на сердце, я не находила своему поведению рациональных объяснений. Я просто думала, что говорить и молчать — это два противоположных средства изменить судьбу. Так было всегда, сейчас и пятьсот лет назад. Говорят невиновные, дети и те, кто не боится правды. Молчат скептики, недоверчивые и те, кто полагает, что им рано или поздно придется что-то скрывать. И здесь я была не на стороне честных. Не без греха, как говорил ватиканский архивист о Мазони. Тот тоже сталкивался со знаками, подозрениями, предвестиями, тоже изведал опасения и угрозы. Как и я.

Я предавалась таким размышлениям, когда вошла черноволосая медсестра в сабо и белом халате, держа в руках пластиковый пакет с

прозрачной жидкостью. Пакет она повесила на металлическую рейку у изголовья кровати.

— Доктор сказал, что ему нужно оставаться под наблюдением еще день, — сообщила она.

Росси притворно запротестовал — я не знала за ним этой способности. Он сел на краю кровати, свесив ноги, но медсестра взяла его за руки и уложила обратно.

— Снова хотите голову себе сломать? — враждебно проговорила женщина.

— Франческо, пожалуйста, попроси эту синьору сейчас же принести мою одежду, — настаивал профессор, напоминая побитую собаку, которая, однако, еще кое на что способна.

Но Феррер искоса поглядел на медсестру с длинными, как весла, руками и прической в виде пышного хвоста и лишь слегка пожал плечами, приподняв одновременно брови, — мол, что же я могу сделать?

Медсестра, сняв повязку с головы профессора, принялась за процедуры. Мы с Феррером вышли и уселись в пластмассовые кресла.

— Не знаю, надо ли говорить его жене, — сказал Феррер.

— Жене? — изумленно спросила я. — Не знала, что профессор женат.

— На самом деле — нет. Они расстались много лет назад. После смерти дочери, — пояснил реставратор чуточку боязливо. Чуточку, но все же заметно. По крайней мере, я заметила и как наяву увидела фото, стоявшее на столе Росси: светловолосая девочка, на щеках — ямочки, джинсы с двумя черешнями, вышитыми на переднем кармане, трехколесный велосипед, красные сапожки…

— А… — только и произнесла я, сделав паузу, показывая, что готова слушать, если мне захотят рассказать что-то еще, но не стала задавать вопросов, опасаясь показаться назойливой или бестактной.

— Это давняя история, — задумавшись на несколько секунд, продолжил Феррер. Глаза его сузились, в них блестела пытливая искорка, словно он изучал старинное полотно, — хотя есть вещи, которые всегда с нами, сколько бы времени ни прошло. Мне кажется, Джулио навсегда остался в том дне. Страдание стало для него панцирем, сквозь который не могли проникнуть никакие советы. — Реставратор поднял крутые брови, ожидая, видимо, сочувственного отклика. — Он отстранился от всех, от коллег по университету, от Элианы, своей жены, как будто она мучилась

меньше. — По тону Феррера я догадалась, что он не раз говорил с женой профессора и, наверное, был на ее стороне. — В любом горе всегда присутствует ощущение потери, которое настраивает против мира, и с этим трудно бороться. Дай бог, чтобы ты не проверила этого на себе. — Он откровенно посмотрел на меня. Похоже, Феррер говорил со знанием дела, будто в каком-то смысле подводил итог и собственной жизни. — Ну, это не всегда так, — поправился он, — лишь временами. Зависит от человека, я думаю. Некоторые лелеют свое горе, защищают его зубами и когтями, словно самую ценную вещь на свете. Они не выносят, если кто-то отнимает у них звание величайшего страдальца, их терновый венец, — добавил он не без иронии.

— Должно быть, все это очень тяжело, — отважилась я вступиться за профессора.

— Конечно, тяжело. — Феррер как будто пожалел о своей резкости. — У нас порой хватает смелости судить о том, что происходит с другими, а ведь мы неспособны даже понять, что делается внутри нас. — Он покачал головой с оттенком снисходительности, так, будто в свои шестьдесят пришел к убеждению, что никто не имеет права никого судить. — Некоторые, перенеся беду,

пытаются идти дальше, а другие не могут и решают остаться там, где остались дорогие им люди. Или не решают, а просто остаются, потому что больше ничего не могут сделать. Джулио повел себя именно так, и Элиана этого не выдержала. Она всегда была очень независимой. Такого испытания она вынести не смогла — и ушла от него, а потом переехала в Милан. К счастью, оба после расставания смогли двинуться вперед. Il tempo è il più soave balsamo[15].— Он подергал свои вьющиеся волосы. — Хотя после такого никто не может остаться прежним. По-моему, они иногда видятся, поддерживают контакт, вот я и подумал, не сообщить ли ей обо всем.

Он посмотрел мне прямо в глаза вдумчивым и проницательным взглядом человека, чья работа — выяснять все до мельчайших подробностей. Я склонила голову и подняла брови — мол, вам виднее, я не вправе здесь что-то решать, — но внутренне взмолилась, чтобы Феррер этого не делал. К счастью, он не настаивал. Воспользовавшись тем, как подействовал на меня разговор, неожиданной задушевностью, возникшей между нами, он принялся расспрашивать о том, что его

---

[15] Примечания: 15
Время — лучшее лекарство *(ит.).*

волновало или, по крайней мере, занимало его ум после беседы с инспектором Леони: не потому, что полицейский умолчал о существующих версиях, а потому, что он и сам был способен прийти к определенным выводам.

— Allora[16], как твоя диссертация? — спросил он вскользь и как бы нехотя. — Полагаю, теперь тебе открылись все тайны «Мадонны из Ньеволе»?

— Не все из тех, над которыми я билась. Профессор Росси рассказал мне о странствиях картины вплоть до ее покупки галереей Уффици. Вы знали, что Лоренцо дарил ее герцогу Урбино?

— Нет, но меня это не удивляет. Ведь Федерико да Монтефельтро тоже изображен на ней. Естественно, что он пожелал заполучить полотно.

Мне показалось вдруг, что я сижу рядом с демиургом. Я внимательно поглядела на Феррера — только теперь мне открылась вся глубина его профессионализма. В моем сознании вспыхнуло озарение, яркое, как ночные огни большого города. Как я не замечала раньше? Коленопреклоненный человек справа, протягивающий лист рукколы младенцу, — не кто иной, как Федерико да Монтефельтро.

---

[16] Примечания: 16
Здесь: ну что *(ит.).*

Я не отдавала себе в этом отчета, не обладая ни взглядом Феррера, сразу проникающим в суть вещей, ни его способностью улавливать детали. Я не была реставратором живописи — всего лишь обычной аспиранткой и к тому же видела картину только раз в жизни. И пусть я изучала ее со всем вниманием и тщательностью, этого, похоже, оказалось недостаточно. Как и всегда. Я попыталась восстановить картину в памяти со всеми подробностями. Да, Феррер был прав. Несмотря на потемневшие краски и коричневатый налет, сомнений не оставалось: та же широкая и мощная шея, те же прищуренные глаза и, главное, тот же глубоко флегматичный вид. Герцог был изображен в профиль, но без шапки, и сверкающая лысина, бесспорно, помешала его опознать. Ведь единственным известным мне портретом был тот самый, написанный Пьеро делла Франческа, на котором герцог представал в красной шапке, скрывавшей форму головы. Тот, что висел над моим столом. Хотя нет, уже не висел. Теперь он лежал внутри толстого четырехкилограммового тома Вазари.

— Наверное, ты знаешь, — Феррер точно читал мои мысли, — что у Федерико да Монтефельтро половина лица была изувечена на турнире.

Поэтому он разрешал изображать себя только в профиль.

Я не знала этого, но неважно. Этот второстепенный персонаж достоин более пристального внимания — поняла я. Но что означала его поза? В эпоху Возрождения на картины часто помещали реальных людей, обычно с целью их восхваления, а подчас — наоборот. Примерами могли служить «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи и «Весна» Боттичелли, но полотно Мазони было насквозь символичным, а следовательно, выбор Монтефельтро как персонажа имел конкретный смысл. Я вспомнила, как Феррер в мастерских Уффици сказал, что руккола символизирует распятие Христа.

Я поглядела на реставратора так, словно видела впервые, стараясь почувствовать его душу. Голова его напоминала отчасти Платона, отчасти Спенсера Трейси. Загорелая, обветренная кожа придавала Ферреру простонародный, крестьянский вид, но его, вероятно, это не стесняло. С самого начала мне понравилась его простецкая, ненаигранная манера общения, столь редкая среди людей, причастных к искусству. Его глаза были окружены сетью темных морщин, внимательный взгляд гармонировал с улыбкой, подчас

ироничной от уверенности в своей правоте. Я решила, что ему можно доверять.

И я выложила все. Поначалу я говорила осторожно, старательно подбирая слова, но ничего не утаивая. Я рассказала об исчезнувших дневниках Мазони, о беседе с Боско Кастильоне в архиве, о его предложении сотрудничать. Я рассказала о падении с велосипеда на виа Гибеллина несколько недель назад. Я рассказала о карлике с грустными глазами, который следил за мной по ночам, прислонившись к стене, а днем в широком пальто с лисьим воротником бродил по площадям, захаживая в кафе. Я рассказала обо всем и замолчала с облегчением, словно сбросила с плеч тяжелый груз, и с чистым взглядом ждала ответа: Феррер поймет, что нужно делать.

— Профессор Росси знает обо всем этом? — спросил он, в упор глядя на меня с любопытством и легким осуждением, будто заранее угадывая ответ.

Я мотнула головой.

Реставратор с шумом втянул носом воздух, а затем очень медленно выпустил его. Потом он посмотрел на меня, как смотрят на людей, действующих бессознательно и безответственно, не ведающих, что творят и во что вмешиваются.

Правда, мне показалось, что во взгляде его мелькнули восхищение и зарождающееся уважение: он оценивал меня с новых позиций, не так, как в первый раз.

— Ладно. — Он поскреб макушку. — Нужно будет ему рассказать. — Он выглядел не сердитым, а скорее дружелюбным, словно, несмотря на порицание, в нем преобладала снисходительность к безрассудной девушке, почему-то ему симпатичной. Он задумался, взвешивая различные возможности, и добавил: — Лучше пока не говорить инспектору Леони, когда он тебя вызовет. Успеется. Он обязательно спросит о том, чем ты занимаешься. Отвечай спокойно, не упоминая обо всем этом, capito[17]? — Его голос стал повелительным. — Теперь о нас троих: как только профессор поправится, посмотрим, что можно сделать. Сейчас, по-моему, надо прежде всего навести порядок у него дома. Не могу даже представить, как это — прийти и увидеть его книги, разбросанные по полу.

Лицо его при этих словах вновь озарилось живой улыбкой. Ему, кажется, нравилось играть роль организатора, неожиданно возникшая про-

---

[17] Примечания: 17
Понятно *(ит.)*.

блема была для него вызовом, порождавшим возбуждение, бурный прилив энергии, не столько беспокоя его, сколько подстегивая.

— Если хотите, можем начать прямо сегодня, — ответила я, загоревшись возможностью увидеть виллу во Фьезоле, где жил профессор. Я вообразила себе его дом похожим на виллу Брусколи, стоявшую на том же фьезоланском холме к югу от Флоренции: Медичи хранили там свою потрясающую библиотеку. Фонтан в стене, каменные лестницы, четыре последние книги Цицерона, что так упорно разыскивались, карты Тосканелли, изображения животных, поступавшие от торговцев со всех концов света, — жираф, носорог, птица додо, — бюст Платона, вокруг которого ночи напролет велись беседы, камин, террасы, сад с мерцающими в темноте статуями из каррарского мрамора, стол, за которым Полициано при свете масляной лампы сочинял стихи, а вдали Флоренция в огненном кольце, как ее описывал Мазони в своих дневниках. То было видение недолгое, но очень четкое: чулки из стеганой шерсти, кинжалы, шелковые туники, красные плащи… К перилам террасы прислонились братья Медичи, рядом стоит приглашенный ими архитектор, лучший мастер своего времени,

от которого ждут чего-то особенного, чтобы украсить городской пейзаж.

— Хорошо, — согласился Феррер, прервав мое забытье.

Из палаты вышла медсестра с металлическим тазом, полным марли.

— Можете войти, — сказала она.

Прежде чем мы вернулись туда, я задержала Феррера, положив ладонь ему на руку повыше локтя — ненадолго, на считаные секунды.

— Еще только одно, — осмелилась выговорить я, тоном даже не просительным, а куда более робким — как человек, который просит о чем-то, зная, что переступает границы дозволенного.

— Давай. — Феррер обернулся ко мне, уже встав с кресла.

Я задала вопрос, не дававший мне покоя, хотя, пожалуй, в той обстановке это было неуместно. Но ведь он мог ответить совсем кратко.

— Отчего умерла дочь профессора Росси? — спросила я, чувствуя, что незаконно вторгаюсь на чужую территорию. — Мы с профессором об этом никогда не говорили.

Феррер пригладил свои седые волосы философа — или отшельника, но ничего не добился: те по-прежнему торчали как попало, в разные

стороны. Он посмотрел на меня удивленно, чуть недоверчиво и обескураженно, но без раздражения, затем сглотнул слюну.

— Знаешь, Анна, лучше спроси об этом сама, ладно? Он тебе расскажет, я уверен.

XX

Выйдя из спальни на террасу в плаще, расшитом золотыми колокольчиками, Лоренцо Великолепный оказался под бездонно-голубым апрельским небом. Хлопанье крыльев сотен ласточек наполнило его душу весенней бодростью. Переведя взгляд на смятую постель, где лежала жена, он подумал, что никто из женщин не спит красивей, чем его любимая: слегка согнутое колено, вытянутая рука — будто она летит в танце — и копна огненно-рыжих волос. Тихо ступая, он подошел к кровати и несколько мгновений молча смотрел на нее, наслаждаясь тем, что может, бодрствуя, наблюдать за объятой сном женой.

Впервые Лоренцо увидел ее в Риме, тем далеким вечером, когда она играла в садах Виллы Боргезе, окруженная стайкой непоседливых кузин. И сразу же понял: в его жизни случилось нечто непоправимое. На ней были высокие башмачки, широкая детская юбка; скрещенными руками она прижимала к груди любимую книгу. Но самым заметным была перламутровая белизна кожи, из-за чего казалось, что девушка излучает свет, в

отличие от прочих смертных. В мире, где красота считалась отражением душевных свойств, даже турецкий султан был бы покорен ее роскошными волосами.

До помолвки Кларице Орсини со старшим из Медичи к ней сватались — с двенадцати лет — многие европейские принцы, дворяне Мантуанского и Урбинского герцогств. Среди «тощего народа», popolo minuto, ходили толки, что именно из-за нее разгорелся поединок, в котором было обезображено лицо самого Федерико да Монтефельтро; удрученный ее отказом, он оказался неспособен к любви вообще. Но другие люди, менее благосклонные к герцогу, питали на его счет худшие подозрения, хотя подтвердить их никто не мог. Флоренция была городом сплетен, пущенный кем-либо слух расцветал на ее улицах. Этот был лишь один из многих, и воображение простолюдинов разжигали разговоры о том, как герцог Урбино наливается злобой, наблюдая украдкой, из тени, за дворцом на виа Ларга, где сломавшая его судьбу женщина спала на плече пресыщенного любовью супруга.

Лоренцо никогда не был суеверен, однако тревожился, что выдумки об этой тайной любви настроят против него герцога Урбино, которого

он всегда считал своим верным вассалом. Чтобы устранить все недоразумения, он приказал Каламантино раз и навсегда покончить с потоком анонимных писем, захлестывавшим ящики для доносов. Тщетно: Кларице Орсини была достаточно сильна, чтобы защитить свою честь в открытом бою — но не в подковерной борьбе.

Наконец письма прекратились, но на их место явилась фарфоровая кукла с волнистыми волосами из медной проволоки, одетая в модный изящный бархат. Кларице Орсини так полюбила эту уменьшенную копию себя, что посадила ее на комод в большой опочивальне, но однажды она заметила, что каждое утро кукла появляется не там, где ее оставили вечером. Еще в Риме, в далеком детстве, одна горничная родом из Африки рассказывала ей истории о колдовстве, — но во Флоренции, считала девушка, никто не был способен на такое. По-настоящему Кларице испугалась, обнаружив, что кукла не входила ни в один из подарков, ежедневно присылаемых во дворец, — ее принес бродячий продавец перепелок, о котором ничего не было известно.

Лоренцо не придал значения этому событию, хотя и решил, что это удобный случай для того, чтобы жена вконец распрощалась с детскими

играми. Предупреждение достигло своей цели.

Теперь, наблюдая, как потягивается его любимая, он радовался, что она уже не маленькая девочка, приехавшая во Флоренцию с полным набором детских страхов, а созревшая женщина, крепко стоящая на ногах, чьей невероятной красоте противостоять чем дальше, тем труднее.

— Не уходите, — вкрадчиво говорила она, пытаясь удержать супруга, и в этой настойчивости было не только стремление не отпускать любимого, но и свойственное некоторым женщинам сверхъестественное предчувствие.

Все же в это апрельское воскресенье ничто не предвещало несчастья. Солнце отбрасывало на застекленные рамы блики чистого золота, омывая небо потоком света; с виллы открывался далекий вид — до самых террас с фруктовыми садами и ломаной линии холмов, усаженных оливами и кипарисами. И от всего этого мир казался безграничным.

Челядь уже не один час занималась приготовлениями к грандиозному обеду после торжественной мессы: их господин намеревался самым радушным образом принять у себя молодого кардинала Рафаэле Сансони Риарио, племянника Папы, изъявившего желание ознакомиться с

фамильной коллекцией живописи и скульптуры. Даже если бы Лоренцо сам назначал дату для улаживания ссоры с Ватиканом, он не выбрал бы утра прекраснее.

С помощью слуг он погрузился в ванну на львиных лапах из оловянного сплава — последний крик моды в среде состоятельных флорентийцев. Затем он не спеша облачился в свой лучший наряд: пепельно-серые штаны, легкая куртка с широкими пышными рукавами, короткий камзол с изысканной вышивкой, пояс с бронзовой пряжкой, украшенной жемчугами и аметистами.

Перед тем как надеть плащ, он прошел в комнату своего брата Джулиано: тот все еще лежал в постели с «Триумфами» Петрарки в руках. Младший из братьев отличался хрупким здоровьем и природной меланхолией, питая неприязнь ко всяческим церемониям. Лоренцо не сильно расстроился его отказом явиться в собор: Джулиано был для него не столько братом, сколько любимым сыном, которому он с отцовской нежностью потакал во всем. Его самого, Лоренцо, более чем достаточно, чтобы представлять их семейство.

Накидывая плащ, он подмигнул брату, давая понять, что завидует ему, и направился к выходу

из дворца, чтобы пройтись пешком до собора. У дверей его поджидали несколько дворян и небольшая свита из самых верных солдат и близких друзей. С тех пор как политический горизонт омрачился из-за назначения Сальвиати, Лоренцо никуда не выходил в одиночестве или без оружия, по совету доверенного человека — бывшего доминиканского монаха, гиганта с непроницаемым лицом, который возглавлял его шпионскую сеть. Этому человеку Великолепный вверил безопасность своей семьи.

Но Ксенофона Каламантино тем утром не было во Флоренции. Ночью, когда грек проходил дозором по окрестностям дворца, к нему подошел один из его людей, переодетый крестьянином. Он доложил, что слышал в «Кампане», будто сорок хорошо вооруженных солдат готовятся вторгнуться на территорию республики со стороны Форли.

Замысел Пацци удался. Заговорщики были уверены, что эти сведения вынудят Каламантино отъехать далеко от Флоренции. Как они и рассчитывали, той же ночью грозный грек, правая рука Медичи, во главе большого отряда воинов оставил город и своего господина на произвол судьбы.

Купол Брунеллески и весь собор сияли великолепием. Могущественный цех шерстянщиков взял на себя труд дочиста отмыть здание, и его штандарты с вышитыми агнцем и крестом закрывали фасады главных зданий города.

С раннего утра народ скапливался вокруг собора и на пьяцца делла Синьория. Идя по виа Ларга, Лоренцо пожимал руки друзей и знакомых. Среди них были зажигательный Полициано, придворный географ, ученый Марсилио Фичино и все приближенные художники: Сандро Боттичелли, молодой Леонардо да Винчи в элегантном коротком плаще из синего бархата, маэстро Верроккьо, Пьерпаоло Мазони с кудрявым мальчиком, который тенью ходил за ним везде.

Небогатые торговцы и ремесленники склонялись, чтобы поцеловать руку Великолепного, а его пажи по обычаю раздавали монеты обездоленным. Дойдя до угла, Лоренцо увидел большие бело-желтые знамена папских арбалетчиков и пехотинцев под командованием графа Монтесекко. Граф облачился в золотые латы, чтобы, по его словам, сопровождать племянника Папы в Рим. Он воспользовался недолгим пребыванием во дворце, дабы составить о нем представление: ведь, как его известили, именно во дворце раз-

вернутся все события. Но вышло иначе.

Один из наблюдателей, оставленных заговорщиками во Фьезоле, через посыльного сообщил, что к Флоренции вроде бы скачет галопом отряд арбалетчиков — возможно, это люди Ксенофона Каламантино, предупрежденного о ловушке для Медичи. Вероятно, судьба опять принялась прокладывать свои туманные пути, и заговорщикам пришлось изменить план в третий раз. Опасаясь, как бы известие о заговоре не распространилось по всему городу, они решили, что ждать до торжественного обеда нельзя. Следует нанести удар прямо в соборе.

Эта поправка, внесенная в последние минуты, потянула за собой цепь непредсказуемых последствий, поскольку граф Монтесекко, закаленный в сотнях стычек, готов был совершить преступление на пиру, но проливать кровь в святом месте не хотел. Капитана заменили на двух священников с кинжалами под рясой, не столь разборчивых. Божьи служители Антонио Маффеи из Вольтерры и Стефано да Баньоне проявили меньше уважения к храму, чем бородатый наемник, сеявший ужас в горных селениях во время непрестанных войн.

У бронзовых дверей баптистерия работы Ги-

берти уже собрались городские советники и вся флорентийская знать вместе со слугами. У большинства под одеждой были спрятаны мечи и кинжалы. Сколько человек в несметной толпе на площади знали о том, что случится? Несомненно, многие из тех, кто с благочестивым видом призывал к покаянию под сенью религиозных братств. Якопо Пацци, посматривая то в один, то в другой конец улицы, обеспокоенно заметил, что Джулиано нет рядом с братом, и с дрожью в голосе сказал об этом остальным. Непредсказуемость юного любителя искусств грозила отнять у вождей заговора последнюю возможность.

Когда Лоренцо Медичи и кардинал Риарио со свитой готовились шагнуть на ступени собора, один из братьев Пацци со своим приближенным Бернардо Бандини сумел добраться до Дворца Медичи — якобы с запиской от Великолепного к его брату с просьбой немедленно отправиться на мессу. Ясно, что Джулиано не удивился такой резкой перемене в настроении Лоренцо. Кроме того, он знал, что тот хорошо чуял дипломатическую необходимость, а значит, это она вынудила позвать младшего брата на долгожданную церемонию. Джулиано быстро переоделся и набросил плащ кроваво-красного цвета: кое-кто потом

увидел в этом предзнаменование.

По пути от дворца к собору лжепосыльные, частью шутливо, частью всерьез, принялись хлопать Джулиано по спине и обнимать его с тайным умыслом — проверить, нет ли под одеждой кольчуги. Но у него не было ни брони, ни кинжала, ни меча, — вообще ничего, что могло бы защитить от нападения.

XXI

Дом профессора Росси не был старинной виллой Медичи, но все же выглядел довольно древним: зеленые жалюзи, средневековый каменный свод над притолокой двери… Позади располагался фруктовый сад с яблонями и сливовыми деревьями; небольшой запущенный садик с оградой из можжевельника был и перед домом. Гравиевая дорожка шла между кипарисов и заканчивалась у подножия греческого изваяния безрукой женщины, напоминавшей Венеру Медичи. Рядом с крытой террасой была брошена газонокосилка. Возле главного входа цвел дивный розовый куст, резко выделяясь карминными красками на охристо-сером фоне стен, по которым — вплоть до галереи второго этажа — взбиралась глициния, придавая фасаду некий налет таинственности.

Франческо Феррер вставил в замочную скважину ключ, врученный синьорой Манфреди, и толкнул тяжелую деревянную дверь. Та подалась, скрипнув ржавыми петлями. Свет снаружи, просеиваясь сквозь окна, в вестибюле становился мягким, почти золотым, отчасти благодаря ошту-

катуренным стенам. В воздухе висела хмурая тишина. Сразу за дверью возникало ощущение, что ты — в ограбленном доме. Мебели в вестибюле не было, если не считать прелестного белого дивана, обтянутого тонкой парусиной. Обширное пустое пространство освещалось через круглое слуховое окно над лестницей. Нигде ни пылинки, деревянный пол сверкал, будто недавно покрытый лаком. Мне понравилась эта строгая геометричность, отсутствие всяких украшений: единственная роскошь — пространство и свет.

Местом, которое больше всего интересовало взломщиков, была библиотека — просторное помещение с окнами в сад.

Там стоял белый диван — такой же, как у входа, но синьора Манфреди накрыла его тканью — видимо, чтобы уберечь от следователей, которые все утро толклись тут. Единственной нетронутой вещью, похоже, были шахматы: черный слон стоял на клетке «g5», белый ферзь — на «a4». Я плохо разбираюсь в этой игре, но позиция мне показалась слишком интересной, чтобы бросать партию недоигранной. Выдернутые из компьютера кабели во множестве свисали со стола, опускаясь на ковер. Бумаги валялись в полном беспорядке — осмотрев их, инспектор Леони решил оставить

все как есть и унес с собой только три синие папки, обещав вернуть как можно скорее. Книжные полки были пусты, словно театр без зрителей. Книги были сброшены на пол. Синьора Манфреди не осмелилась даже переложить их на стол. Она посмотрела с облегчением, когда Феррер сказал, что беспокоиться не нужно — мы все уберем. Библиотека, по всей видимости, внушала ей трепет: преклонение простого народа перед культурой.

В основном здесь были книги по истории и искусству, включая альбомы с репродукциями, выпущенные ведущими музеями мира. Но имелись и сочинения по философии, политике, экономике, биографии мыслителей девятнадцатого и двадцатого веков: Маркса, Фрейда, Сартра, Камю и более близких к нам — Ноама Хомского, например, или Капущинского. Меня, однако, больше всего заинтересовали детективы и триллеры в карманных изданиях, напомнившие такое же собрание в кабинете отца: он был поклонником подобной литературы, хоть и не любил в этом признаваться. В детстве меня очаровывали эти обложки с китайцами, вампиршами, револьверами; книги были настолько ветхими, что рассыпались в руках. В четырнадцать лет я пожирала их, сидя на подоконнике на даче, у од-

ного из окон, выходивших на террасу. Обычно я забиралась туда босиком и старалась быть очень внимательной, как часовой на вершине башни, ловя любые подсказки, которые позволяли вычислить убийцу еще до финала. Эти названия и сюжеты сплавились в моей памяти с бирюзовой водой бассейна и августовской жарой. В этом возрасте мои пристрастия еще не сложились в систему: я обожала Дэшила Хэммета и мультики, вирджинский табак и жевательные карамельки «Сугус», невидимые чернила у Агаты Кристи и метафизические шахматы у Борхеса, головоломки, логические игры, американский нуар и замороженный земляничный сок, который любила медленно смаковать, выйдя из воды: точно так же я смаковала тайну, лежа с книгой на полотенце.

Неудивительно, что Росси, как всякий любитель шахмат, хоть немного склонный к умственным построениям, сохранил эту подростковую страсть. Ведь детективы предназначены не только для детей, ищущих новые способы отгородиться от мира, но и для взрослых, избравших иные виды уединения. Пока Феррер в темно-коричневой рубашке с закатанными выше локтя рукавами ставил книги на нижние полки по

тематическому и алфавитному принципу, я, взобравшись на деревянную лестницу, расставляла как попало издания карманного формата.

Здесь были все классики жанра: Эллери Квин, Честертон, Джеймс Хэдли Чейз, Дешил Хэммет — от «Крадущегося сиамца» до «Красной жатвы», полная коллекция романов Камиллери про комиссара Монтальбано. Агаты Кристи не было, но имелись Патриция Хайсмит, Джеймс Кейн, Сименон и, разумеется, Конан Дойл, начиная с «Собаки Баскервилей», вдохновившей Умберто Эко на создание «Имени розы». Я наугад читала названия: «Черная мелодия блюза», «Терпение паука», «Прежде чем заледенеет»…

Общим для всех этих произведений было то, что читателя занимало не столько наказание преступника, сколько изобретательные ходы детективов вроде Сэма Спейда или Филиппа Марлоу, суровых и насмешливых, всегда находивших быстрый и бесспорный выход из любой ситуации, заканчивая партию шахом и матом. Изобретательность — вот что ценишь больше всего в юности, когда ты так уязвим и у тебя не находится нужных слов — или они являются слишком поздно. Это было в одной песне группы «Erasure», и еще там было: «Я люблю детективы

— так хорошо знать, что преступник не я».

Мы управились с тремя тысячами томов меньше чем за три часа. Библиотека почти приняла человеческий вид, оставалось лишь подключить компьютер, но для этого требовался мастер. Утомившись, мы с Феррером сели — он на прикрытый тканью диван, а я прямо на пол, по-индейски.

— Ну что же, миссия выполнена, — не без гордости изрек он, откинув голову на спинку. В облике его читалась усталость, но голос звучал бодро. — Надо бы промочить горло: думаю, мы заслужили.

— Конечно. Чего вы хотите? — Я взяла на себя обязанности хозяйки. — Не вставайте, я скажу синьоре Манфреди.

— Я не отказался бы от виски.

День догорал, и льющийся из сада свет принял зеленовато-красный оттенок, отчего комната стала слегка напоминать оранжерею. Синьора Манфреди зажгла торшер и поставила поднос с напитками на столик в мавританском стиле. Феррер достал из кармана рубашки пачку американских сигарет, вытащил одну и с наслаждением затянулся, потом еще раз, уставясь на горящий кончик. Затем, не глядя на меня, он спросил с наигранным равнодушием:

— Ну и что ты думаешь делать? Будешь дальше работать над диссертацией?

Несмотря на ровный тон, в его голосе чувствовалось возбуждение — он задал трудный вопрос и с беспокойством и надеждой ждал ответа.

Я откликнулась не сразу, а лишь после того, как налила в стакан на два пальца джина, добавив лимонада и побольше льда.

— Само собой, буду работать дальше. — Я постаралась подчеркнуть, что его сомнение обидело меня.

Феррер покачал головой, как бы не веря и в то же время смирившись с моим решением, но в глазах его зажглась искорка улыбки. Мне показалось, что, невзирая на недоверчивый тон, он в глубине души хотел услышать именно это.

— На самом деле, — прибавила я, — я теперь еще больше настроена продолжать, зная, что здесь кроется тайна и за нее кто-то готов заплатить любую цену.

Именно к такому выводу я пришла утром того дня после разговора с инспектором Леони на Корсо деи Тинтори. Я отправилась туда прямо из больницы, и, признаться, не без волнения. Комиссариат находился в мрачном здании, облицованном рустом, и у входа витал легкий запах

общественного туалета. Помещение выглядело по-офисному уныло: лампы дневного света, серые металлические стеллажи, картонные архиваторы, дела, перевязанные красной тесьмой. В глубине, рядом с ксероксом, висел шарф с символикой «Фиорентины» и плакат, изображающий всю команду в сборе. В конце коридора несли вахту двое полицейских: форменная одежда, сине-бело-серебряные фуражки, надвинутые до бровей.

Леони был в штатском — поверх рубашки он носил серый шерстяной жилет — и выглядел удрученным или усталым, сидя в своем кабинете при меланхолическом свете монитора. На столе у него лежал ворох бумаг и роман Павезе, открытый на середине, — вероятно, инспектор таким образом убивал время.

— Я вынужден был просить вас, синьорина, нанести нам визит, — сказал он на безупречном ученическом испанском. — Вы должны понять, что я обязан задать вам некоторые вопросы, учитывая, что похищенные у профессора Росси материалы, как мне кажется, имеют отношение к вашей работе.

Какое именно отношение — он не пояснил и вообще не сказал об этом ничего больше. Я, со

своей стороны, ни словом не обмолвилась ни о падении с велосипеда на виа Гибеллина, ни о тревожных утренних посещениях архива, когда я встречалась со своей тенью. По правде говоря, я больше не перекинулась ни полусловом с Боско Кастильоне, но мы тайком наблюдали друг за другом, и наши взгляды порой скрещивались поверх столов, словно мысленно брошенные копья. Возможно, инспектор Леони тоже обладал в какой-то мере способностью предвидеть, что еще выдумает неистощимый ум преступника. По типу мышления ближе всего к злоумышленникам стоят полицейские. Когда он упомянул о трех недостающих тетрадях, я решила, что с интуицией у него все в порядке. Леони сделал это как бы между прочим, но пристально глядя на меня, чтобы оценить эффект от своих слов.

Мы разговаривали, когда вдруг раздались три удара в дверной косяк. Инспектор извинился, вышел в коридор и шепотом обменялся несколькими словами со своим помощником. Вернувшись, он снова сел в кресло, скрестил руки на краю стола и заговорил об аукционном доме на виа Санто-Спирито, недалеко от библиотеки Немецкого института, где не раз выставлялись на торги похищенные инкунабулы. «В таких

вещах всегда кто-нибудь заинтересован, — заметил он уклончиво, — коллекционеры и им подобные». Потом он стал расспрашивать меня о моих отношениях с Росси, и я побоялась, что беседа перейдет на личные темы, но потом поняла, что Леони рассматривает совершенно другие варианты — например, соперничество по работе с кем-нибудь из университетских преподавателей. Видимо, этот мир был инспектору хорошо знаком. «Забудьте о политиках, — сказал он, на этот раз по-итальянски. — Тех, кто готов продать душу дьяволу, больше всего в науке. Трудно представить, до чего может дойти интеллектуальное тщеславие». Мне это высказывание показалось слишком искусственным и высокопарным — не комиссару полиции рассуждать о таких вещах. Павезе, что ли, навел его на эти мысли? Так или иначе, что-то в его словах или поведении подсказало мне, что я вычеркнута из списка подозреваемых — если была в нем. Очевидно, тут имело место некоторое пренебрежение к простой аспирантке, слишком молодой, чтобы подсиживать своего научного руководителя.

Обо всем этом я рассказывала Ферреру, а тот внимательно слушал, сидя на диване, попивая виски и вставляя краткие, иногда язвительные

замечания.

— Надеюсь, этот тип больше тебя не беспокоил?

— Какой? Дэни де Вито?

— Нет, — живая улыбка вернулась на его лицо, — то есть он тоже, но я не его имел в виду. Тот тип из архива, семинарист, который работает на Ватикан.

— Ах, он… — На несколько секунд я представила его таким, каким видела через стекло кабинки для чтения микрофильмов: нога раскачивается в воздухе, обутая в ортопедический ботинок с пластинкой. — Нет, не беспокоил, — заверила я Феррера, но в душе прекрасно знала, что манера Кастильоне подчеркивать свое присутствие ежедневно в один и тот же час была постоянным предупреждением.

— Ну что ж, хорошо. Может быть, разыскивая пропавшие тетради, он понял наконец, что ты тут ни при чем. — Феррер замолчал и задумчиво поглядел на меня, слегка сощурившись, точно от дыма сигареты. — Ведь ты и правда ни при чем, Анна? И будешь ни при чем?

Тон реставратора изменился, сделавшись более серьезным, даже чуть угрожающим, и мне почудилось, что приподнялась какая-то завеса,

открыв в глазах Феррера странное сияние, чистый и жесткий блеск, значение которого было непонятно — он как будто не соответствовал ни одной эмоции. Но это продолжалось буквально секунду.

— Пожалуйста, Франческо… — запротестовала я.

Что-то в выражении моего лица, видимо, подсказало Ферреру, что он зашел слишком далеко. Почесав в затылке, реставратор улыбнулся с присущей ему живостью, снова превратившись в подкупающего прямодушием крестьянина из Пистойи. Затянувшись, он с силой выпустил дым, как бы давая понять, что вопрос закрыт.

— Ладно, посмотрим, что скажет Джулио, когда все узнает… — Тон его вновь стал товарищеским. Феррер встал, подошел к окну и окинул взглядом сад, вплоть до черных кипарисов у ворот. — А вот и он.

И действительно, белое такси захрустело шинами по гравиевой дорожке и остановилось перед домом. Чуть погодя на пороге библиотеки появился небритый профессор Росси — пошатываясь, но с сияющей улыбкой. Седоватая щетина придавала ему необычно суровый вид, но, как ни странно, это не делало его менее привлека-

тельным. Даже после больницы, в парусиновых брюках и просторном домашнем свитере, он сохранил свою итальянскую элегантность, особую манеру стоять вот так на пороге, засунув руки в карманы, чуть наклонив голову, с легкой улыбкой и застенчиво-насмешливым взглядом.

Если бы я дала волю чувствам, то сразу же поднялась бы с пола, обняла его и шепотом рассказала на ухо, как я ему благодарна: за собрание детективов, за его улыбку — искреннюю и отсутствующую одновременно, за то, что он непохож на всех известных мне мужчин, за то, что у него есть тайны и есть прошлое, за беседы, завораживавшие меня, учившие многому и дававшие пищу для духовного роста, за то, что он абсолютно не сознает своего обаяния, за привычку касаться виска указательным пальцем, за голос, будивший идеи в моей голове, за то, что он вдвое старше меня и достаточно хладнокровен, чтобы вот так просто стоять на пороге, будто мир не должен взорваться с минуты на минуту.

Все это я хотела бы сказать ему, но, конечно, не сказала, а лишь сосчитала в уме до десяти, не двигаясь с места, задыхаясь, стараясь успокоиться и избежать опасности благодаря глотку «джин-физа»: так поступают героини плохих романов, если

не могут придумать ничего получше.

Вскоре все вошло в обычную колею, как и следовало ожидать. Синьора Манфреди приготовила холодный ужин — салат из кресса и свежего сыра, свежевыпеченный хлеб с кунжутом и кьянти. Феррер рассказывал о Боско Кастильоне, о машинах с акульими плавниками, что сбивают юных велосипедисток, о несуществующих тетрадях, о карликах в пальто от Армани, а я не говорила ни слова: ни кратких пояснений, ни попыток сместить акценты, ни комментариев, ничего. Молчание сфинкса. Профессор довольно ловко управлялся на кухне, как человек, привыкший все делать сам и просить помощи у синьоры Манфреди лишь в исключительных случаях. Он то убирал авокадо в холодильник, то доставал из шкафчика баночку с черным перцем, то приправлял салат, то перебивал Феррера, не теряя при этом ни слова из его рассказа, и главное — не смотрел на меня: ни разу не проявил милосердия и не посмотрел мне в глаза. Но ведь я не сделала ничего такого ужасного, в конце концов молчание не есть преступление, и потом, надо же понимать — то, что излагал сейчас Феррер, я могла первоначально счесть плодом своего воображения, воспаленного воображения, как,

безусловно, сказал бы Рой — а он знал меня слишком хорошо, чтобы придавать значение моим художественным вымыслам.

Окно кухни выходило во фруктовый сад позади дома, уже объятый сумраком.

— Аделе, — обратился профессор к синьоре Манфреди, — этой ночью лучше не выключать фонари в саду.

— Вы точно не хотите, чтобы я осталась? — спросила она с порога, держа пальто в руке и прижимая к боку черную сумочку.

— Нет-нет. Спасибо за все и не волнуйтесь. Если будет что-то нужно, я вас позову.

Перед уходом синьора Манфреди напомнила, что на верхней полке буфета лежат две банки с апельсиновым джемом. Она была не старой — около пятидесяти, но из-за оливковой кожи и черного наряда казалась живущей от начала времен, как все итальянские матери.

Франческо Феррер тоже посмотрел на часы, и когда он сказал, что пора уходить, я опять ощутила удушье, словно воздух давил на меня. На самом деле я думала, что хорошо бы остаться в этом доме на ночь. Я видела под скатертью костлявую руку профессора Росси с длинными пальцами, нервно катающими крохотные хлебные шарики,

совсем рядом с моим запястьем — всего в двух сантиметрах, и мне показалось, что таким жестом он втайне предлагает мне что-то, и только я могу это расшифровать. Но сколько бы он ни вертел пальцами, естественной и пристойной альтернативы уходу так и не вырисовывалось, а я, понятное дело, предпочла бы умереть, чем самой предложить что-то.

— Я еду в Пистойю, давно не виделся со своими, — сказал Феррер, вставая из-за стола, — но, если хочешь, могу подвезти тебя до дома.

Мир вокруг меня безвозвратно рушился. Я встала, ненавидя себя за то, что не нашла ни одного проклятого предлога посидеть еще. «Большое спасибо, Франческо, вы так любезны», — проговорила я, улыбаясь самой непритворной улыбкой среди руин карточного замка.

Я взяла свои вещи: непромокаемую куртку, две книги, сумку, ключи от квартиры — полный набор. Но потом вспомнила, что забыла папку с главами диссертации, которые хотела показать профессору, вернулась за ней и нечаянно уронила на пол ксерокопии. Росси помог собрать их, и мы стояли со стопками листов в руках, как два идиота. Профессор пригладил волосы, дотронулся до своего носа, улыбнулся, а затем подошел

ко мне и чмокнул в щеку с радушной улыбкой. Пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до его лица.

Мы вышли из дома — Феррер ждал в машине, когда Росси посмотрел на меня — и нежданно-негаданно спросил:

— Анна, а почему бы тебе не остаться?

Он сказал это без всякого умысла и затаенной надежды, абсолютно естественно, с обычной для него застенчивой улыбкой, и остался стоять на месте, слегка покачиваясь, не пряча взгляда, с обезоруживающей простотой ожидая моего ответа.

Я не могла поверить, на миг даже решив, что это шалости моего воображения. Я застыла, не зная, что делать, готовая громко фыркнуть ему в лицо, — таким нереальным все это казалось.

— Поздновато уже, конечно, — продолжил он, — но мне кажется, нам с тобой надо кое-что обсудить. — Он как будто хотел убедить кого-то — то ли меня, то ли себя. — Ты можешь лечь в гостевой комнате на верхнем этаже, а завтра утром я тебя подброшу в город.

— Хорошо, — ничего более разумного я не смогла выговорить и пыталась на ходу осознать случившееся. Удушье усилилось, в животе

образовался жгучий ком. — Почему бы и нет? — добавила я, словно разговаривая сама с собой.

Я ужасно растерялась — не только от неуверенности, но и от невероятности происходящего: как могут в реальной жизни исполняться мои самые горячие желания?

Профессор Росси наклонился, чтобы придержать дверь. Я поднялась на три ступеньки, в то время как машина Феррера уже выезжала из ворот. Я пожала плечами и вошла в дом, не оглянувшись. Как поступают смельчаки.

XXII

Толпа роилась в нетерпении возле ступеней главного входа Санта-Мария дель Фьоре, надеясь полюбоваться блестящей свитой церковных иерархов. Более тридцати конных арбалетчиков и полсотни пехотинцев ожидали конца мессы у баптистерия, и столь роскошно одетых ратников во Флоренции еще не видывали.

Внутри битком набитого собора царили полумрак и таинственность, сопутствующая литургическому действу. Дышать, правда, было нечем. Среди мрамора стен и статуй выделялись алые и кубовые одеяния высших городских чиновников, золотые пояса сенаторов, масляно блестевшие бархатные плащи тихо шелестели под готическими сводами. Лоренцо и папский нунций преклонили колена на молитвенных скамеечках рядом с центральным алтарем, простой народ занимал скамьи в глубине собора и толпился в боковых нефах, где, несмотря на их обширность, некуда было воткнуть иголку.

Джулиано Медичи в сопровождении новообретенных спутников вынужден был войти через

боковой вход, с виа де Серви, и едва успел перекреститься. Месса началась с задержкой из-за кардинала Риарио, опоздавшего на несколько минут, и поэтому юноша смог найти свободное место в углу, отведенном для религиозных конгрегаций и кающихся: идти через весь храм было бы не слишком пристойно.

В отличие от старшего брата, Джулиано не любил скоплений народа и при входе в собор чуть не задохнулся от тесноты. Однако понемногу он притерпелся к неимоверно спертому воздуху, и голоса хора околдовали его. Выводимые двадцатью мальчиками молитвы и гимны поднимались под громадный купол работы Брунеллески. Медленно и протяжно прозвучало Sederunt principes[18], а затем — многократно повторенное ликующее «Аллилуйя», и наибольшей глубины звук достиг с началом Евхаристии.

Когда священник произносил «Hic est enim Calix sangunis meus»[19] и поднимал чашу с освященным вином, один из вестников смерти с быстротой сокола откинул плащ и точным движением вонзил кинжал в бок Джулиано.

---

[18] Примечания: 18
Восседают князи *(лат.).*

[19] Примечания: 19
Вот чаша с кровью моей *(лат.).*

— Настал твой час! — воскликнул Бернардо Бандини, погружая лезвие в тело юноши по самую рукоятку.

Джулиано пошатнулся и отступил, не понимая, что происходит. Скорчившись от боли, он решил было искать защиты у Франческо Пацци. И тут его глаза еще шире раскрылись в изумлении: банкир не только не пришел на помощь, но поднял свой меч и воткнул его раненому в другой бок.

Джулиано инстинктивно схватился за лезвие меча, но лишь изрезал пальцы, а прислужник Пацци ударил его снова. Большая лужа крови растекалась по прекрасному мраморному полу, на изготовление которого ремесленник потратил полжизни в обмен на право быть похороненным в капелле храма рядом со знатными горожанами.

Согнувшись пополам и упав на колени, Джулиано из последних сил пытался отвести опасность от брата — тот стоял шагах в двадцати, у главного алтаря. Но увидеть Лоренцо было невозможно — его плотным кольцом окружили убийцы. Кое-кто из сторонников Медичи перешептывался и переглядывался, наблюдая за странной возней в этой части храма, но народу скопилось столько, что ничего понять было нельзя. Однако через

несколько минут смятение усилилось — в дело вступили новые заговорщики, согласно правилу: чем больше клинков, тем надежней. И вот, извергнув из себя с предсмертным хрипом душившую его кровь, Джулиано издал душераздирающий стон. Собор содрогнулся, словно от замогильного холода, и все повернулись к боковому нефу.

Бандини выхватил кинжал милосердия и вонзил его в шею умирающему, надавливая, пока конец лезвия не вышел из горла. Запах крови до того возбудил убийц, что они стали рвать тело ногтями и зубами, ища сердце. Церковь превратилась в ад. Слышались крики, звон мечей, топот разбегающихся в испуге людей… Бежали все: сенаторы, послы, соборные каноники, поднявшие рясы выше пояса, магистраты, простые прихожане, мужчины, женщины и дети, охваченные паникой. Переполох был столь сильным, что казалось — сейчас обрушится купол. Среди этой какофонии мальчики из хора в белых кружевных одеждах пели как одержимые, подражая голосам из могилы, голосам зарезанных, голосам сатанинского отродья…

Одни бродили по храму с выпученными от ужаса глазами, другие, вооружившись палкой или раскаленным подсвечником, готовились к бою,

хотя не знали, кто друг, кто враг. Молодой кардинал Риарио оглядывался вокруг с перекошенным лицом, точно все это было каким-то жутким недоразумением. Рядом Гульельмо Пацци, муж Бьянки Медичи, то кричал с перепугу, то всхлипывал, закрыв лицо руками, над трупом своего шурина Джулиано, громко повторяя, что ничего не знал о предательском нападении. Видимо, некоторые вели двойную игру: среди выкриков в поддержку и против Медичи, среди всеобщей бойни было не понять, кто на чьей стороне.

И однако кто-то тщательнейшим образом спланировал это мрачное действо, предусмотрев ходы всех коней, ладей, слонов и простых пешек, служивших лишь приманкой. Он сумел избежать риска, оставаясь в безопасности, и невозможно было представить, что он замыслил какие-то происки или обманывает кого-нибудь. Он притворялся, что служит светским и духовным властям, а на самом деле использовал их в своих целях. В полутьме исповедальни мелькнуло пламя свечи, а за ним — чья-то длинная тень.

Люди не знали, что творится за пределами собора, и это еще больше накаляло обстановку. Но основные события развертывались у главного алтаря, где священники Антонио Маффеи и Сте-

фано ди Баньоне готовились покончить с главой рода Медичи.

Полициано взбежал по винтовой лестнице к органу, чтобы целиком обозреть происходящее, но увидел сцену, навсегда ранившую его душу: Джулиано, любимый ученик поэта, валялся в луже крови со вспоротым животом, получив девятнадцать смертельных ударов. Два из них пришлись в сердце, еще один — в яремную вену, и два удара пронзили бедренную артерию. Никто не знал, какова судьба Лоренцо.

Впереди были долгие часы, заполненные тревогой. Нефы собора оглашались стонами раненых, изрубленных до того, что не могли подняться: временами чью-нибудь жизнь обрывал кинжал милосердия. Группы вооруженных людей сновали по капеллам и закоулкам храма, прикидывая число убитых, а иногда между пилястр двигался одинокий огонек: кто-то, взяв лампу, осматривал погибших в тщетной надежде найти знакомое лицо.

Пьерпаоло Мазони искал мальчика, в этой сумятице потеряв его из виду. Он шел наугад, сталкиваясь с теми, кто брел навстречу. События виделись ему отрывочно, точно в мелких осколках разбитого зеркала: белое пламя свечей;

две длинные бледные руки, схватившиеся за горло, словно человеку не хватало воздуха; стучащие по полу ноги в спущенных до щиколоток чулках, возле огражденного перилами восьмиугольника, откуда начиналась лестница на хоры; блестящие от ужаса черные глаза между черных же прядей, свалявшихся от пота. Но ничто не могло сравниться с тем призрачным видением, когда живописец отодвинул бордовую занавесь исповедальни: перед ним, в считаных дюймах, оказалось знакомое безгубое лицо, пересеченное давним шрамом, грубо зашитым через край.

Он сглотнул слюну и глубоко вздохнул, против воли объятый дрожью — но не от страха умереть. Страх сидел в нем уже много лет, став его спутником, верной тенью следуя за ним с той далекой ночи, когда Мазони не понаслышке узнал о сущности зла на черной мессе. Он был так юн, что не ведал об истинной природе этого. Тайные общества процветали всюду, и каждый уважающий себя молодой художник обязан был стремиться, с помощью членов братства, к идеалу духовного совершенства, чтобы перенестись в те области знания, где человек освобождается от сомнения и боязни. Не отдавая себе отчета, он оказался в первом чадном круге, ночуя в подозрительных

тавернах, внимая пламенным еретическим речам, спускаясь в подземелья, где семь ступеней вели к перевитым рукколой алтарям между двух колонн Соломона, посещая собрания, с которых выходили поодиночке, оглядываясь через плечо. Но затем надежда сменилась ужасом. Однажды наступил страшный миг — будто пелена упала с глаз Мазони: он увидел, как великий магистр высоко заносит обсидиановый нож. Это воспоминание до сих пор искажало для него чувство реальности.

Но только что увиденное собственными глазами в соборе отнюдь не было жутким плодом воображения — нет, этот человек здесь действительно был, и был все время. Кто-то промолвил за спиной, что праведнику лучше бы вырвать себе глаза, чем видеть такое. Художник не успел обернуться, испытав внезапную дрожь: глаза затянуло серным порошком, и ночная мгла спустилась на мир. Лишь тогда наступила полнейшая уверенность: что-то делать уже безнадежно поздно.

XXIII

Есть запахи, заключающие в себе целый мир. Они пробуждают память, ведут по запутанным лабиринтам воспоминаний, возвращают к той самой карте полушарий, что питала воображение, когда казалось, что приключения — это кругосветное плавание и прибытие судов с заморскими товарами. Запах какао и жареных кофейных зерен, дерева и листьев табака, что сушатся на плантациях в длинных сараях: библиотека была пропитана этим смутно-колониальным ароматом, который я уловила в день знакомства с профессором Росси, не сумев тогда определить. Профессор бережно доставал из жестянки с надписью «Cornell & Diehl» тончайшие темно-золотистые волокна и набивал ими трубку. Я полной грудью вдохнула дым и сквозь пахучее облачко увидела давнее: забытая всеми девочка сидит, разложив на столе карту, в каменном доме в самом центре Сантьяго.

Через запахи, затрагивающие подсознание, мы знакомимся с людьми и подпадаем под их очарование, и неудивительно поэтому, что

можно сходить с ума от аромата, от того, как собеседник подносит моряцкую трубку ко рту, а потом вытягивает руку и смотрит в освещенный белыми фонариками сад, от худого запястья, выглядывающего из-под рукава свитера, от любви, смыкающей нам уста, прежде чем они осмелятся произнести «ты». Как можно, спрашивала я себя, говорить «ты» тому, в кого влюблена, если всегда называла его на «вы», если он вдвое старше тебя, если он твой научный руководитель и к тому же друг твоего отца? Невозможно. Непредставимо. Есть расстояния, которых не сократить.

С верхней полки стеллажа из динамиков, подкрученных до минимума, доносился далекий голос Мелины Меркури. Я никогда не слышала этой песни, и, хотя исполнялась она по-гречески, в ней звучало что-то французское и итальянское — грустная мелодия, вроде дождя над морем. Я сидела на ковре, подложив подушку с восточными узорами, и притопывала в такт мелодии. На ногах у меня были короткие хлопчатобумажные носки в разноцветную полоску, спортивные туфли аккуратно стояли под рабочим столом. Старая детская привычка: я чувствовала себя уютно только без обуви, но сейчас сомневалась, прилично ли сидеть вот так, необутой.

Профессор налил мне еще чаю, спокойно рассказывая что-то о жестокости политических нравов во Флоренции XV века, в тот момент чуждой мне, как верхний палеолит. Похоже, события последних двух дней вылетели у него из головы. Во всяком случае, он нисколько не напоминал человека, только что выписанного из больницы, чей дом к тому же недавно ограбили. Если с кем-то случится такое, он не станет как ни в чем не бывало курить трубку и рассуждать о чести семьи Медичи. Одно из двух, решила я: или профессор сошел с ума, или его в самом деле мало волнует происходящее. Будь Росси человеком другого склада, я бы подумала, что он бравирует, но, зная его, я даже не осмеливалась предположить такое. И стала просто внимать.

— Когда жажда мести влияет на политику, все ограничения исчезают. Позволена любая жестокость, — заключил он.

Моя папка со старательно выправленным куском диссертации лежала на столе возле банки с вирджинским табаком. На нее упали несколько золотистых волоконец, и профессор смахнул их рукой, а затем развязал тесемки, достал мою работу и провел по краю стопки большим пальцем, словно хотел сосчитать листы.

— Вижу, ты серьезно поработала. И надеюсь, плодотворно.

— Я тоже надеюсь, — улыбнулась я, давая понять, что с нетерпением ждала его вердикта.

— Но вот чего я не понимаю, Анна: почему ты не рассказала мне о разговоре с этим типом в архиве?.. Как, говоришь, его зовут?

— Боско Кастильоне.

— Ну да. Ума не приложу, почему ты так сделала. Не знаю… Похоже, ты мне не доверяешь.

Он положил трубку на прямоугольный поднос. Голос его, по-моему, звучал чуточку разочарованно. Да уж, разочаровывать людей я умела. Я сотни раз разочаровывала отца, недостаточно прилежно учась, я чуть не разочаровала Роя, который черт знает чего ждал от меня, и вот теперь — профессор Росси. Я отдала бы что угодно за фразу, позволяющую вернуть его расположение, одну из тех чеканных фраз американских сыщиков, даже в худшие минуты находящих быстрый и остроумный ответ. Но, увы, я не была ни Филиппом Марлоу, ни Сэмом Спейдом, а всего лишь королевой разочарований. Я подняла взгляд на профессора, сидевшего в углу дивана. Он слегка наклонился вперед, поставив локти на колени и немного склонив голову. Подбородок,

потемневший от щетины, был совсем близко от меня. Я представила, как Росси обнимает меня и кладет на диван, а я шепчу ему на ухо звучную фразу, конечно же, способную опрокинуть все возведенные и еще не возведенные стены, и пересчитываю пальцем его ребра под свитером, одно за другим, потом дохожу до шеи и останавливаюсь, чтобы поцеловать его очень медленно, терпеливо, так же, как море разрушает скалы, пока не исчезнут две жесткие морщинки в уголках губ, придающие ему подчас такой неприступный вид. Я вообразила все это, и много чего еще — сердце мое бешено забилось, а он сидел все так же спокойно, в серой футболке и просторном свитере грязно-белого цвета; глаза его были пронизаны золотыми ниточками, и в глубине их корабельными огнями вспыхивали синие искорки досады.

— Мы часами напролет говорили о твоем исследовании. — Тон его по-прежнему выдавал разочарование. — Ты рассказывала мне о перемене твоих позиций, о новых сведениях, о трудностях, а когда возникла настоящая проблема, реальная, не теоретическая и не абстрактная, ты ничего не говоришь — ты молчишь. Честное слово, не понимаю. Впечатление такое, будто

для тебя наше общение ограничивается делами пятисотлетней давности, а то, что случилось вчера или прямо сейчас, обсуждению не подлежит. Господи, Анна, зачем так секретничать? Ведь Франческо ты рассказала это без всякого предубеждения. Разве я и вправду внушаю тебе такое недоверие?

Он не двигался с места, глядя на меня так, словно ждал немедленного ответа, и синие огоньки плясали в глубине его глаз.

— Джулио, вы же знаете, что это не так. Я хотела рассказать, но не думала, что это настолько серьезно. Знаете, в архивах много таких людей — изнемогающих от собственной важности, gente gonfiata, — я намеренно употребила одно из его любимых выражений, — которым нравится выпячивать грудь со словами «вы не знаете, с кем говорите». А потом оказывается, что они не разбираются ни в чем, и вот человека уже нет — убежал, как испуганный кролик. Я решила, что Боско Кастильоне — один из них. Он наплел мне кучу всего про гуманитарную деятельность Церкви, про то, что она в опасности, — даже ученик миссионера не поверил бы ему. Не знаю… Его доводы были слабыми, почти детскими. Мне он показался безвредным.

— А тот, который сбил тебя, тоже показался тебе безвредным? — неумолимо продолжал оскорбленный рыцарь.

— Не настолько. — Я замолчала на секунду, обдумывая ответ, чтобы он не получился неточным. — Но иногда, Джулио, — я выговаривала слова медленно, подбирая их с величайшей тщательностью, будто от этого зависело, осудят меня или оправдают, — иногда что-то случается, и лишь потом мы осознаем, что вполне могли предвидеть это.

Я не была уверена, что объясняю понятно, но это стояло ближе всего к правде.

Профессор снова пристально и выжидающе посмотрел на меня. По его глазам я поняла, что мое объяснение в целом принято — по крайней мере, пока что. Он все так же сидел, наклонившись вперед, подперев рукой подбородок, совсем рядом со мной. В свете лампы его профиль обрел некую странную, чисто физическую привлекательность, хотя я понимала, что виной тут игра чувств: его мужская гордость, смешанная с застенчивостью, мой страх от того, что он сидит так близко и может дотронуться до меня в любой миг, что я так ясно различаю каждую его морщинку, каждый седой волосок…

— Ну хорошо, а теперь — какие новости? Что нового ты обнаружила? — С неопределенной улыбкой сменил он тему, показывая на мою распечатку, взял из пепельницы трубку мира и зажег ее, прикрывая согнутой ладонью огонек спички.

Воздух опять наполнился заморскими ароматами, что пропитывали трюмы кораблей с пряностями и сараи для сушки табака в те времена, когда приключения начинались с рассказа. И тогда профессор узнал от меня о признании солдата.

Просмотрев дневники Мазони от начала до конца, я пришла к выводу: чтобы полностью понять схему заговора против Медичи, надо отвлечься от главных организаторов — Сикста IV и Фердинанда Арагонского — и обратиться к кое-каким второстепенным персонажам, включая графа Монтесекко. Захудалый дворянин, он был простым солдатом из местности, прилегающей к адриатическому побережью — традиционной колыбели голодных наемников. Профессиональный солдат, продающий свою шпагу.

Росси внимательно слушал меня и что-то взвешивал, оценивал, связывал концы. Это внушало мне уверенность.

— Похоже, — объяснила я, — чтобы покончить

с колебаниями Монтесекко, заговорщики устроили ему встречу в Ватикане с самим Сикстом Четвертым. Предположительно, графа убедила именно беседа с понтификом.

— Если это верно, то Папа присоединился к заговору, но не был его вдохновителем.

— Как раз об этом я и подумала. Есть еще кое-что. Когда Монтесекко спросил, как и какими средствами они собираются осуществлять этот план, те отделались общими словами о могуществе фамилий Сальвиати и Пацци. Но именно в этом месте несколько страниц отрезано.

— Вероятно, там упоминались имена участников, которые нужно было скрыть любой ценой. Не исключено, что на этих страницах был назван истинный творец заговора или кто-нибудь очень высокопоставленный.

— Но кто мог стоять выше Папы или Фердинанда, короля Арагона, Сицилии, Сардинии и Неаполя? А ведь они оба названы. Нет, — убежденно заявила я, — думаю, там говорилось не о ком-то высоко стоящем, а о том, кто был близок к семейству Медичи, — например, о Федерико Монтефельтро. Подумайте: это ведь единственное объяснение. О связях Монтефельтро с Ватиканом стало известно, когда Сикст Четвертый возвел

Урбино в ранг герцогства. И потом, свадьба родного племянника Папы с дочерью Монтефельтро, которой этот брак, кажется, был так же не по вкусу, как и ее отцу. Но и это не объясняет всего. Одно лишь желание поставить Урбино вровень с могущественнейшими державами полуострова, по-моему, не могло толкнуть герцога на поступок, слишком многим грозивший ему самому, его семье и всем, кто полагался на него. Тут кроется что-то еще — возможно, один из тех личных мотивов, в которых не признаются. Но какой — не имею ни малейшего представления.

Профессор посмотрел на меня искоса и не без гордости — или мне показалось?

— Ты выдвигаешь много догадок, Анна, и догадок обоснованных. Ты умная девушка, но будь поосторожнее со своими предположениями. Не поддавайся движениям сердца, проверяй гипотезы логикой, придирчиво смотри на данные. Если не находишь мотива, ищи его, сопоставляй разные версии и не считай их окончательными, пока все не сойдется.

— Я стараюсь, — скромно заметила я.

Профессор отставил локти назад и начал вращать головой, словно у него болела шея. Он устал, подумала я, уже почти полдвенадцатого, у него

был такой тяжелый день — даже два дня, считая со вчерашнего утра, когда его доставили в больницу.

Я упрекала себя за бесчувственность. Когда я поглощена чем-то, то забываю об остальном.

— Простите, Джулио, уже поздно, и я слегка утомилась, — сказала я, чтобы ему самому не пришлось прекращать наше бдение. Для хозяина это должно быть болезненно, учитывая строгие флорентийские нормы вежливости. — Мы можем продолжить завтра утром, если вы не против.

— Конечно, — проговорил он еле слышно и поднялся с дивана.

Выйдя из библиотеки, он вернулся через пару минут со стопкой чистого белья. Взгляд его сделался отсутствующим, будто он забыл о чем-то и теперь старался припомнить. Затем Росси провел меня наверх, в комнату для гостей, и показал, где ванная. Мы прошли мимо застекленного балкона с полукруглой рамой, оплетенной кистями глициний. Одно стекло было выбито грабителями. По спине у меня пробежала дрожь, словно оттуда потянуло холодом. Стекольщики — народ занятой и всегда тянут с заменой. Я увидела, что профессор, скосив глаза, наблюдает за мной, и попыталась изобразить на лице уверенность.

Мне совсем не нравилась эта дырка рядом с комнатой, где мне предстояло провести ночь, но я и бровью не повела, продолжая шагать твердо. Не может же нам до такой степени не везти, чтобы воры опять забрались в дом. К тому же если они забрали все, что хотели, то зачем возвращаться?

— Спокойной ночи, — сказал профессор на пороге и погладил меня по голове, словно ребенка, которого отправляют спать.

Я подумала, что он относится ко мне как к маленькой девочке, внушающей нежность и порой даже обожание: как он смотрел на меня, говоря о моей работе… Может, он считает меня умной, но не видит во мне женщину. Я вспомнила студентку, что подошла к нему после лекции, юную Мата Хари в мини-юбке и черных колготках. Встань я на такие же каблуки, я свернула бы себе шею, не пройдя и двух шагов. В сущности, размышляла я, мама права: у меня слишком расхристанный вид, и, кроме того, я слишком худа. Чувственные женщины выглядят по-другому. Совсем по-другому.

— Спокойной ночи, — ответила я тонким голоском, прижимая к груди простыни, и закрыла дверь.

Комната была не очень большой, но мне понравилась высокая кровать, накрытая бежевым

пуховым одеялом, подобранным в тон к цвету стен. На столике возле кровати лежали несколько книг по фотографии. Обставленная скромно, хоть и со вкусом, комната показалась мне безликой. Но, устроившись получше, я обратила внимание, что на стенах нарисованы желтые уточки, и вспомнила про девочку на трехколесном велосипеде.

Я потушила свет и посмотрела в окно, где ночной ветер слегка шевелил верхушки кипарисов. Фонари, стоявшие по углам дома, и Венера в конце аллеи придавали саду романтически-заброшенный вид. Спать не хотелось. Всегда одно и то же: перед сном я прокручиваю в памяти весь день, забираю его с собой в кровать, как ребенком брала блокнот с квадратными листками и цветные карандаши. Все, что со мной случилось, обретает смысл лишь в этот момент, когда я лежу, отдавшись свободному течению мыслей. Будь я писателем, я бы сочиняла именно в эти минуты, чувствуя себя одинокой и защищенной, полулежа в постели с ноутбуком на коленях. Но в тот вечер я не собиралась писать книгу или дневник, не думала ни о каких заговорах — моими мыслями владел человек, о котором я знала слишком немногое, высокий и серьезный, с

хриплым голосом, человек, который временами, казалось, доходит до предела опустошенности, а иногда способен создать целый мир одной только улыбкой. Необыкновенный; вероятно, полный сомнений; возможно, отчаявшийся; человек, который со всеми своими тайнами спит в комнате на другом конце коридора.

Я взглянула на часы с зелеными фосфоресцирующими цифрами, слабо мерцавшие на столике: без десяти минут полночь. Листья глицинии, обвивавшей фасад, освещались лунными отблесками — ни дать ни взять серебристые рыбки в пруду. Во рту у меня было сухо, как если бы я весь день болтала без передышки. Я снова надела джинсы, натянула белую блузку, которую бросила у кровати, осторожно открыла дверь и на цыпочках спустилась в кухню за водой. Спокойствие ночи, лунное сияние и тишина навевали какие-то особенные мысли.

Босиком я вошла на кухню. Кафельные плитки и дверцы шкафчиков отражали свет фонарей из сада. Я открыла холодильник. На полу возник желтый треугольник, раздалось негромкое гудение, под которое я выпила стакан воды. Пробираясь на обратном пути через вестибюль, я заметила, что из-под приоткрытой двери биб-

лиотеки просачивается слабый свет, и увидела, подойдя ближе, профессора, сидящего в полумраке. Его лица не было видно — я различала только спину и голые руки: профессор снял свитер и остался в футболке с коротким рукавом. Он уронил голову на руки, зарывшись пальцами в волосы. Дыхание его, как мне показалось, было неестественным — так дышат диафрагмой, чтобы перетерпеть боль или вернуть самообладание.

— Джулио, с вами все в порядке? — Я могла не нарушать его мужского одиночества, однако нарушила.

Вздрогнув, он обернулся ко мне, но тут же улыбнулся.

— Никак не заснуть, — объяснил он.

Никогда не знаешь, каким образом твои мечты воплотятся в жизнь. В сущности, мечты сами творят действительность. Внезапно я осознала, что он поднялся с дивана, стоит напротив и странно глядит на меня. Плечи его как будто вздрогнули. Пару секунд спустя я поняла, что он распахнет объятия, и еще поняла, что я брошусь к нему не раздумывая. Он протянул руки, все еще не смея обнять меня, скорее в удивлении, чем в нерешительности, а потом прижал меня к себе, и я ощутила бешеный ритм его сердца сквозь

тонкую ткань футболки.

Он уткнулся лицом мне в шею, будто неожиданно вспомнил о своем возрасте или захотел спрятаться из отвращения к собственному телу. Тогда я положила руки ему на затылок и заставила поднять голову. Он смотрел на меня без улыбки, с обезоруживающей серьезностью.

Видеть его лицо так близко было непривычно. Брови выглядели еще рельефнее, подбородок — более заостренным и волевым, морщины вокруг глаз словно сделались глубже. Мне почудилось, что передо мной — другой человек, старше, но намного привлекательнее, на лице его написаны желание и покорность судьбе, и я совсем потеряла голову.

Я чувствовала себя Венерой, господствующей над пейзажем. Венерой Медичи. Интересно знать, сколько раз он проводил пальцем по теплому мрамору статуи: изгиб бедра, немного выпуклый живот, грудь — как раз по его руке, плечи с едва заметным contrapposto[20], потом шея, высокий лоб… и то же самое он делал со мной, не отваживаясь на большее, точно хотел изваять меня, и только. Тревожная перспектива для мужчины пя-

[20] Примечания: 20

Положение фигуры, при котором на одну из ног приходится основная тяжесть тела, из-за чего плечи слегка перекашиваются *(ит.).*

тидесяти с лишним лет — тело любой женщины, увиденное в этом ракурсе, увеличивается, как и статуя. С той разницей, что женщина не статуя, и все усложняется. Но нет, подумала я, тут не одно лишь эстетическое переживание. Он ведь живой, даже если боится.

Мне отчетливо передавалось биение его пульса в висках, я самым явным образом ощущала его возбуждение сквозь ткань брюк. Возможно, он стыдился эрекции, считая, что она ему не по возрасту, и к тому же — распаляться, когда девушка годится тебе в дочери и вдобавок еще учится… Нет, он был не из таких, он никогда не волочился за молоденькими.

Я видела, как все эти мысли одна за другой приходят к нему, как он становится раздосадованным, растерянным, пытаясь навести порядок в своей голове или, скорее, найти непростое равновесие между мыслями и желанием.

Он попробовал осторожно поцеловать меня, как подростка, легонько и неприветливо. Я встретила его приоткрытыми губами, чуть подвинула вперед бедра, прижавшись к нему животом и грудью, приноравливаясь к нему, ведя его… и тогда он полностью преобразился. Теперь он смотрел на меня с какой-то отрешенностью. Губы

не касались аккуратно моих губ, а жадно искали их в надежде на убежище, словно воздух обжигал их, я ощущала жар его прерывистого дыхания и прикосновение жесткой щетины — времени побриться не нашлось, — слышала нетерпеливый стук зубов, облизывая его подбородок, нос и веки. Одной рукой он пытался расстегнуть мою блузку, другой обхватил за талию, и мы, обнявшись, в темноте кое-как поднимались в его спальню, останавливаясь на площадке, чтобы крепче прижаться друг к другу, прислоняясь к деревянной обшивке стены, шатаясь, снимая друг с друга одежду — его футболка осталась на ступеньке, мой пояс упал на пол, джинсы оказались расстегнуты.

Мы ничего не говорили, не веря в сплетения слов, объятые жаждой, не оставлявшей места для промедления или нежности, — упавшие на лоб волосы, влажный рот, поиски друг друга вслепую, с вызовом. Это было не натиском или грубым насилием, не радостным желанием каждого отдаться и до конца принять другого — скорее что-то вроде игры «я — луна, ты — солнце», как в старинных легендах, где луна никогда не показывает лица, что-то от древних мифов и церемоний, встреч и расставаний в лабиринте, куда он вхо-

дил, неистово пересекая тонкую грань между наслаждением и болью, а я говорила «нет», выгибая тело вперед и заставляя его войти снова, пока он не чувствовал, что мне больно, и тогда я говорила «давай», но тут уже он выходил из меня, словно в изнеможении.

Не осталось ни имен, ни возраста, ни стыда. Мы были не во Флоренции и не в любом другом городе, а среди судорог наших тел, на мокрых от пота простынях. Я крепко обхватила его ногами за спину; тело его изогнулось, сухожилия на шее резко обозначились, дыхание было шумным, зубы сжаты. Он умерял свой порыв и тем самым преподносил себя, как дар, — так, будто силы его заканчивались, верх наслаждения был уже близок, но он не хотел сдаваться. Я тоже не желала доходить до предела, но не обладала его настойчивостью и опытом, и стонала, точно и вправду собиралась умереть, пока не почувствовала, что открываюсь изнутри, разделяюсь надвое, как река, что распадается на рукава, не в силах больше сдерживаться. Сейчас, говорила я, едва не теряя сознание. Сейчас, жадно вскрикивал он, вонзая пальцы мне в спину, подчиняя своему ритму, с лицом, искаженным от ожидания. Сейчас, сейчас, сейчас, — повторял он, задыхаясь, двигаясь

все быстрее, снова и снова шепча мне на ухо мое имя, будто призывая меня. И тогда я назвала по имени его, всего один раз — Джулио — громко, прерывисто, голос мой перешел в жалобный стон, прервавшийся от наслаждения, и в меня полилась вязкая жидкость, и я спрятала лицо у него на шее, чтобы не видеть страданий того, о чьей жизни я ничего не знала, и, пожалуй, лучше мне было о ней не знать.

Наконец наступил покой. Он по-прежнему лежал на мне, обессиленный, дыша все ровнее и ровнее, не желая покидать мое тело, понемногу приходя в себя, как человек, не спешащий вернуться к действительности — лучше побыть еще пару минут без сознания, — чувствуя мои краткие непроизвольные конвульсии, и биение его сердца все еще отдавалось у меня внутри.

— Как ты припозднилась! — сказал он, проведя пальцами по моему лицу, и погрузился в молчание, со странным выражением, как будто слегка раскаивался за сказанное им, как будто эти слова вырвались сами, как будто все слова жили собственной жизнью в каком-то неведомом месте. Может быть, в полумраке сказать их было легче.

———

Слова, которые что-то значат, которые нужно сказать, которые запомнятся, — таких единицы. Я не услышала от него «люблю тебя» или, скажем, «любовь моя» — ни одной из фраз, что обычно произносят в постели. «Как ты припозднилась!» — и все: это могло означать что угодно, но звучало хорошо. В этих словах было осознание истины или красоты, не знаю даже, как объяснить. Я понимала, что сказать такое нелегко. Мне это нравилось. Очень нравилось.

Еще мне нравились морщины на его лице, загадочные, как бороздки на стволах деревьев. Все, что было отражением прожитых лет, делало его еще желаннее: сипловатый усталый голос, плечи, еще крепкие, но утратившие часть своей силы за последние годы, густые подбритые волосы, серебристые виски, и главное — его взгляд, взгляд немолодого мужчины. По тому, как человек смотрит, можно понять, как он мыслит, каковы его отношения с миром. Его взгляд был вестником смертельной опасности — опасности того, что этот человек станет мне насущно необходим.

И вот мы оба улеглись на спину, наблюдая через окно за ночным садом, и между нами возникло

что-то, похожее на нежность. Луна в обрамлении плетей глицинии казалась мне отличным символом великолепной ночи. Я положила руку ему на бедро — и вдруг белая вспышка резко вырвала из темноты наши обнаженные тела. «Прожектор», — подумала я, но потом поняла, что это два снопа света от автомобильных фар — словно два водяных столба, поднятых смерчем. Они осветили ослепительно белые простыни, изголовье кровати, раскладной диван перед окном, обшарили все углы и исчезли. Это продолжалось несколько секунд — достаточно, чтобы поверить в реальность происходящего. Не больше. Потом — темнота. Я хотела сразу же встать, но он удержал меня, прижав к губам палец — «молчи». Потом донесся шорох шин по гравию и рокот мотора — автомобиль спускался по холму. И только услышав эти звуки, я испугалась.

— Спокойно, — сказал Джулио, — они уехали.

XXIV

Лоренцо Медичи насторожился не столько от звука, сколько от дрожи — свет, проходя через стекла, странным образом трепетал, точно стая вспугнутых голубок. Великолепный инстинктивно обернулся, и в этот миг Антони Маффеи схватил его за плечо, чтобы ударить в живот венецианским ушастым кинжалом. С другой стороны Стефано ди Баньоне хотел было погрузить клинок в шею Лоренцо, но тот изо всех сил рванулся вперед — плащ соскользнул с плеч — и оказался лицом к нападающим, сжимая в руке меч. Хотя двигался он очень быстро, а все же не смог уберечься от кинжала, оставившего глубокий порез под правым ухом. Из раны обильно лилась кровь, но Лоренцо отражал атаки священников, пока не подоспели его люди и не открыли путь к отступлению. Перепрыгнув через деревянные перила, он добрался до хоров, но тут из бокового нефа навстречу ему выбежали убийцы Джулиано во главе с Пацци; среди них было немало наемников-перуджийцев с мечами и в шлемах. В схватке был смертельно ранен в живот Франческо Нори,

друг Лоренцо, а юноше из дружественного Медичи семейства Кавальканти сильнейшим ударом отрубили руку. Кто-то сказал в тот день, что кровь флорентийцев оказалась не красной, но черной.

Собор сделался пристанищем теней. Пьерпаоло Мазони с истерзанными глазами сидел на полу, прислонившись спиной к гладкому пилястру, и его связывала с жизнью лишь тонкая нить сознания, которая могла оборваться в любой момент. Он делал невозможное, чтобы сохранить ясную голову, из страха умереть, не завершив свои дела в этом мире. С искаженным лицом и синими веками, он дышал бурно, как умирающий зверь. Таким и нашел его Лука: художник к тому времени уже готов был сдаться.

— Маэстро! — воскликнул мальчик, видя, как учитель сидит на полу и не узнает его.

Он положил на глаза Мазони влажный платок, чтобы облегчить его страдания, но тот знал: от порошка, брошенного его врагом, нет противоядия. То была едкая смесь серы и мальты, полужидкого битума: задолго до членов тайных обществ ее применяли воины Митридата, царя Понтийского, против римских легионеров. Мальчик не сразу привык к темноте и не сознавал, что его учитель совершенно ослеп. Он понял это лишь тогда,

когда художник позвал его сдавленным, словно шедшим из глубочайшего мрака голосом — эхом из загробного мира.

— Подойди. — Мазони напрягался как мог, чтобы говорить внятно.

Лука стал на колени рядом с ним, словно послушный сын, и навострил уши. Но услышанное из уст учителя было не долгожданной великой тайной, а приказанием — столь же строгим, сколь и загадочным.

Мальчик уже знал, что «Мадонна из Ньеволе» заключает в себе некий секрет — некую исповедь, знал, что она как-то связана с книгами, что хранятся, запертые на ключ, в спальне художника. Однако он никогда не подозревал, что картина может иметь отношение к государственному преступлению, которое совершалось под огромным куполом храма — святыни всего христианского мира.

Лука мигом вспомнил один из первых разговоров с художником, вскоре после своего прибытия во Флоренцию. Мальчик хорошо помнил его — тогда он узнал, что существует труд Аристотеля «О причинах», переведенный доминиканским монахом Августином из Перуджи, та книга, миниатюры в которой не раз навевали Луке страшные

сны. В ней утверждалось, что, если раскрыть слишком много тайн природы и искусства, сломается небесная печать, и это повлечет за собой тяжкие бедствия.

— Значит, вы не желаете, чтобы красота и мудрость стали всеобщим достоянием? — не без лукавства спросил он учителя, рассчитывая прижать того к стене.

— Не истолковывай мои слова превратно. Ты прекрасно знаешь, что я хотел сказать не это. Я всего лишь говорю, что, если художник причастен к тайнам, способным вызвать благие и дурные последствия, он имеет право и даже обязан прибегать к секретному языку, понятному только таким, как он. И прежде всего — оберегать свои творения от тех, кто может воспользоваться этими орудиями духа для расширения своей земной власти и утоления жажды господства.

Этот разговор мелькнул в памяти мальчика, пока тот пытался понять смысл приказа. Куда ни шло — сжечь «Мадонну» или препоручить ее заботам маэстро Верроккьо: с его опытом, со множеством друзей в Тоскане и за ее пределами, он мог спрятать картину в надежном месте. Но зачем отдавать ее Леонардо, сумасброду и шутнику, тратящему время на ненужные поделки

вместо выполнения заказов? Будь еще он другом, хотя бы приятелем Мазони, — тогда ладно. С самой первой встречи Лука видел в Леонардо лишь тщеславного, надутого франта, который аккуратно укладывает волосы, носит короткие розовые туники, яшмовые перстни и сафьяновые башмаки. Против воли Лука признавал, что Леонардо мастерски владеет кистью, но от этого неприязнь только усиливалась. Мальчика кольнула обида — почему учитель доверяет судьбу картины молодому ученику, а не ему, Луке? Но он склонил голову и подавил в себе оскорбленную гордость.

— Мне ничего не надо делать? Вы уверены? — только и осмелился спросить он.

— Нет, Лука, лучше тебе не вмешиваться в эти дела. Это старые счеты, которые я должен свести. — Голос Мазони немного прояснился, словно приход мальчика вдохнул в него бодрость.

— Это вы про герцога Урбино, ведь правда? — Голос Луки звучал так, точно он сделал великое открытие. — Всем известно, что вы работали при его дворе.

— Да неужели? — Повернувшись к мальчику, Мазони попытался скривить губы в ухмылке, словно сочувствовал его простодушию, но лицо его не выглядело насмешливым: скорее казалось,

что художник углубился в воспоминания, думая о том, что и он когда-то был юным и простодушным, и сожалея — не о том, что был им, а о том, что перестал быть. Затем он продолжил снисходительным тоном: — Итак, я имею серьезные основания полагать, что именно он стоит за всей этой бойней. И я уверен, что им двигают не одни политические соображения. Поэтому очень важно, чтобы моя «Мадонна» никогда не попала ему в руки. Тебе понятно?

— Нет, непонятно, — Лука нахмурился, — но я сделаю все, как вы велите. Сейчас не время препираться.

— Хорошо, мой мальчик. — Подобие улыбки на губах Мазони превратилось в гримасу боли. — А теперь беги.

— Кто-то ведь должен рассказать Лоренцо Великолепному о ваших подозрениях, — настаивал тот, желая хоть как-то поучаствовать в этом деле.

— Бога ради, Лука, мы даже не знаем, жив ли он. А если жив и сумел выпутаться, то не пойдет против своего союзника без веских доказательств.

— Но если все так, как вы говорите, есть же хоть один свидетель его преступления…

Художник двусмысленно улыбнулся. На лице

его больше не отражалась боль — лишь бесконечная усталость.

— Федерико да Монтефельтро, пожалуй, самый коварный и самый начитанный из всех известных мне людей.

Мазони задумался на миг, вспомнив открытую только избранным библиотеку Урбино и сельский дом, где имелось все для работы: подставки, перочинные ножи разных размеров, больше двух десятков флаконов со всеми мыслимыми видами чернил. В те годы библиотека герцога Урбино была самой богатой на полуострове, богаче даже той, что собрали Медичи, и там хранились удивительные рукописи — герцог привез их из Колхиды, страны, куда заплыли Ясон и аргонавты в поисках золотого руна. Кроме того, Монтефельтро владел превосходным собранием политической и дипломатической переписки — одним из крупнейших в то время. Кто мог догадаться, что именно библиотека герцога изобличит его спустя века?

Художник провалился в полусон и бормотал что-то бессвязное — Лука не мог разобрать слов. Но всплеск боли быстро вернул его к действительности: боясь, что не продержится долго, он велел мальчику поскорее выполнить поручение.

— Я пообещал сделать все, как вы велите, но прежде я вытащу вас отсюда, — заявил он с решимостью, какой ни разу не выказывал за девять месяцев службы у Мазони.

С огромным трудом он взвалил учителя на плечи, словно мешок с песком, а затем пошел вдоль бокового нефа, прижимаясь к стене, нащупывая ногами твердый камень, увертываясь от людей, что проносились навстречу, стараясь пройти незамеченным среди схватки, впрочем, каждый был слишком занят спасением собственной шкуры, чтобы обращать на них внимание.

Какой-то монах с голым черепом, в окровавленной одежде, возглавлявший кучку людей, обернулся к своим приспешникам, потрясая кинжалом, и громогласно объявил: «Смерть флорентийскому тирану!»

Для мятежников наступил решающий час: останься Лоренцо в живых, это означало бы провал заговора и веревку для всех. Напор атакующих становился все сильнее. «Долой шары!» — кричали они: на гербе Медичи красовались шесть шаров. «Смерть предателям!» — отвечали сторонники Лоренцо, изрубленные клинками, со свежими ранами на груди и руках: мужество их не иссякло, но изнеможение уже близилось.

И тут один из капитанов, верных Медичи, повел своих людей в северную ризницу — она называлась «ризница обеден» — туда, под источенный термитами наборный потолок, им удалось перенести раненых. Среди лязга железа и неразберихи приказов все труднее было различать своих и чужих. Дверь ризницы закрыли на железный засов и принялись считать потери. Молодой Франческо Нори только что испустил дух под распятием, одиноко висевшим на стене. Лоренцо Медичи с кровоточащей раной на шее приволокли на подстилке двое его людей. Опасаясь, что кинжал мог быть отравленным, они приникли губами к ране, чтобы отсосать яд. Лоренцо не потерял сознания, хотя и был очень слаб: он все время спрашивал, что с Джулиано, но ни у кого не хватило духу сказать правду.

В ризнице царило полнейшее смятение — никто не знал, что творится на улицах города. От этого гнетущая тишина становилась невыносимой. Лишь через несколько часов в большую бронзовую дверь постучали: по ту сторону толпились флорентийцы всех возрастов и сословий, желавшие оказать поддержку Великолепному. С ними был и герцог Урбино, покинувший исповедальню, откуда наблюдал за ходом событий.

Он хладнокровно предстал перед своей жертвой, разыгрывая невинность, и лицемерно предложил Лоренцо помощь, притворяясь самым горячим и преданным из всех его сторонников.

Но и тогда он не оставил надежды на осуществление своих планов.

XXV

И вот наступает худшее, подумала я. Самое сложное в любви — это пробуждение наутро. Сколько раз дневной свет, подобно кувшину холодной воды, охлаждал ночной пыл. Я открыла глаза: сквозь шторы в комнату просачивалось ясное утро, но мне чудилась в нем угроза. Я чувствовала себя как-то отстраненно, не понимая, на каком я свете. Рядом со мной была еще теплая пустота. Кажется, я слышала, как Джулио встает, сдвигает шторы, вроде бы видела, как он тихонько входит в ванную; но потом, видимо, заснула, потому что не помнила, как он оттуда выходил. В смутном замешательстве я огляделась вокруг: спальня показалась мне совсем другой, очень большой и неисследованной. На стене в рамке висела афиша выставки современного искусства в венецианском Палаццо Грасси. Прикроватный столик был завален книгами — ночью я не заметила их. Зеркало на дверце шкафа сильно меняло восприятие обстановки, как я ее запомнила. «А если я и его не узнаю, — с ужасом подумала я, — а вдруг мне не понравится, как он смотрит на

меня?» Некоторые мужчины после ночи любви видят в женщине свою собственность. Утром возвращаешься в реальность, лишенную полутонов и околичностей, и многие волшебные сказки заканчиваются.

По тому, как человек здоровается с утра, ты знаешь, чего ждать от него и чего не ждать, — точно так же, как, открывая газету, мы узнаем утреннее настроение мира. Я спустилась по лестнице с тревогой в душе, скрестив пальцы. Дай бог, чтобы он не смотрел на меня победительно, не говорил слов, способных все погубить, и пожалуйста, пусть он не лезет ко мне с убогими приторными ласками, и еще, умоляю, пусть не назовет меня Анитой. Но нет, тут же решила я, он не из таких: как спокоен он был ночью, когда фары обшарили спальню! «Это, конечно, полиция, — сказал он, увидев, как я дернулась, — инспектор Леони говорил, что пошлет своих людей для наблюдения за домом». Не знаю, так ли это было, или он просто хотел меня успокоить, но слова оказали желаемое действие, и я заснула.

Я заглянула в кухню, но никого там не нашла. На кофеварке горел красный огонек, поднос с завтраком стоял на столе: стакан сока, баночки с джемом, тосты, прикрытые белой льняной

салфеткой, — но все это лишь на одного. Решительно, я не имела ни малейшего представления о том, что за человек мой профессор.

— Джулио! — позвала я.

Тишина. Я посмотрела в библиотеке, во внутреннем дворике, вернулась на кухню и только тогда увидела записку на столике возле шкафа. На маленьком листке было что-то наспех нацарапано. Оказывается, профессора срочно вызвал инспектор Леони. Еще там был указан телефон стоянки такси здесь, во Фьезоле. Росси назначал мне встречу в пять вечера, в кафе на пьяцца ди Сан-Марко, недалеко от факультета.

Принц исчез с рассветом. Ну что ж! На это я, признаться, не рассчитывала. Я улыбнулась самой себе — насмешливо и немного раздосадованно. Так мне и надо, подумала я, вот что значит торопить события, — и кинула бумагу обратно на стол. Записка была нейтральной, чисто информативной, безличной даже в словах прощания. Но рядом с ней в высокой стеклянной вазе стояла свежесрезанная роза — первая расцветшая в саду.

Я всегда просыпаюсь зверски голодной. Восхитительный апельсиновый джем, который оставила синьора Манфреди, пришелся весьма

кстати. Я ела медленно, смакуя завтрак и восстанавливая в памяти, минута за минутой, события прошлой ночи, каждый жест, каждый взгляд, чувствуя в то же время какое-то непонятное уныние. Увы, с этим я тоже ничего не могла поделать. Встав на минуту под душ, я оделась, собрала вещи и, хлопнув дверью, пошла искать автобусную остановку. Средства не позволяли мне ехать домой на такси. Проходя мимо киоска на площади, я купила газету. Вся первая полоса была посвящена здоровью Иоанна Павла II: на фото, сделанном через окно клиники «Джемелли», Папа выглядел совсем неважно.

Теплое солнце бросало на низкие облака розоватые отсветы, которые, отражаясь, косо падали на холм, вызывая целую игру светотеней, охристых, зеленых и серых бликов. Я наблюдала за всем этим из окна автобуса «Фьезоле — Флоренция».

На виа делла Скала все было по-старому, точно за последние часы мировая ось не сдвинулась с места. Меня слегка успокоил привычный запах свежей пиццы из ресторанчика Сальваторе. Один из маленьких сыновей Симонетты сидел на ступеньках у входа с котом на руках. На двери лифта висел красный треугольник — знак поломки, а на

лестничной клетке гулко звучало радио синьора Витторио. Да, вот он, мой квартал.

Я заглянула в почтовый ящик: длинный конверт от Фонда Ручеллаи и другой, поменьше, с испанским штампом. Держа конверты в руках, я поднялась к себе, где первым делом достала из комода чистое белье, а из шкафа — красный свитер и джинсы. Сунув грязную одежду в машину, я принялась за письма. Фонд Ручеллаи извещал о том, что после 12 апреля я больше не буду получать грант, и о том, какие формальности следует выполнить, чтобы представить работу в ректорат университета. У меня оставался всего месяц. В маленьком конверте была открытка с видом островов Сиес из порта Виго. Я узнала мелкий наклонный почерк Роя. За все время моего пребывания во Флоренции он написал мне в первый раз. Первое письмо за пять месяцев. Черные чернила. Открыв холодильник, я налила себе на два пальца джина, добавила содовой и кинула побольше льда. Надо было выпить перед чтением. Ни даты, ни заголовка. Письмо гласило:

Как пишут открытки? Клянусь тебе, Анна, мне приходят на ум все эти туристы, которых мы сто раз видели на площади Кинтана в Сантьяго: сидят и надписывают открытку сво-

ей соседке. А теперь и я сижу с ручкой в руках. Все обиды, на самого себя и на тебя, прошли, осталось одно стойкое чувство одиночества. Я ночами напролет вспоминаю тебя в пабе «Дублин» и в «Чинзано»: поэмы хуже пьяной песни, официанты-философы, связи, которые рвутся, двусмысленности… Не знаю, о чем это я сейчас, Анна. Наверное, о прощении и о расстоянии — километры и километры, как ты хотела. О тебе и обо мне, о том, как нелепо обмениваться колкостями и дуться друг на друга, о смертельных ранах — одиночестве, дожде и дорогах. И о самом главном сегодня: мне не хватает твоего тела и твоей улыбки.

Как поразительна жизнь, подумала я. Месяцами я страстно желала услышать, прочесть что-нибудь подобное, я отдала бы что угодно именно за эти слова, еще десять дней назад они взволновали бы меня, а сейчас были как просроченный билет. Слишком поздно. Прощение приходит слишком поздно. Я посмотрела на влажное пятно на потолке — прямо над кроватью. Том Уэйтс заканчивал петь «In Between Love», четвертую композицию из сборника «Early Years», но это была последняя уступка ностальгии, которую я себе позволила. Я встала, пошла в ванную, открыла кран с холодной

водой, подождала секунду и горстями стала лить воду на лицо и шею. Если хочешь успокоиться, нет ничего лучше холодной воды.

После этого я бодро села за стол, включила компьютер и заколотила по клавишам как сумасшедшая. За тридцать три дня, и ни днем больше, мне надо закончить диссертацию, и терять время нельзя. Прежде чем сосредоточиться на работе, я набрала номер мастерских Уффици и попросила позвать Франческо Феррера. Надо было кое-что прояснить насчет «Мадонны из Ньеволе» — я не переставала ходить кругами вокруг нее. Тогда, в больнице, Феррер мимоходом упомянул об одной особенности композиции, которую я поняла не до конца. Но его секретарша сказала, что реставратор утром не вышел на работу. Видимо, решил задержаться на день в Пистойе, подумала я, не придав этому значения.

Утро и день я провела за клавиатурой, не сделав даже перерыва на обед, лишь проглотила сэндвич с овощами и зеленью, не отрываясь от экрана. Работа, кроме того, была лучшим средством ни о чем не думать и подавить волнение перед назначенной на пять встречей с Росси.

Я слово в слово перенесла в свой текст

«Coniurationis commentarium»[21] Полициано — его версию событий вплоть до того, как верные семейству Медичи люди во главе с самим Лоренцо покинули ризницу собора, где прятались, и решили искать надежного убежища во дворце на виа Ларга. В тот день вся Флоренция была охвачена этим полумолчанием-полушепотком, который предшествует массовым выступлениям, и беспорядки начали шириться. На всех углах стояли группы вооруженных людей, гудели колокола, городские ворота закрыли. Некоторые заговорщики попали в собственную ловушку, спрятавшись внутри правительственного дворца, в помещении Канцелярии. Им не дали выйти, задвинув засовы и щеколды. Между тем многие горожане устремились на укрепленную галерею самой высокой из башен, чтобы защищать правительство Флоренции. Мирный до этого город ощетинился оружием. Набат над дворцом правительства звучал не переставая, и новость о покушении на Медичи распространилась по всей Тоскане.

Пока я писала это, зазвенели колокола церкви Оньисанти, напомнив мне о времени. Под

---

[21] Примечания: 21
«Заметки о заговоре» *(лат.).*

ложечкой у меня засосало. Я причесала волосы, наложила чуть-чуть блеска на губы и карандашом аккуратно провела очень тонкую линию вокруг глаз. Затем я сунула ноги в красные баскетбольные туфли, надела летнюю куртку песочного цвета со множеством карманов и погляделась в зеркало в ванной, как бы прикидывая свои возможности. Лучшая улыбка во всей Флоренции, рот, правда, великоват, но это ладно, у Джулии Робертс тоже большой рот, и никто ее за это не бьет по голове. Самые белокурые волосы. Самые мечтательные глаза. Самое счастливое тело — есть тела и лица, выражающие счастье. Тела и лица: не слова, не молчание, не движения души. Человек может считать себя удачливым, полагать, что жизнь ему улыбается, что у него есть положение в обществе, «БМВ», пляжный дом, кредитные карты… но, глядя каждый день в зеркало, он, возможно, скоро обратит внимание на свое печальное и покорное лицо — лик косности. А можно умирать от отчаяния в студенческой квартирке на виа делла Скала, рядом с телефоном, молчащим целый день, потом войти в ванную и понять, что на твоем лице — неизбывная печать счастья или, по крайней мере, иронии, насмешки над собой, над всей этой ситуацией, в которой ты

оказалась, напоминающей не то детектив, не то даже триллер, над историей плаща и кинжала, мерцающей на мониторе, меж тем как за окном, четырьмя этажами ниже, бурлит жизнь: весенний ветер, уличное движение, облупленные стены с гипсовыми статуями Богородицы, отели в бывших монастырях, мастерская по ремонту мотоциклов, через дверь которой то и дело проходят кошки, арабские мальчики в интернет-кафе, сады на задворках домов, дворы, заваленные шинами, и вдали горизонт, сливающийся с волнистой поверхностью реки. Река была темно-зеленой, с прожилками — серыми и насыщенно-охристыми, почти красными, как кровь, пролившаяся в Арно апрельским днем 1478 года.

Я пришла на площадь за несколько минут до пяти. Кафе были полны парочек. Подростки в спортивных джемперах с капюшонами и заниженных джинсах сидели кружком между скамеек, передавая друг другу сигарету и громко смеясь.

«Таберна ди Тонино» располагалась как раз напротив монастыря: длинный зеленый навес, металлические стулья. В эпоху Возрождения тут заканчивался город, в домах по эту сторону площади были казармы и конюшни. Медичи

держали здесь своих львов, слонов и жирафов.

Я попросила большую чашку «американо» и сидела, расслабившись, пока ровно в пять со стороны виа Рикасоли, от Академии изящных искусств, не появился профессор Росси, небрежно, как всегда, одетый: белая рубашка, галстук, брюки в складку, слегка потертые на коленях, дымно-серый вельветовый пиджак и широкий шарф, очень приятного бледно-голубого цвета. Посмотрим, что он скажет, подумала я, когда он оказался рядом со столиком, чисто выбритый, с лицом, как бы высеченным заново. Он мне показался не таким, как вчера, — моложе, и в движениях его замечалось нарождающееся беспокойство. Я искоса смотрела, как он засовывает руки в карманы, пытаясь совладать с внутренним волнением, которое, видимо, терзало его не меньше, чем меня. Прошли две-три невыносимо долгих минуты. Он не произнес ни слова, но взгляд его говорил: «Мне нужна только ты». Затем лицо его, как обычно, прояснилось от застенчивой улыбки, он пожал плечами самым естественным образом, положил папку с бумагами и книги на стол, отодвинул стул и снял шарф; все движения были рассчитаны так, что дистанция между нами не была ни нарочито большой, ни излишне

интимной — как при первых встречах.

К счастью, в следующие несколько минут все утряслось. Профессор заговорил без перерыва, подробно рассказывая о визите к инспектору Леони.

— Он спрашивал о тебе, — сообщил мне Росси, сделав первый глоток из чашки.

— И что ты ему сказал?

Он поглядел на меня весело и удивленно, с ласковой насмешкой во взгляде, чуть покачивая головой.

— А ты как думаешь?

Как и всегда, он сидел на стуле косо. Я отметила про себя, что его лицо нравится мне как в профиль, так и анфас: впалые щеки с двумя глубокими морщинами, большой прямой нос, внимательный, как у орла, взгляд, который я с самого начала сочла чем-то особенным; вдобавок он менялся в зависимости от погоды, времени суток и года. Сейчас этот взгляд достигал необыкновенной силы. Профессор смотрел на меня, сидя вполоборота, закинув ногу на ногу, согнув спину и опершись подбородком на ладонь.

Из рассказа о встрече с инспектором я сделала вывод, что полиция связывает это дело с нелегальной торговлей предметами искусства. Леони

не стал выражаться открыто — как и подобает читателю Павезе, — но было ясно, что для него эта история имеет прямое отношение к пропавшим дневникам Мазони. Правда, ни профессор, ни я не могли понять интереса к обычным тетрадям с заметками, цена которым на черном рынке никак не выше ста тысяч евро — сумма ничтожная по сравнению с астрономическими оборотами в этой сфере.

Слушая, я вспомнила, что, когда разговаривала с инспектором на Корсо деи Тинтори, он упоминал какую-то антикварную лавку, куда часто заходят коллекционеры и агенты аукционных домов.

— А ты помнишь название? — спросил профессор.

— Нет, но помню, где это. Кажется, рядом с Немецким институтом, на виа ди Санто Спирито.

Взгляд Росси был красноречивее любых слов.

— Ты подумала о том же, о чем и я?

Полчаса спустя мы уже шли быстрым шагом по виа ди Санто Спирито, перейдя реку по мосту Тринита. Машин попадалось немного, к тому же часть улицы была закрыта на ремонт. Двое загорелых рабочих, суетившихся возле бочки со смолой, окинули нас долгим взглядом — сперва

меня, довольно нагло, потом Росси, испытующе и с преувеличенным любопытством, словно прикидывая, достоин ли он меня. Мы довольно долго безуспешно искали лавку и вдруг случайно наткнулись на нее. Дверь была открыта, внутри в свете люминесцентных ламп виднелись очертания вещей, чем-то напоминавших скульптуры Пикассо из железных обрезков: деревянные балки с металлическими накладками, старые инструменты, хлебные лопаты, выцветшие пояса из ткани. Профессор кое-как сделал несколько шагов среди этой рухляди.

— Добрый день! — сказал он громко, но ответа не последовало.

В другом конце помещения имелась лестница наверх. Судя по всему, мы вошли с черного хода. Даже на ступеньках лежали какие-то коробки и прислоненные друг к другу тюки. На площадке лестницы в кресле-качалке сидела пожилая женщина, вязавшая чулок. Она объяснила, что нужно обогнуть здание и зайти через главный вход на виа Маффиа. «Ну и названьице! — подумала я. — Подходящее для грязноватых делишек».

С той стороны магазин выглядел совсем иначе. Предметы в идеальном порядке лежали в витринах: камеи, старые ручки, монеты, серебряные

дарохранительницы, медальоны, фарфоровые чайные сервизы. В глубине виднелись кожаные коробки, стянутые ремнями, и металлические чемоданы, но не заметно было ни картин, ни старинных вертепов, ни манускриптов. Продавец не препятствовал нам бродить по всему магазину, но при этом не терял нас из виду. Это был мужчина лет шестидесяти с очень густыми бровями, в сером халате, бдительно следивший за нами из-за прилавка.

— Мы бы хотели знать, просто из любопытства, какова примерная продажная стоимость кодекса пятнадцатого века, — доверительным тоном спросил профессор, подойдя к нему поближе.

— По-разному, — ответил тот, — нужна экспертиза. Но мы в любом случае не работаем с таким товаром. Как видите, — он обвел помещение рукой, — у нас только декоративные изделия.

— Ясно… — разочарованно протянула я. — Ане знаете, куда мы могли бы обратиться с таким вопросом?

— Сначала нужно знать, что у вас за кодекс.

— Ну, на самом деле это тетради с заметками из частной коллекции, всего три штуки, — решилась я.

Глаза Росси метали в меня молнии — похоже,

он счел такую стратегию неуместной и рискованной.

Но она сработала. Антиквар с удивлением взглянул на меня, точно я открылась ему с новой стороны.

— Пррррррр! — именно такой звук он издал, зажав губы между большим и указательным пальцами. — Даже не знаю… есть один монах-доминиканец из Патроната святого Марка Попробуйте обратиться к нему.

— Это музей в самой старой части монастыря, построенной по приказанию Козимо Медичи, — объяснил профессор.

Но я не нуждалась в объяснениях, прекрасно зная, что дед Лоренцо затеял это строительство для того, чтобы приютить доминиканцев из Фьезоле.

— Туллио — кажется, так его зовут. Туллио Роланиа, — продолжил антиквар. — Отличный глаз и шестое чувство, очень полезное для такого занятия. Раньше многие коллекционеры заказывали ему экспертизу, но он давно оставил это дело. Сейчас он живет в небольшом сельском приходе, недалеко от Артимино. Кое-кто все еще приезжает к нему, по личной договоренности. Правда, работает он все меньше и меньше. — Бро-

ви продавца взлетели вверх в знак смирения с неизбежным. — Годы берут свое.

Профессор еще раз оглядел магазин, пространство между освещенными витринами: руки в карманах, взгляд хмурый, как у шахматного игрока, обдумывающего очередной ход. Может быть, он хотел выиграть время, чтобы поразмыслить и упорядочить информацию в голове. Я завязала беседу с антикваром. Речь его стала малопонятной, изобилующей невнятными намеками.

— Возвращайтесь в любое время, — сказал он на прощание с сердечной улыбкой, обнажая редко расставленные передние зубы.

Дверь закрылась за нами под звон рождественских колокольчиков, словно мы вышли из лавки Санта-Клауса.

XXVI

Таверны были закрыты, весь город казался плотно запертым на засов. Но в воздухе ощущалась дрожь, нарождающийся звук, словно шелест тысяч крыльев.

Планы заговорщиков распространялись не только на собор. Около двадцати оставшихся снаружи наемников двигались теперь по виа деи Кальцаюоло, рассчитывая проникнуть в здание правительства республики на пьяцца делла Синьория. Их возглавлял пизанский архиепископ Франческо Сальвиати, разодетый в пурпур, в расшитом золотом плаще на горностаевом меху и архиепископской митре. Это одеяние сыграло судьбоносную роль: Сальвиати уверил стражу у входа, что должен спешно вручить папское послание, и его впустили. Пока гвардейцы проверяли верительные грамоты, люди архиепископа занимали позиции в большом внутреннем дворе, между кустами жасмина, аромат которого навевал неясные предчувствия.

Но когда гонфалоньер Чезаре Петруччи протянул руку, чтобы забрать послание, Сальвиати

отступил в замешательстве, глядя в окна приемного зала и не зная, что сказать: его замысел имел единственную цель — выиграть время, пока не выяснится, удалось ли заговорщикам в соборе выполнить главную задачу. Увы, известие об убийстве братьев Медичи все не приходило.

Его выдал немигающий взгляд хищной птицы. Петруччи, почуяв неладное, обнажил свою чинкведею и велел архиепископу отойти к двери. Ни один из сопровождавших Сальвиати солдат не откликнулся на его призыв о помощи — готовя ловушку другим, они попали в нее сами, ибо заперлись в северном крыле дворца, в зале Канцелярии, который был защищен хитроумной системой запутанных коридоров и дверей с засовами. Архитекторы создали это помещение как раз таким, чтобы в нем можно было выдержать осаду.

На площади, казалось, не происходило ничего необычного, но из окон первых этажей было видно, что какие-то люди собираются под аркадами лоджии Ланци. Соседние дома были охвачены странной тишиной — и вдруг она взорвалась громкими голосами, и по улицам, по балконам — от одного к другому — полетела весть о том, что в городе случилось нечто очень важное. Тогда

гонфалоньер, окруженный приорами, приказал звонить в большой колокол на башне дворца Синьории. Под этот замогильный звон Флоренция стала готовиться к войне. Исступление, гвалт, хаос и мельтешение заполонили город. В переулках слышались топот и лязг железа, но громче всего панические крики раздавались на пьяцца делла Синьория и на прилегающих улицах. Мужчины, а за ними — женщины и дети выходили на перекрестки, чтобы задать перцу перуджийским наемникам. Люди шли, вооруженные кухонной утварью, ножами, тесаками, кочергами, швейными иглами — всем, что могло колоть или резать. Весь город высыпал на улицы, чтобы защитить правительство республики. Кое-кто добрался даже до укрепленной галереи на башне.

И вдруг людской прилив остановился, точно под действием внутренних завихрений, — в толпе поползли противоречивые слухи. Говорили, что на виа деи Проконсоло задержали сотню вооруженных до зубов людей во главе с мессером Якопо Пацци — они направлялись к правительственному дворцу. Из окон домов на мятежников летели горящие поленья, лился кипяток. Когда первые всадники въехали на площадь, к ним устремились женщины, хватая за поводья коней,

чтобы перерезать им поджилки.

Заговорщики ошиблись, решив, что дворец уже захвачен людьми Сальвиати. Они просто не рассчитывали на такое сопротивление. Солдаты и повара во главе с приорами, забравшись на башню, опрокидывали сверху бочки с кипящим маслом, так что площадь вскоре покрылась обожженными телами убитых и раненых, издающих стоны. Якопо Пацци вспомнил о предсказании капитана Монтесекко, когда в разгар битвы сообщили, что Лоренцо Великолепный вышел из собора и вместе с верными людьми направился ко дворцу на виа Ларга. Оттуда, из своей резиденции, глава рода Медичи принялся руководить одним из самых кровавых в истории городских сражений.

Пацци оставалось надеяться только на прибытие подкреплений извне, и он устремил обеспокоенный взгляд на серые городские стены — не подтягиваются ли войска, оставленные на холмах Фьезоле? Он не знал, что весть о заговоре против Медичи, разносясь от колокольни к колокольне, облетела всю сельскую Тоскану и встревоженные капитаны немедленно начали отступление, сочтя звон сигналом о провале заговора.

Поздней ночью наступил час мщения. Многие заговорщики были выброшены прямо из окон зала Канцелярии на брусчатку площади, и тела их растерзала толпа. Пизанского архиепископа повесили во дворце Синьории, вдоволь поиздевавшись над мертвецом. Центр города с благословения властей стал местом расправы, но были виселицы и на окраине, возле ворот Справедливости. Люди рвали тела зубами на клочки, водружали на пики отрезанные головы, руки и ноги, и ничто не могло смягчить их душу и отвратить от бесчинства, словно запах крови еще больше разжигал жажду мести под протяжное гудение колоколов, вызванивавших Dies Irae…

Утро не принесло мира, лишь высветив трупы, подвешенные на средниках окон. Так записал Лука в дневнике своего учителя, неотлучно находясь у его убогого ложа в «Кампане». На глазах у художника была льняная повязка. Став поводырем для слепца, мальчик описывал флорентийские улицы, где больше не соблюдались ни человеческие, ни Божьи законы, где горожане в исступлении потрясали, точно охотничьими трофеями, торчащими на пиках головами, сердцами, детородными органами.

Мальчик безотрывно писал три долгих дня и

ночи, занося в тетрадки все сведения о тайном обществе Eruca Sativa, которые учитель диктовал в редкие моменты просветления, когда его не одурманивал дым от восточных трав. Когда Лука закончил, пальцы его сводила судорога, а душа утратила невинность. Но утешало то, что и он, наравне с Леонардо, сыграет роль в этой трагедии.

Иногда ему казалось, что учитель потерял рассудок. Он сам потерял бы не только веру в справедливость, но и понятие о времени, если бы не звонившие к вечерне колокола церкви Санта-Мария-Новелла, словно окутанные туманом — таким далеким был звук. Лука подошел к окну, чтобы лучше слышать, и перед ним открылся вид на древний город: костры, проломленные крыши, изъеденные сыростью стены, обнаженные тела между ставней, трупы на виселицах, устланные непогребенными мертвецами улицы, кровь, этим бесконечным вечером стекавшая в воды Арно под беспорядочные вопли.

Когда казалось, что страшнее быть уже не может, случалось что-нибудь еще более ужасное, и многие впали в безумие, которое порой принимали за одержимость дьяволом. В переулке рядом с Санта-Кроче нашли тело семнадцатилетнего послушника, сраженного ударами кинжала в

сердце и тестикулы, а близ ворот Справедливости обнаружили адепта Черного братства, повешенного вниз головой, с обмотанной вокруг шеи власяницей. На трупе ножом мясника был сделан глубокий надрез — от паха до подмышки, справа налево.

Джованни Баттиста Монтесекко под конвоем был препровожден в крепость Барджелло, где при свечах написал полное признание, а также обращенную к Лоренцо Медичи просьбу о милосердии. Но на рассвете его в цепях привели на эшафот, где палач с двуручным мечом отсек ему голову одним ударом: наемник не успел даже понять, что происходит. Голова его смотрела недоверчиво из корзины, стоявшей у подпорки деревянного помоста.

Священникам Антонио Маффеи и Стефано ди Баньоне, убившим Джулиано Медичи, удалось бежать и найти приют у монахов-бенедиктинцев, но потом их отыскали и доставили в правительственный дворец. По пути обоих жестоко избили и искалечили, так что на виселицу они попали с отрезанными ушами и носами.

Но ничто не взволновало горожан так, как смерть архиепископа Сальвиати, задушенного и выброшенного вместе с Франческо Пацци из

окна четвертого этажа дворца Синьории. Тела одно за другим ударились о брусчатку, и тогда ужас достиг предела, доведя людей на площади до подлинного сумасшествия. Известие об этом передавали друг другу с содроганием, и оно долго еще не давало заснуть флорентийцам. Когда двоих заговорщиков душили, агонизирующий Сальвиати — то ли из бешенства, то ли совершая тайный ритуал — вонзил зубы в тело Пацци так яростно, что вырвал левый сосок и с волчьим аппетитом пожирал его, пока не умер.

От запаха крови лошади взбесились, стали крушить ограды конюшен и врываться в церкви. Ходили слухи, будто ставшие ядовитыми воды Арно вызывали пророческие видения. Некоторые монахи воспользовались всеобщим страхом, чтобы проповедовать, согласно Апокалипсису, наступление царства содомитов, идолопоклонников и человекоядцев. И действительно, на город пало проклятие: взбешенный Сикст IV объявил во Флоренции Cessatio Divinis, запретив совершение таинств и отправление служб в храмах.

Над городом моросил холодный дождь, а главный виновник всех этих бедствий отмывал свою совесть. Никому не известно, о чем думал тогда Федерико да Монтефельтро, но Пьеро делла Фран-

ческа на «Двойном портрете государей Урбино» изобразил его с трагически сжатыми губами. Вдали на картине видна серебристая река, текущая спокойно, словно тайну герцога Урбино унесли воды истории, журчание которых по мере удаления от событий становится все тише, но не может замолкнуть совсем, как не могут забыться счеты, не сведенные между живыми и мертвыми.

XXVII

На капот машины, нагретый за день, падали последние лучи солнца. Правая рука Росси, лежавшая на рычаге переключения передач, слегка дотронулась до моей худой коленки. Мне нравилось это ощущение близости: два тела рядом, в одной машине, едущей по петляющим ухабистым дорогам гористой центральной Тосканы. Мы говорили про старые монастыри, окруженные фруктовыми деревьями, которые мелькали по обеим сторонам дороги, стоя на вершинах холмов, словно часовые. Многие из них немцы во время оккупации использовали под казармы. Джулио рассказывал, как в детстве бродил по этим сухим оврагам, среди сорняков и скорпионов, ища стреляные гильзы в зарослях тимьяна и бергамота. Я представляла, как он едет на велосипеде по выжженной земле, с вещмешком цвета хаки, раньше принадлежавшим убитому солдату: мы с ним будто родились в разные столетия. Минут через сорок пять перед нами вырос указатель: «Артимино».

Доехав до площади, мы спросили о Туллио Ро-

ланиа. Похоже, все в деревне его знали. Нам не было в точности известно, что мы ищем, но наша машина остановилась на склоне холма, рядом с руинами монастыря, у часовни. То было каменное строение под двускатной крышей, с очень красивой — несмотря на скупость внешнего убранства — небольшой колокольней. Под фронтоном тянулась цепочка маленьких ломбардских арок, характерных для романских построек в Италии. Мы поставили машину у колокольни, где в оранжевом пластиковом гамаке дремал пожилой торговец сувенирами. Перед гамаком стоял лоток с медалями, распятиями, образками святой Аннунциаты и открытками с видами монастыря.

Есть места, призывающие тебя, и места, советующие не приближаться к ним. Я вышла из машины и ощутила целый букет запахов, пробудивших воспоминания. Пахло как на средиземноморских островах — мулами и пылью, лимоном и дроком, нагретыми камнями, которые омывает соленая вода.

— Мы ищем священника, — сказал профессор Росси, подойдя к лотку.

— Вы из Ватикана? — спросил продавец, вставая. Судя по всему, он ждал кого-то другого.

— Нет, — ответила я, сделав пару шагов впе-

ред. — Мы от антиквара с улицы Санто-Спирито.

Сувенирщик был толстым, с розоватым пятном на лбу, как у Горбачева. Он внимательно посмотрел на нас, а потом любезно пригласил осмотреть часовню, где, как он утверждал, замечательнее всего были фрески в крипте.

— Брат Туллио скоро подойдет, — сказал продавец, вынул из кармана большой железный ключ и открыл деревянную дверь, покрытую зеленой краской.

Изнутри пахнуло восковыми свечами и влажным камнем. Наши шаги отдавались гулким эхом. Пол был вымощен прямоугольными плитами, перед алтарем на них были нарисованы знаки зодиака. В центральной абсиде имелась ниша, отделанная золотой фольгой, со статуэткой святой Аннунциаты и мраморным алтарем, колонны которого, скорее всего, когда-то были частью древнеримской балюстрады.

— Вообще-то в это время крипта закрыта, — пояснил продавец, — но раз уж вы здесь, можете спуститься. — Видимо, его снисходительность объяснялась тем, что он зарабатывал на чаевых с туристов. — Увидите, она того стоит.

— Потрясающе, — согласился профессор Росси. — Мы с удовольствием посмотрим на фрески.

Продавец остановился перед дверкой сбоку и щелкнул несколькими выключателями.

— Свет я включил, — сказал он, — но если хотите разглядеть все получше, возьмите эту свечу, чтобы зажечь факелы. Я бы спустился с вами, но мне нужно быть там. — На лице его появилась дежурная улыбка. Я подумала, что если он в таком безлюдном месте на несколько минут оставит свой лоток, то вряд ли упустит большую выгоду, но ничего не сказала.

Воздух у подножия лестницы был тяжелым, как в колодце. Мы, наверное, были на глубине нескольких метров под землей.

— Фантастика! — воскликнул Росси в порыве энтузиазма. И был прав.

Лампы и вправду светили очень слабо, так что мы решили последовать совету продавца и зажгли четыре факела, вставленных в железные кольца на стенах. Свет проник до вершины центральных пилястр, выхватив лазурь небесного свода со звездами и золотокрылыми ангелами. Задрав головы, мы в восторге созерцали бледно-желтые лица, будто искали кого-то в толпе. Цветные туники за многие века потускнели от паров масла и дыма свечей.

— Я был в часовне и на развалинах монасты-

ря, — заметил Росси, — но не имел ни малейшего понятия о крипте.

Подземелье походило на бывшую катакомбу с очень узкими боковыми ответвлениями-туннелями, погруженными в густой мрак. Профессор зажег спичку, прикрывая ее ладонью, и углубился в один из ходов. Я не решилась пойти следом: замкнутые пространства с детства пугали меня. Поэтому я осталась в главном помещении, застегнув куртку на все пуговицы — было холодно. Прошло пять минут, шесть, семь, восемь…

— Джулио! — позвала я, но ответа не получила. Я сделала несколько шагов по тому туннелю, куда он пошел, но из-за кромешной тьмы не отважилась на большее. — Джулио! — крикнула я снова, теперь уже порядком встревоженная.

Оказавшись в этом подземелье, я сразу же ощутила какое-то беспокойство — так, словно наши шаги были легко предсказуемы или кто-то за спиной у нас знал, что мы будем делать именно это. Человек может предчувствовать события, догадываться о них. Какая-то часть нашего сознания улавливает опасность до того, как она приходит, но эта часть запрятана где-то глубоко. Дело не в том, что от страха мы воображаем бог знает что; дело в том, что наш разум, убогий человеческий

разум, отбрасывает эти предчувствия, хотя во многих случаях они способны спасти нам жизнь.

Я вернулась назад и помчалась по винтовой лестнице до двери, ведущей в часовню. Но, как и следовало ожидать, та была заперта снаружи. Я стучала в нее — руками, потом ногами, кричала до изнеможения — все без толку. Через несколько минут раздались шаги по каменным плитам, вселившие в меня надежду. Послышался сухой щелчок выключателя. Теперь крипта освещалась только факелами: потолок еще было видно, но все остальное тонуло в непроглядной тьме.

Я снова спустилась по ступенькам. Холод и запах плесени становились все невыносимее. Я окоченела. Сердце у меня сжалось, когда я снова посмотрела на потолок, на эту уйму лиц. Я была уверена, что долго не продержусь.

— Джулио! — позвала я вновь и вошла в тоннель.

Стенки сочились влагой, я потрогала камни — рука скользила. В какой-то момент мне показалось, что подземный ход разветвляется. Я ничего не видела во мраке. Еще несколько шагов — и я остановилась. Если бы иметь с собой фонарь! Я выбрала то ответвление, которое казалось шире. Вскоре я почувствовала, что туннель слегка ухо-

дит вниз. Идти стало легче. Не знаю, сколько я так пробрела — метров двадцать — тридцать, должно быть, — но это было самое большое расстояние из всех, пройденных в жизни. Я дрожала, ноги в тонких матерчатых туфлях ужасно замерзли. Вдруг меня что-то пощекотало по щиколотке. Почва стала мягче, напоминая ложе реки… Я наклонилась и коснулась ее пальцами, но там была не вода, а что-то мягкое, желеобразное, как плоть медузы. К горлу подступила тошнота. Земля кишела мелкими существами, холодными и морщинистыми на ощупь, с кожей клейкой, будто покрытой сотнями крошечных присосок. Я даже не успела вообразить, как омерзительная мокрица ползет по моим джинсам: отвращение, страх и тревога сделались настолько невыносимыми, что я заорала изо всех сил. Это был доисторический, нечеловеческий вопль, который дошел до самого дна этих подземелий, чем бы они ни были.

— Анна! — послышался слабый окрик.

Я задыхалась, воздуха не хватало. Мне казалось, что я углубляюсь в лабиринт для мертвецов, из которого нет возврата.

— Джулио! Ты здесь?

— Да, недалеко от тебя.

Голос звучал откуда-то справа. Сжав зубы, я

пошла, держась руками за стены, сдерживая рвотные позывы, и наконец увидела бледное пламя спички. Это была, наверное, сводчатая подземная молельня. Профессор Росси стоял, прислонившись к стене, — лицо его было вымазано грязью — и держал спичку в руке. В ее жалком свете он напоминал шахтера.

— Что с тобой случилось?

— Не знаю… Наверное, врезался во что-то головой.

И тут я с ошеломляющей ясностью поняла, что живыми нам отсюда не выйти. Если бы вернуться хоть в главное помещение, подумала я, вздыхая по небесно-голубому своду, лицам ангелов, распростертым золотым крыльям. Но теснота окружающего пространства сразу же напомнила, как далеко мы от поверхности. Сердце мое билось так часто, как никогда раньше. С клаустрофобией я ничего не могла поделать.

— Меня тошнит.

— Спокойно, дыши глубже. — Джулио набрал в грудь воздуха, показывая, как нужно делать. — Еще… Забудь о том, где мы. — Он зажег новую спичку, от которой потянуло серой, и этот запах показался мне самым лучшим. — Посмотри на меня. — Он взял меня за подбородок и посмот-

рел в глаза. — Мы обязательно выйдем отсюда. Поняла?

Давным-давно, играя в прятки на дне рождения у подруги, я закрылась в очень тесной комнате, а щеколда на двери взяла и сломалась. Там было много всякого хлама: гладильная доска, металлическая лестница, электродрель, веревки, пилы, наверняка был и выключатель, но я его не нашла. Я не стала звать на помощь, кричать или бить в дверь ногами — я сидела, прижавшись спиной к стене, неподвижно, едва дыша. Я была так напугана, что не могла издать ни звука. Меня звали, но я была не способна ответить. Не знаю, сколько времени я там просидела, но, видимо, настал вечер — кто-то открыл дверь, чтобы взять фонарь и продолжить поиски в окрестностях. Какое это было чудо — выйти и попасть в объятия отца, увидеть высокие деревья, а между ними — звезды… все равно что вынырнуть из воды.

И сейчас, должно быть, уже давно настала ночь, хотя с уверенностью я бы не сказала — ощущение времени здесь, внизу, смазывалось. Я посмотрела на длинные пальцы Джулио, сплетенные с моими, на его тонкое запястье с косточкой, выдававшейся, как одинокий утес, на худой костлявый мизинец. Ганс и Гретель в пещере колдуньи.

Стало ясно: кто-то предвидел наш приезд. Но о том, что мы собирались посетить часовню, знал только антиквар с виа Санто-Спирито. Он мог предупредить священника, а тот дал указания охраннику, продающему медальки. Несомненно, кто-то взял на себя слишком много хлопот из-за тетрадей, за которые ни на одном аукционе не выручить крупной суммы. Конечно, не исключался каприз коллекционера — рынок старинных кодексов и документов сильно зависит от чудаческих выходок. Но чтобы какой-то человек воспылал страстью к этим дневникам — такая мысль представлялась мне малоубедительной. Лупетто не пользовался особой славой в свое время, да и сейчас почти неизвестен за пределами узкого круга ученых. Пожалуй, профессор Росси прав и за всем этим стоит некая секта. Не такая уж безумная идея, учитывая стычки живописца с церковниками, — не пользуйся он постоянной поддержкой Медичи, не миновать ему знакомства с Черным братством. А может, и не секта, а общество совсем другого рода — на это намекал Феррер, обнаружив, что материал причислен к «папским секретам» — документам, слишком откровенным по содержанию. Реставратор знал, что говорил, ведь он выполнял работы для Ва-

тикана, но я не понимала, как записи Мазони могут затрагивать интересы теологов, особенно если учесть, что девять тетрадей, изученных мной, были просто собранием заметок и рисунков, размышлений о свете и тени, счетов из лавок, трактатов о зевоте, чихании, анатомии муравьев… Мазони интересовался лишь тем, что прочно связано с действительностью, и его тетради скорее походили на дневник фотографа, стремящегося схватить жизнь на лету, чем на богословский труд. Росси рядом со мной тоже пытался связать все концы: я видела его лицо в профиль, с резкими морщинами, как всегда, когда он сосредотачивался.

Главный вопрос практического свойства звучал так: если у нас нет тетрадей, а кто-то их упорно ищет, у кого же они? Не могли же они исчезнуть как по волшебству. Чем дальше, тем меньше я понимала, любой ответ казался мне слишком усложненным, но на ум то и дело приходили Боско Кастильоне, карлик в пальто с лисьим воротником, «альфа-ромео» с черными крыльями. Воспоминания всплывали по частям, нечеткие от страха: мои руки, изо всех сил жмущие на тормоза велосипеда; разгромленная библиотека профессора; автомобильные фары, обшариваю-

щие спальню; полоса света среди переплетения глициний; взгляд Джулио из темноты, его палец на губах — простой элемент азбуки взаимопонимания.

Я попыталась воспроизвести в уме логику нашего противника, как учил Росси, но в этих обстоятельствах умозаключения выстраивались плохо. Моему воображению рисовались ниши в стенах с черепами и костями, гнусные обряды, листья рукколы. Я, конечно же, вспомнила обо всех известных мне допросах и пытках. Коммунист, которому клещами вырывали ногти в подземельях испанской службы безопасности, Мончо Пиньейро, рыбак-анархист из Порту-ду-Сон с пальцами, сожженными паяльной лампой, и другие, замученные заживо. Я думала о дыбе, орудии инквизиторов, когда еретика поднимали к потолку за руки, связанные за спиной, и давали ему опуститься под собственным весом: несчастный останавливался в полуметре от пола со смещенными костями. Я думала также о разных видах заточения, о замуровывании и прочих ужасах прошлого. Я думала о молодой женщине, одетой на старинный манер, в платье из бархата, появившейся на веранде дома близ Сантьяго, с потрескавшимися ногтями и сломан-

ными пальцами; все ее тело было неестественно скорчено, как у погребенных заживо, глаза выпучены, нижняя челюсть отвисла. Я думала о трупе каменщика, найденном в бетономешалке. Я думала и о святой Вердиане, которая тридцать четыре года провела в своей келье, в компании со змеями.

Самый страшный ужас — не тот, что перед глазами, а тот, что в воображении. Послышался зловещий звук, вроде скрипа старых лыковых веревок, — мне представилось спускаемое в колодец ведро. Сердце мое забилось сильнее. Раздалось мягкое шлепанье резиновых подметок; оно приближалось. Лестница осветилась очень ярким лучом фонарика, и сверху показался чей-то силуэт, долговязый и смутно знакомый.

Я сглотнула слюну, борясь с головокружением. Тень росла — человек дошел до середины крипты. На мгновение я вспомнила пророчество Мазони: «И появятся колоссы на двух ногах, напоминающие древних гигантов, но если приблизиться к ним, ты увидишь, как они уменьшаются в росте». В лицо мне ударила струя затхлого воздуха. Это было последним, что я ощутила: то ли от прицельного удара, то ли от страха — не знаю в точности — я потеряла сознание. Это случилось

неожиданно, будто я оступилась на лестнице и полетела в глубь колодца.

Глубоко-глубоко под землей должны существовать целые города, где мерцают кости, подобно болотным огонькам; тайные проходы, связывающие царство мертвых с миром живых, время и пространство, где никого нет, кроме нас, но где, смешавшись, текут все образы и голоса, встречавшиеся нам в жизни.

Сколько времени прошло, я не знаю. Медленно приходила в себя, перед глазами мелькали слабые вспышки. Кровь стучала в висках. Я ощутила сильный приступ боли, попыталась шевельнуться — тело не слушалось. Кровь судорожно пульсировала в сосудах, казалось, пузырилась, и мышцы будто протыкало тысячами мельчайших иголок. Я полулежала на заднем сиденье полицейской машины, завернутая в оранжевую накидку со специальной подкладкой, — с их помощью спасают от переохлаждения вытащенных из воды. Что стало с профессором Росси, я не имела понятия. Незнакомая женщина проверяла мой пульс — видимо, очень редкий: я безвольно и покорно позволяла делать со мной все, что угодно, дрожа и не понимая, что произошло.

Асфальт периодически озарялся отблесками

синей мигалки. Машина катилась по ровному шоссе, с обеих сторон виднелись ночные поля, бензоколонки, промышленные строения… Вскоре мы свернули на национальную автомагистраль. Перед нами ехали грузовики, порой такие большие, что заслоняли шоферу весь вид и ослепляли его огнями.

Чуть позже я снова открыла глаза и увидела знакомую картину — флорентийские улицы с фасадами из рустованного камня, подсвеченный фронтон дворца, металлическая штора на пиццерии, темные сады, объятые густой тишиной, пустынные площади, ярко-синие, если смотреть через стекло… Вдруг мы повернули направо, на виа деи Тинтори, машина нырнула под арку галереи, ведущей к реке, и остановилась перед железной решеткой старого здания жандармерии.

XXVIII

Заглянуть в разум художника — все равно что заглянуть во дворец. Легко, как бесплотный дух, художник двигается среди красок. Он самолично толчет кору, киноварь, малахит, умбру, семена, чтобы получить нужный тон: охристо-желтый, el negro vegetal, белый… в точности как мельник. Он знает лучшие масла, льняное и ореховое, ему известно, какое дерево употреблять, смотря по способу грунтовки. Художник смазывает поверхность будущей картины мастикой и белым скипидаром, два или три раза наносит водку, в которой растворено немного мышьяка, затем пропитывает всю доску кипящим льняным маслом. Дав ей высохнуть, он, взяв лопаточку, покрывает ее белым лаком и моет мочой. Художник может часами заниматься всей этой ремесленной работой, но в то же время он — маг, который улавливает траекторию движения, поглощенный лишь углом падения света на холст. Он способен сказать про любого прохожего, как тот будет падать, если ударить его кинжалом, он знает, как наклоняется женщина после купания, заверты-

вая огненные волосы в мокрое полотенце.

Рукопись художника — план этого дворца.

Есть, кроме того, картины, служащие одновременно и документами. Произведение живописи не считается личным свидетельством, как завещание или письмо, но может многое рассказать о художнике и о том, в каких условиях он работал. Поверхность картины рассказывает о ее истории так же, как срез скальной породы — о ее геологическом возрасте. Иногда микроскопический слой краски толщиной в тысячную долю миллиметра говорит о полотне больше, чем десятки монографий. А еще картина порой заключает в себе секретное послание.

Пьерпаоло Мазони, как и всякий настоящий художник, боялся, что у него украдут идеи, и не позволял никому наблюдать за своей работой, как и другие мастера Возрождения — Боттичелли или сам Леонардо. Он берег свои наброски от чужих глаз. Иногда эти опасения были связаны с творчеством и вполне объяснимы — гордость гения, чувство незащищенности… Но подчас тут действовали мотивы иного порядка — ведь в ту эпоху положение художника, зависевшего от прихоти мецената, было шатким. И сверх того, при определенных политических либо личных

обстоятельствах свобода и жизнь живописца оказывались под угрозой.

На «Мадонне из Ньеволе» можно видеть контуры, прорисованные свинцовым карандашом, — техника, типичная для мастерской Верроккьо. Ее хорошо освоили и Мазони, и Леонардо да Винчи — последний еще подростком, только начав работать у Верроккьо. Первоначальный контур был подправлен впоследствии пером, оставившим повсюду небольшие белые пятнышки. Линии были почти неразличимы, и лишь великий реставратор — Франческо Феррер, несомненно, был им — мог углядеть, что в картине Мазони скрывалась еще одна, написанная несколькими людьми, возможно по заказу — но указания клиента соблюдались не во всем. Согласно наиболее достоверным источникам, включая контракт, на полотне следовало изобразить Мадонну с Младенцем в окружении архангелов, играющих на музыкальных инструментах. Ничего подобного на картине нет, зато есть не оговоренные персонажи и загадочные знаки — ни в одном из имеющихся исследований их смысл пока не прояснен.

Феррер полагал, что картина изображала основание общества Eruca Sativa, обряд колено-

преклонения, подобный клятве верности Папе, когда понтифику целуют руки и ноги. Конечной целью этого союза — его символом стал лист рукколы — было создание могущественного ватиканского банка, который контролировал бы все банки Европы и упрочил бы абсолютную власть Папы. Но для этого было необходимо избавиться от Медичи. Отсюда и заговор с участием влиятельнейших лиц, чтобы свергнуть флорентийское правительство путем переворота.

К такому выводу реставратора подтолкнуло изучение картины и особенно сделанная им находка: оказалось, что на полотне слева нацарапаны слова Eruca Sativa, скрытые под позднейшим слоем краски. Они были выведены свинцовым карандашом, справа налево, характерным зеркальным почерком Леонардо. То был не афоризм и не загадка, столь полюбившиеся позже автору «Джоконды», но эти слова уже свидетельствовали о страсти ко всему таинственному, которая впоследствии поселилась в душе зрелого мастера. Может быть, именно это открытие встревожило ватиканских деятелей, через несколько месяцев пришедших к такому же заключению. Этим объясняется их стремление завладеть тетрадями Мазони — они знали, что

Лупетто заносил в них абсолютно все, вплоть до мельчайших подробностей, как нотариус. Если картина могла вызвать подозрения, то дневники Мазони, подтверждая их, становились еще более опасными. Пристальное изучение кем-нибудь этих рукописей было чревато тем, что на поверхность выплывет — нет, не финансовая операция, которую пять веков назад задумала Римская курия для достижения всеевропейского господства, но нечто намного более неприятное, что могло бы угрожать папству и в наши дни. И секретные службы Ватикана решили не допустить этого любой ценой.

— Так что же это? — спросила я профессора Росси, не понимая, как столь давние события могут повредить Римской курии сегодня, в двадцать первом веке.

— Пока не знаю, Анна. Но есть лишь одно объяснение. Если гипотеза Феррера верна, не будет слишком нелепым предположить, что Ватикан — или кто-то в Ватикане — хочет скрыть факт существования общества Eruca Sativa, потому что оно слишком похоже на организацию, существующую доныне. Может быть, это ложа «Пропаганда-два», или попросту «П-два», которая сколько-то лет назад вызвала один из крупнейших в истории

финансовых скандалов. — Профессор достал из кармана пиджака пачку сигарет и неловко зажег одну, прикрывая огонек согнутой ладонью. До этого я видела лишь, как он курит трубку, умиротворенно, вдыхая запах табака с наслаждением, какое доставляют лишь тихие домашние радости. Но, честно сказать, последние часы были не самыми спокойными в нашей жизни, а сигарета, что бы там ни говорили медики, успокаивает. Затянувшись, он продолжил, уже более невозмутимо: — Это было довольно давно, ты вряд ли помнишь. В скандале были замешаны банкиры, военные, судьи, университетские преподаватели, главные редакторы газет… все, кто обладал хоть каплей власти, в том числе, конечно, и Ватикан, через Институт религиозных дел кардинала Марцинкуса: оказалось, что курия отмывала деньги в странах, считающихся «налоговым раем».

Мой отец в свое время говорил об этом деле. День смерти Иоанна Павла I запомнился мне, потому что совпал с моим днем рождения, 29 сентября. Я была совсем еще девочкой, но меня поразило то, какой ореол тайны окружал его внезапную кончину после тридцати трех дней понтификата, причем вскрытия не было, и ни один врач не взялся подписать свидетельство о

смерти. Лишь много лет спустя мне открылись другие подробности тех событий. Уже студенткой я узнала, что человек, информировавший покойного Папу о делах Института религиозных дел, был найден повешенным в римском парке, излюбленном месте встреч трансвеститов. То была целая череда смертей, как я выяснила позже: журналист «Оссерваторе Романо», налоговый инспектор, расследовавший финансовые скандалы, подполковник безопасности, судья, несколько кардиналов, полицейский с Сицилии Борис Джулиано и, наконец, директор «Банко Амброзиано» Роберто Кальви. Однажды утром, в 1982 году, Кальви с карманами, полными камней, нашли повешенным на лондонском мосту Блэкфрайерз — название, что любопытно, означающее «Черные братья».

— То есть финансовые операции «Банко Амброзиано» и института были похожи на те, что задумывала ложа Eruca Sativa?

— Ну, скажем так, это не точная копия, но довольно верное подражание. Имей в виду, что намерение создать могущественный ватиканский банк в пятнадцатом веке не было исполнено из-за провала Апрельского заговора. Избавиться от Лоренцо не удалось, план расстроился, но

отчасти это было восполнено деятельностью генуэзцев, которые устремились в Испанию и другие страны, заменяя изгнанных евреев, вскоре после заговора. — Взгляд Росси делался все более сумрачным, словно эти рассуждения жгли его изнутри. — С тех пор и до наших дней Ватиканский банк участвовал в незаконных операциях всех видов, от мошеннических банкротств до финансирования государственных переворотов и продажи оружия, и ни разу его руководители не подвергались светскому суду. По-моему, это и есть воплощение давнего замысла общества Eruca Sativa. Достаточно?

— Но это же все известно. Есть списки масонов — членов курии, деятельность Института религиозных дел не секрет, по крайней мере, для информированной публики, так же как и большая часть операций «Банко Амброзиано». Существуют книги, досье, опубликованное в прессе: какой смысл, нарушив столько раз закон, прятать тетради, имеющие разве что историческую ценность?

— Не суди поспешно, Анна. Самые незначительные, на первый взгляд, вещи могут привести за решетку. Вспомни: Аль Капоне попал в тюрьму не за убийство, кражу или вымогательство, а за

уклонение от уплаты налогов. И потом, все это может происходить из-за борьбы различных сил в Ватикане. Гражданская война, так сказать. — Опираясь подбородком на руку, он поднял брови и посмотрел на меня: мне показалось, что в глазах его мелькнула какая-то особая искорка. — Как ты знаешь, внутри курии существуют группировки: с одной стороны, «Опус Деи», постоянно набирающий силу, с другой — группа, связанная через «П-два» с масонами и с обществом Eruca Sativa Это не считая всяких прочих вариантов.

— А что, если кто-то из церковников указал на «Мадонну»?

— Это самое вероятное. Тогда понятно, почему инспектор Леони знал о существовании тетрадей Лупетто. Должно быть, некий член курии, возможно не называя своего имени, навел его на след, из раскаяния или из личной мести.

— Тайный информатор…

— Точно, — улыбнулся профессор. — Во время расследования по делу «Банко Амброзиано» остался без ответа главный вопрос: ограничивались ли связи Ватикана с «П-два» финансовыми делами или же, как тогда считали многие, масонская ложа существовала прямо под крышей папского дворца? — Профессор погрузился в чте-

ние диссертации настолько, что еще немного — и пепел начал бы падать на лацкан его пиджака; я вовремя пододвинула пепельницу. — В сущности, именно это Церковь и стремится скрыть во что бы то ни стало.

Росси погасил сигарету. Его наблюдения говорили как об отличной памяти, так и о способности делать сложные, но не громоздкие, логические построения. Пожалуй, в столь блестящем изложении сквозило и некоторое тщеславие, как у всякого, кто занят преподаванием. Однако аргументация его строилась не на риторических приемах, а на рассуждениях: он формулировал гипотезы, ставил вопросительные знаки, не выдвигая окончательного мнения, точно так же как на занятиях предлагал студентам интерпретировать факты по-своему. Но я не была студенткой, или была больше, чем студенткой, и не хотела, чтобы меня воспринимали как одну из них. По правде говоря, мне было совершенно непонятно, кто я для него. Любимая ученица? Товарищ по приключениям? Приемная дочь? Любовница? Меня сбивали с толку его сосредоточенность, удивительная застенчивость, приступы упорного молчания. Порой мне казалось, что после той ночи в его доме мы оба отступили на прежние

позиции, обороняя свое личное пространство, и внешне все смотрелось вполне невинно. Пока я изводилась этими вопросами, он продолжил нейтральным лекторским тоном:

— Когда в газетах напечатали о связи Ватикана с банкирами-мафиози, сам Иоанн Павел Второй, главный покровитель Марцинкуса, счел, что пора его немного подвинуть. Банкира отправили в Соединенные Штаты, куда-то в глушь Аризоны — Сан-Сити, если я правильно помню. После этого некоторые влиятельные круги в Ватикане решили отказаться от рискованных предприятий и скрыть все, что могло скомпрометировать понтифика.

Картина Церкви, раздираемой изнутри, соперничества между группами влияния, совпадала с тем, что говорил Боско Кастильоне во время нашей первой встречи. Разумно было предположить, что с ухудшением здоровья Папы Войтылы конфликт разгорался все сильнее, предвещая нешуточную борьбу за инвеституру. С этой точки зрения теория о ложе, действующей с XV века, выглядела довольно убедительно. И еще: когда я всерьез усомнилась, что в мире есть порядок, мне было приятно обнаружить за бессмысленно мелькающими событиями если не порядок, то

хотя бы систему отношений.

— Это объясняет все лишь частично, — заметила я, признавая в глубине души, что здесь есть немалая доля правды. Но не вся правда — лишь та ее часть, о которой позволено рассказать.

— Чтобы до конца понять мотивы Церкви, — изрек Росси, — надо попытаться мыслить так, как ватиканские государственные деятели. Боюсь, ни ты, ни я никогда не дойдем до такой степени извращения. — Это «ни ты, ни я» понравилось мне: хоть что-то у нас было общее. — Монсеньор Готье сперва намеревался сделать галерее Уффици выгодное предложение о покупке картины, но затем его стратегия усложнилась: вспыхнули споры о реставрации с участием Франческо, всплыли тетради Мазони. Наверное, тогда они осознали, какую громадную опасность таят эти рукописи, и решили прибегнуть к другим приемам.

Мы уже отошли после наших приключений и беседовали обо всем этом, сидя под тентом в кафе на меркато Веккьо, площади старого рынка, за пивом и салатом с базиликом, моцареллой и черными оливками. Мартовское солнце бросало нежные шафрановые отсветы на здание рынка из железа и стекла — там царило полуденное оживление: продавцы зазывали к себе, поку-

патели бродили среди прилавков, где лежали разделанные петухи с яркими гребнями и освежеванные кролики, и зеленных рядов с грибами, помидорами, артишоками и зелеными бобами в больших корзинах.

На столе, между кружками с пенистым пивом, лежал номер «Коррьере делла сера», открытый на первой странице раздела «В Италии». Заголовок гласил:

«ВО ФЛОРЕНЦИИ РАЗОБЛАЧЕНЫ ПОДПОЛЬНЫЕ ТОРГОВЦЫ ПРЕДМЕТАМИ ИСКУССТВА

Несколько подразделений карабинеров было задействовано в операции "Макиавелли", прошедшей в различных итальянских городах. Всего выявлено 236 книг XV и XVI веков.

Франко Пеллоджи, Рим.

Кражи были поставлены на широкую ногу. За последние годы из библиотек, архивов и прочих государственных культурных учреждений похищено множество бесценных кодексов и манускриптов. Их переправляли во Флоренцию, в известный аукционный зал, и продавали за суммы от 200 до 500 тысяч евро.

След похищенных книг был обнаружен в ходе стандартной проверки антикварных магазинов

и аукционных залов. Инспектор Марко Леони, руководивший операцией, совместно с агентами Службы по защите культурного наследия, установил, что книги отвозил туда монах-доминиканец, в течение многих лет заведовавший Патронатом Святого Марка. Печати на рукописях вытравляли химическим способом или попросту отрезали.

Руководители операции использовали в качестве приманки три рукописи Пьерпаоло Мазони, художника эпохи Возрождения. Эти рукописи высоко котируются на черном рынке, так как содержат сведения из первых рук о некоторых картинах того времени, пока еще не атрибутированных.

План, выработанный полицией, позволил на прошлой неделе задержать ряд членов группировки в часовне Святой Аннунциаты (Артимино) и организовать крупномасштабную операцию против возникшего еще в Средние века общества, к которому могут принадлежать высокопоставленные руководители христианских демократов, а также члены комиссии кардиналов, осуществляющей надзор за хранилищами документов и Секретным архивом Ватикана.

В настоящее время задержаны монах-доминиканец Туллио Роланиа, бывший заведующий

библиотекой монастыря Сан-Марко во Флоренции, откуда и была похищена большая часть изданий, Франческо Феррер, известный реставратор из Музея Уффици, Джакомо Коломбо, директор “Банка Привата Финанцьяра”, и Боско Кастильоне, преподаватель Ватиканской школы палеографии и архивного дела, неоднократно задерживавшийся ранее, в том числе за кражу средневекового кодекса из Национальной библиотеки Палермо (1993).

Операция “Макиавелли”, разоблачившая нелегальных торговцев предметами искусства, может облегчить расследования по другим делам, которые ведутся в настоящее время и пока держатся в секрете».

— Значит, инспектор Леони использовал нас, — не знаю, что было сильнее: возмущение или удивление. — Тетради Мазони все это время были у него под присмотром, и он недолго думая подверг нас опасности, чтобы заработать медаль…

— Ну, скорее всего, он принял меры предосторожности. Его люди были повсюду. И потом, видимо, вначале он плохо представлял себе масштаб этого дела, а когда понял, что речь идет не только о краже инкунабул, выводить нас из игры было поздно.

— Ты имеешь в виду, что он поначалу не сознавал истинной ценности рукописей Мазони и действовал отчасти вслепую?

— «Вслепую» — так нельзя говорить про того, кто читает Павезе, — сказал он с заговорщицкой улыбкой. — Вспомни слова поэта: «Удивление — движущая сила любого открытия». Действовал по подсказке интуиции, так будет точнее. Я всегда считал его одной из тех rara avis[22] среди полицейских, которым интереснее развязать запутанный узел, чем покарать виновных. Но даже самые могучие, в смысле логики, умы могут попадать в цель по ошибке.

Не знаю, что в точности хотел сказать Росси этим утверждением, но он, безусловно, был прав. Можно считать, что миром управляет некий порядок — если он вообще существует, — но обычно события не происходят по заранее придуманному плану. Очень возможно, что инспектор Леони вышел на «Мадонну из Ньеволе» по чьей-нибудь наводке, но полагал, что имеет дело с местной сетью «черных торговцев». Ведь и для меня все началось с самого обычного запроса на получение гранта, а закончилось тем, что я попала в

---

[22] Примечания: 22
Редких птиц *(лат.)*.

паутину, простиравшуюся вплоть до подземелий Ватикана.

— Инспектор, по крайней мере, искал одно, а нашел кое-что получше, — сказала я, — как охотник, который выслеживает зайца, а ловит кабана.

— Да, другие не могут этим похвастаться, — произнес Джулио задумчиво.

Я догадалась, что он думает о Феррере, и поняла, что главное для него — это участие во вскрывшейся афере человека, которого он знал не один год, с которым разделял веселье и горести, искренне считая того другом.

На тех, кто знаком нам давно, мы смотрим как бы из прошлого, терпеливо и снисходительно, — и в какой-то мере чувствуем себя их единомышленниками. Меня тоже потрясла новость об аресте Франческо. Я уже начала испытывать симпатию к реставратору, с его чисто пистойским чувством юмора и ироническим тоном, которым он всегда изрекал что-то умное или смешное. Правда, то не была проверенная годами привязанность, как у профессора Росси.

— Почему он сделал это, как ты считаешь? — спросила я, предполагая, что, может быть, от разговора на эту тему ему станет легче.

Иногда бывает полезно выговориться, выпустить наружу то, что грызет тебя изнутри.

Росси молча покачал головой. Лицо его расслабилось и стало похоже на истоптанный песчаный пляж.

— Не знаю. Наверное, ему не давала покоя картина. Франческо — один из ведущих итальянских экспертов по символике живописи. Он верит, что во всем есть система знаков, и, может быть, он прав. Знаки — единственное, что помогает человеку ориентироваться в мире. У реставраторов есть собственные школы, они создают своего рода сети, наподобие старинных гильдий с их обязательствами и крепким цеховым чувством. Наставником Франческо, который посвятил его в тайны ренессансной образности, был один иезуит: они познакомились, когда тот работал на архив Ватикана. Вряд ли они много беседовали о теологии, но Франческо глубоко преклонялся перед ним и кое-чем был ему обязан. Может, поэтому он и ввязался в это дело. А может, просто по стечению обстоятельств. Я знаю только, что Франческо много лет изучал картину: возможно, уловив связь между изображенными на ней знаками, он понял, что все намного сложнее, чем казалось. Но тогда он уже не смог выйти из игры.

Если ты дошел до Eruca Sativa, так просто тебя не отпустят. Не забывай, что мы в стране заговоров, где отравляли пап.

— Значит, по-твоему, он примкнул к одной из враждующих группировок?

— Не представляю себе Франческо в этой компании. Он мог заключить с ними какое-то соглашение, но действовал сам по себе, я в этом уверен. Обычно в темные дела втягиваются из желания получить власть или деньги, и лишь немногие, как Франческо, — из гордости. Убежден, что это — не первое преступление, совершенное им из интеллектуального высокомерия. У некоторых людей жажда знании куда сильнее влечения к земным удовольствиям. — Джулио помолчал, но видно было, что он не закончил, а лишь погрузился в размышления или воспоминания о далеком прошлом. — Тебе может показаться странным и даже возмутительным, но есть люди, которых мы никогда, ни при каких условиях, не способны осудить, словно они навсегда останутся теми, кем были раньше, — по крайней мере, для нас.

Взгляд его стал отсутствующим, как бы расфокусированным: именно такими взглядами он исключал меня из своего пространства, оставляя по ту сторону рухнувшего моста.

— Но ты ни о чем не подозревал? — настаивала я.

— Нет, — ответил он, оставаясь в задумчивости. — Однажды он говорил мне о листе рукколы, но это было давно. Он объяснил, что такими листами инквизиция в Риме помечала дома тех, кого собиралась арестовать и подвергнуть пыткам. Я не придал этому значения: Франческо часто оживлял разговор любопытными подробностями. Ты же знаешь, ему всегда нравилось интриговать слушателей — думаю, как и всем. Он кормил аудиторию своими наблюдениями, облекая их в форму загадок, но, когда доходил до определенного места, останавливался и больше не говорил ни слова — только радостно улыбался, как шахматист, увидевший победный ход. Он был бы отличным шпионом — а может, и был им, сам того не желая. Я забыл об этом, но позже прочел в газетах об убийстве в Палермо полицейского Бориса Джулиано, замешанного в скандале с «Банко Амброзиано». Знаешь, как его убили?

— Нет, — мотнула я головой.

— Утром он пил кофе в том же баре, где обычно. Когда он направлялся к стойке, чтобы расплатиться, кто-то подошел к нему со спины и выстрелил в затылок. Вроде бы ничего необычного — именно

так мафия разделывается с противниками. Но прежде чем скрыться, убийца положил на труп лист рукколы. Я вспомнил о рассказе Франческо и удивился, что автор статьи знал историю этого символа, которым пользовалась инквизиция, наводя ужас на римлян при Пие Пятом. Возможно, Франческо хотел поведать что-то на свой манер, рассказать, в то же время не рассказывая, или скорее намекнуть. Это обычный прием в его трудах по семиотике и криптографии, где часто нужно читать между строк. Но если хочешь знать, я ни разу не заподозрил, в какую паутину он попал. Ничего подобного нельзя было вообразить. И заметь, меня больше всего расстраивает не моральная сторона дела. Это мне безразлично. В конце концов, искусствовед-шпион — одна из немногих романтических профессий, которые еще остались. Лично меня удручает то, что за всю нашу долгую дружбу он ни разу не доверился мне, не поделился своими желаниями или опасениями, ничего не рассказал. Вот что меня сильно разочаровало и чего я не понимаю.

Росси говорил все это, не сознавая, что хороший шпион не должен посвящать в свои секреты даже друзей. Затем он опустил глаза и невесело улыбнулся. На лице читались грусть и разочаро-

вание. Это меня больше всего поражало в нем: умение одним движением губ или руки выразить отвлеченную идею.

Меня посетило какое-то неприятное чувство, но все было правильно. Никто, кроме Франческо, не исследовал картину миллиметр за миллиметром: каждый мазок, каждая трещина имели для него свое невыразимое значение. Может быть, это превратилось у него в навязчивую идею: такая романтическая страсть возвышала Феррера в моих глазах. Для остальных «Мадонна из Ньеволе» была изображением инициатического обряда и вещественным доказательством, которое следовало скрывать, но для Франческо она стала смыслом всей жизни — и с этой точки зрения ни у кого не было больше прав на картину.

Взгляд Росси блуждал по площади: профессор отдался воспоминаниям. Перед нами текла река жизни, неся, как всегда, разноголосицу звуков и плотную толпу, затмевая своей сиюминутностью архитектурные творения прошлого, будто персонажи Леонардо, Боттичелли или Мазони сошли с холстов и смешались с людским потоком, чтобы есть салат с буйволовой моцареллой, ругаться из окна машины, теряться среди групп туристов, которых вели гиды — каждый со своим

отличительным знаком, тонуть в густой, вязкой чувственности, заполоняющей итальянские простонародные кварталы. Искусство, подвергнутое действительностью великой чистке.

Внезапно с колоколен Сан-Лоренцо взвилась птичья стая, и Джулио поглядел на небо. Я погладила его по руке, медленно, желая не приласкать, а защитить — или продлить ту неуверенность во взгляде, которая так очаровывала меня.

— Пойдем. — Я попыталась хоть как-то рассеять туман, которым заволоклись его глаза. — Мы договорились встретиться с Леони, не забыл?

— Ага. — Он улыбнулся, выходя из задумчивости.

Мы пошли по виа делл'Арьенто до небольшой площади Сан-Лоренцо — там находился мавзолей, построенный Микеланджело для семейства Медичи. В полумраке церковного грота уже многие века стояли надгробные изваяния, неподалеку от маньеристских лестниц Библиотеки Лауренциана, где хранились все принадлежавшие Медичи рукописи. Они, по крайней мере, остались нетронутыми, не став жертвой грабителей или военной добычей. Мы шли медленно и рассеянно, почти прижимаясь друг к другу, и его рука иногда оказывалась на моем плече — как

бы нечаянный дружеский жест. Я же только раз отважилась обхватить его за талию — быстрая, мимолетная ласка через ткань пиджака. Мы оставили позади монастырь Сан-Лоренцо — во дворе монастыря начинали цвести гранатовые и апельсиновые деревья, распространяя неповторимый запах на грани зловония. Затем, направляясь к комиссариату, мы углубились в квартал Санта-Кроче, где поперек узких улочек сушилось белье — трусы на веревках скрывали фасады дворцов, между зеленых жалюзи висели горшки с базиликом, а сидевшие у дверей старухи в черном провожали нас любопытными взглядами. Наверное, мы выглядели странной парой: солидный, чуть старомодного вида мужчина в пиджаке и галстуке, с манерами английского лорда, и белокурая девушка в джинсах и спортивных туфлях.

На Корсо деи Тинтори контраст между солнечными и затененными участками был довольно-таки ощутим. Проехавший мотоцикл распугал голубей, бродивших, поклевывая зерна, по террасам кафе между редких посетителей, наслаждавшихся в этот час солнцем. Здание комиссариата было в тени и слегка пахло аммиаком, как и во время первого моего визита. Может быть, запах шел не из туалета, а из фото-

лаборатории.

Молодая секретарша ксерокопировала какие-то документы и складывала листки по порядку в красную папку. Она предложила нам подождать в вестибюле, пока у инспектора не закончится пресс-конференция.

— Там вам будет удобнее, — сказала она.

Вскоре в главном коридоре показался инспектор Леони, окруженный плотным кольцом журналистов и фотографов, и пригласил нас жестом в свой кабинет.

— Вы сейчас выглядите намного лучше, чем при нашей последней встрече, — обратился он к Росси, садясь напротив нас в кресло-вертушку.

На столе по-прежнему лежала книга Павезе страницами вниз. Должно быть, в последние дни у него было мало времени на чтение.

Инспектор, похоже, был в хорошем настроении, довольный проделанной работой и расположенный к шуткам. По-моему, он не слишком раскаивался, что из-за него мы стали заложниками. Мы внесли наши данные в бланк, отпечатанный на тонкой «макулатурной» бумаге, и принялись болтать обо всем понемногу: об операции «Макиавелли», о последней игре «Фиорентины», о здоровье Папы…

— Как ваша диссертация, синьорина Сотомайор? — любезно поинтересовался он, возможно чувствуя за собой вину.

— Все в порядке. Почти закончена.

— Осталось только, — вставил профессор, пользуясь случаем, — ознакомиться с «тетрадями, фигурирующими в деле».

Леони улыбнулся. Они понимали друг друга — два ироничных флорентийца.

— Тетради вернутся в архив чуть позже. Не забудьте, они входят в число материалов предварительного следствия.

— Думаю, после всего, что случилось, вы разрешите мне увидеть их, — сказала я с ноткой надежды в голосе. — По-моему, я заслужила.

— Можете посмотреть микрофильм. Он уже доступен исследователям.

— Но это не то же самое, инспектор, вы прекрасно знаете. — Любому, кто работал в архивах, знакомо очарование старинных документов, взятых в руки: кислый запах, пористый на ощупь пергамент, налет столетий — предвестия познания. — И потом, мне только взглянуть, — обольстительно улыбнулась я.

Инспектор посмотрел на меня искоса — не как полицейский, а как читатель Павезе — и скупо

усмехнулся.

— Полагаю, я не вправе отказать вам.

— Не вправе, — подхватила я торжествующе.

— Хорошо, но в восемь вечера тетради должны лежать на моем столе. Сейчас двенадцать двадцать. У вас семь часов. — И, подняв палец, обратился к профессору: — Вы лично отвечаете за это, профессор Росси.

— Спасибо. — Я встала, едва не подпрыгивая от нетерпения.

Снаружи мы увидели темно-синий тюремный фургон с решетками на окнах — он стоял на въезде в гараж между комиссариатом и строящимся домом с бетонными опорами и металлическими балками. На долю секунды, до того как водитель с энной попытки наконец завел мотор, через слегка тонированное пуленепробиваемое стекло я как будто увидела человека в наручниках на заднем сиденье. Рукава его темно-коричневой рубашки были закатаны выше локтя, седые волосы сильно взъерошены. Мне показалось, что он на краткий миг поднял брови и, подражая Спенсеру Трейси, сделал такой жест, будто складывал оружие. А может, мне все привиделось, и я вообразила себе эту сцену: полицейский у входа сказал, что фургон только приехал из ремонта,

и, значит, не мог никого перевозить. Иногда я не отличаю своих вымыслов от действительности, воспринимая жизнь будто кино. Поэтому я спокойно осталась стоять, подняв руку, как Кэтрин Хепберн. Я отдала бы что угодно, лишь бы перемотать эту пленку назад, до того места, с которого все могло пойти иначе. Дай бог выпутаться из этой истории, подумала я.

Следующие полчаса показались мне вечностью. Мы шли по площади у Санта-Мария-Новелла, направляясь к парковке, где Джулио оставил машину. Там мы должны были расстаться. Почти час из отведенного инспектором срока уже прошел, дом мой был совсем радом, поэтому я встала на цыпочки, одарила Росси коротким прощальным поцелуем и пошла к углу Леопольдинской школы. Не успела я сделать и пяти шагов, как он окликнул меня:

— Анна!

Я вернулась к нему, крепко сжимая под мышкой конверт с эмблемой жандармерии, в котором лежали тетради.

— Что такое?

Он молчал. Затем бросил взгляд налево и сразу же — направо, словно собирался переходить улицу, уставился в землю, поднял глаза и вновь

опустил их.

— Ничего, — вымолвил он наконец. Если бы он подумал лучше, то сказал бы: «Будь что будет».

XXIX

Для меня, выросшей на детективах из коллекции «Сова» с бокалами отравленного шампанского и блондинками-убийцами, Флоренция была средоточием наивысшей тайны — ведь ни в одном детективе преступление не раскрывали спустя столько лет. Если быть совсем точным, пятьсот двадцать семь.

Всех нас в детстве притягивают загадки. В тринадцать-четырнадцать лет я неплохо научилась делать невидимые чернила из соленой воды и лимонного сока — рецепт, вычитанный в старом английском учебнике для авторов детективов. Две ложки соли и две — воды, несколько капель лимонного сока, затем ждать до полного растворения. Я обмакивала кисть в эту жидкость и писала что-нибудь. Когда все высыхало, буквы делались невидимыми: чтобы прочесть надпись, нужно было потереть ее мягким свинцом или поднести бумагу к источнику тепла. Я прикладывала к листу утюг: вода испарялась, и буквы становились видны благодаря соляным крупинкам.

Несколько более сложную разновидность чернил, на основе гуммиарабика и хлорида кобальта, описал Марчелло Симонетта из университета штата Коннектикут. Его сообщение было опубликовано в «Bulletin № 15 of the Wesleyan University Library of Connecticut», экземпляр которого поступил в библиотеку отделения искусств Флорентийского университета буквально через неделю после завершения полицейской операции. В статье говорилось об интересной находке — небольшом сборнике XV века, где содержались советы по взлому шифров секретной дипломатической переписки того времени. Вооружившись ими, Симонетта сумел расшифровать послание, найденное в частном архиве семьи Убальдини. То было письмо герцога Урбино своим послам в Риме, отправленное через два месяца после флорентийского мятежа. Никто не подозревал об участии этого изощренного политика в заговоре, и без находки Симонетты мы, вероятно, никогда не узнали бы, что именно Федерико да Монтефельтро принял холодное и обдуманное решение покончить с семейством Медичи, что это он привлек на сторону заговорщиков Сикста IV и Фердинанда Арагонского. Ему также принадлежала идея о создании тайного общества,

избравшего символом листок рукколы: так Римская курия встала на путь, который спустя века привел ее к тесной дружбе с мафией.

Отдельные места в тетрадях Мазони красноречиво подтверждали все это: например, изложение одного из принципов общества, согласно которому светская и духовная власть должны образовывать единое целое, или описание костюма великого магистра ложи: «черная саржевая куртка, фартук на подкладке, балахон, подбитый лисьим мехом (дословно — «на лисьих горлах»), плащ с ярко-красным бархатным воротником и красные шелковые туфли». Именно в этом наряде Федерико да Монтефельтро представлен на полотне «Мадонна из Ньеволе», а также на беглом эскизе углем, выполненном Леонардо. Эскиз изображал повешение Бернардо Бандини: этот Бандини зашел в спальню за выздоравливающим Джулиано, чтобы тот не ускользнул от гибели. Каждый увидевший эти два портрета сразу решил бы, что они написаны одной рукой — еще не очень уверенной, но уже обретшей собственный почерк, рукой того, кто станет величайшим из всех мастеров Возрождения. Перед нами лицо с очень тонкими губами, уголки которых опущены, что придает герцогу слегка меланхолический

вид, точно он может наблюдать себя в невидимое зеркало. Рисунок подвергся изменениям после провала заговора. В верхнем левом углу зеркальным почерком — буквы так мелки, что еле-еле читаются, — выведены слова, отражающие внутреннее состояние Леонардо после этих событий:

Il sangue e denso
Ogni denso e grave
Come sta la morte?[23]

Эта фраза доносит до нас не только мысли художника — свидетеля важнейшего исторического события, но и его намерение перенести набросок на полотно, что он и исполнил, завершив «Мадонну из Ньеволе», следуя указаниям своего наставника Мазони. В дневниках Лупетто есть запись от 26 апреля 1478 года, сделанная торопливым, но четким почерком — и хотя он не тот, что на других страницах, текст документально беспристрастен и может считаться почти журналистским репортажем. Я сопоставила его с «Заметками о заговоре» Полициано. Оба сходились в описании жуткой сцены, когда многие

[23] Примечания: 23
Кровь густа.
Все густое тяжело.
Какова природа смерти?

из осужденных заговорщиков перед казнью стали рвать плоть, свою и товарищей, — то ли в отчаянии, то ли, как указывают некоторые специалисты по тайным обществам Средневековья, в ритуальном акте последнего причастия членов ложи, отголоске каннибализма. Рассказы об этом событии с содроганием передавались из уст в уста еще многие годы.

Я сидела за рабочим столом, листая дневники, и думала о том, что во Флоренции преступления были больше чем способом выплеснуть злость или ненависть, они были городской обыденностью. И город использовал их в полной мере, чтобы превратиться в государство. Да, Флоренция была колыбелью многих доктрин и политических учений, но главное — жажда власти достигла в ней небывалой изощренности, что может почувствовать каждый, читая «Князя». Я имею в виду не извращенную, патологическую жестокость, проистекающую из умственного расстройства, но злодейство обдуманное и ставшее частью морали, зло в чистом виде, рожденное в уме и неразрывно связанное с идеей власти, из которой прорастают государственные перевороты.

Именно к этой, высшей категории преступников и относился главный вдохновитель заговора,

долгое время готовивший его и затем перешедший к действию — при помощи интриг, обмана и беззакония. Необъяснимо, как герцог Урбино смог оставаться незамеченным несколько веков. Но ясно, что он прибег к ухищрениям, чтобы не оставить никаких следов, никаких письменных свидетельств. Загадочным образом никто не разоблачил того, кто до конца жизни пользовался доверием Медичи и чья репутация пятьсот двадцать семь лет оставалась незапятнанной.

Я не знаю, что за мысли теснились в голове у герцога при виде того, как сторонники Лоренцо берут верх, — наверное, примерно те же, что намного позже пришли кардиналу Полу Марцинкусу, «Божьему Банкиру». Он раздумывал, как скрыть свою истинную сущность, как сделать так, чтобы никто не узнал в нем творца заговора, не прочел на его лице ожидания, разочарования, нетерпения, которые он скрывал от людей столько лет — вплоть до мятежа, потерпевшего неудачу. Человеку с мышлением кондотьера нелегко переносить поражение. Может быть, как раз в эти минуты он сделался таким, каким предстает на всех портретах: мрачный взгляд, желтоватый цвет лица. Очевидно, в ту ночь он не раз до крови прикусывал язык и глотал слюну со

вкусом пепла: вкусом предательства, как говорят. Одно лишь желание поставить Урбино вровень с могущественнейшими державами полуострова не могло толкнуть герцога на поступок, таивший в себе смертельный риск, вынудивший его послать на смерть незнакомых людей и отправить на виселицу тех, кто верил ему. Нет. Тут явно было что-то еще, другой мотив, по-прежнему скрытый от всех, — его тайну надежно охраняет Институт религиозных дел: за бронзовые двери допускаются лишь избранные члены курии. И даже по прошествии стольких лет его все еще боятся обнародовать.

Такое впечатление у меня сложилось, когда я впервые увидела портрет герцога в Уффици, и сохранялось все время, пока его репродукция висела, пришпиленная кнопками, рядом с моим столом. Некоторые способны по лицу человека предсказать его поступки: такой дар, к примеру, дает возможность узнать о замышляющемся предательстве. Не исключено, что Мазони был им наделен, как и его ученик Леонардо, — особой проницательностью, позволяющей видеть, когда что-то неладно или вконец испорчено, — например, если на чьем-то лице вдруг обнаруживается зависть, и человек смотрит на бывшего друга

иными глазами, как смотрел Федерико да Монтефельтро на Лоренцо Медичи, стоя рядом с ним под балдахином во время майских торжеств. Смотрел так, будто уже готовился переступить через его труп.

Но ничто из прошлого не исчезает бесследно, потому что события наблюдают не только современники, но и те, кто живет столетия спустя: художник, ведущий за руку ученика, американский профессор из малоизвестного Коннектикутского университета, получившая грант аспирантка, профессор кафедры истории искусств, высокий и застенчивый с виду, реставратор картин с внешностью ремесленника и совершенно особым взглядом читающий Павезе инспектор полиции, человек с искалеченной ногой, устремивший в окно мощный телеобъектив, как Джеймс Стюарт — свой бинокль. Нас всегда подкарауливает кто-то с другой стороны истины, и ничто не будет забыто. Не стоит и надеяться.

Я вдруг поняла, что уже минут пять созерцаю последнюю страницу дневника Мазони, оценивая пористость бумаги и качество чернил, местами выцветших. После полугода работы непросто примириться с тем, что — все, конец. Я положила руки на затылок и повертела головой

вправо-влево. Так утомительно — семь часов неподвижно сидеть за рабочим столом. Я посмотрела в открытое окно, где бурлила жизнь нашего квартала: были слышны треск мотоцикла, голос сеньоры Чиприани, напевающей популярную песенку, пронзительные крики Томасино с четвертого этажа. Слишком долго я была погружена в жизнь других людей, распутывая историю пятисотлетней давности. В голове царил беспорядок: я словно проснулась от дурного сна, которого никак не припомнить.

Еще не было шести. Можно по пути к инспектору зайти в ректорат и оставить там диссертацию. Я принялась не спеша перебирать одежду: брюки, красный свитер, несколько хлопчатобумажных блузок, нижнее белье. Потом сунула в пакет запасные спортивные туфли, взяла косметичку и сложила все в парусиновую сумку, извлеченную из шкафа. Да, чуть не забыла в ванной свое секретное оружие — серебристый цилиндрик губной помады. Мне вдруг пришла мысль, что это экипировка любительницы приключений, а не аспирантки, у которой закончился грант. Зачем все это, спросила я себя, ведь неизвестно, дома ли профессор Росси, а если да — один или с кем-то, и в любом случае — хочет ли он меня видеть? Я

остановилась, откидывая челку с глаз, но потом все-таки продолжила собирать вещи: пара книг, диск с Томом Уэйтсом, трусики. Любовь требует смелости.

Я повторяла эту фразу, как заклинание, на автобусной остановке у Санта-Мария-Новелла и всю дорогу до Фьезоле. Конечно, я не знала, оценит ли Джулио мою смелость. И не имела ни малейшего понятия, как он отнесется к моему появлению. На полпути я едва не повернула назад. Какого черта садиться в автобус с парусиновой сумкой на плече и ста двадцатью евро в кармане — все, что осталось от гранта? Что это такое — врываться в дом к человеку, о котором знаешь так немного? И все оттого, что я вбила себе в голову, будто могу чему-то научить этого человека, который был вдвое старше меня и мог дать мне во всем сто очков вперед. Научить чему? Я не знала точно: чему-то, и все. От этого чувства сердце мое колотилось, я дышала глубоко, мысли путались. Да, я могла. Я могла научить кое-чему этого человека, верившего, что знает кучу всего, но на самом деле не имевшего об этом никакого понятия. Первый раз в жизни — пусть даже первый и единственный — я осмелилась совершить непоправимое: нечто искреннее, честное и

непоправимое. Это внушало мне уверенность, и я хваталась за металлический поручень автобуса, как за соломинку. А если он будет недоволен — я представила себе худшее, — ты повернешься и уйдешь. Все. Дело закрыто. Только бы он был дома, думала я, поднимаясь по грунтовой дороге от шоссе к его дому, — потому что, если я не сделаю этого сейчас, я буду ни на что больше не годна и придется раскаиваться всю оставшуюся жизнь. Поэтому я невозмутимо прошла сквозь чистилище сомнений под лиловым небом, где уже загорался закат, толкнула калитку, прошагала по гравиевой дорожке между кипарисами, поднялась на ступеньки крытой террасы, позвонила и стала ждать — с парусиновой сумкой на плече, с рассыпанными по плечам волосами, сунув руки в карманы, затаив дыхание. Любовь требует смелости.

Есть мгновения, когда неважно, что будет дальше, — исчезает все, кроме молниеносного взгляда, запаха мокрой земли в саду, музыки из далекого окна, освещенного торшером, спокойствия того, кто смотрит на тебя с порога, застыв от удивления, понемногу озаряясь улыбкой, вмещающей все, что случится и уже почти случилось, вздохов, когда его руки приближаются к тебе и ты чувству-

ешь их еще до прикосновения, но вот его ладонь оказывается под твоей оливковой блузкой, а его голос нежно и негромко произносит твое имя… Он берет твою сумку и приглашает тебя войти, словно бы с рассчитанной неспешностью, не внезапно, как в первый раз, и вы оба мягко и неторопливо растягиваете минуты, по капле расточая слова и ласки, вплоть до нежданных вспышек, с терпением придворного ювелира, забывая о времени и о необходимости куда-то идти, догадываясь, что есть миры, где можно осваиваться бесконечно: кожа готового отдаться полуобнаженного тела с его укромными уголками, поглаживания, когда пальцы доходят до края пропасти, в которой сжимается и распускается твое желание вместе с твоим сердцем.

Он встал на колени и склонился надо мной, и я взяла в ладони его лицо, чтобы навсегда запомнить эти глаза непонятного цвета, в которых загорелся незнакомый огонек, когда он расстегивал пуговицы блузки, — с упавшими на лоб волосами, тяжело дыша, сжав зубы, ища меня вслепую, а я ласкала его, не отрывая взгляда от мокрых волос… А наши тела двигались все тише, и я чувствовала близость оргазма, которого не хотела, потому что получить ослепительное

удовольствие для меня было не так важно, как узнать этого человека, явившегося из глубины веков, будто он был единственным выжившим в той апрельской бойне, потрясшей осажденный город, и дожил, как в древних легендах, до этого мартовского дня 2005 года, в городке Фьезоле, в доме с зелеными жалюзи и взбегающей по фасаду глицинией, в полутемной спальне, и если вдуматься, все это было чудом, ибо невероятно, чтобы два таких нелюдимых и таких разных человека встретились через столетия, в это самое время, ни раньше, ни позже, недалеко от Виллы Брусколи — владения Медичи, и узнали себя друг в друге, не потерявшись на боковых путях и в тупиках жизни.

И это осознание подарка судьбы полностью нарушило ход времени, которое мы перестали считать. Оно обратилось в сплошное нарастающее настоящее, омытое раздробленным светом, проникавшим сквозь жалюзи, все более слабым с наступлением сумерек. Ветви деревьев в саду делались все чернее и чернее, и мы не понимали, почему уже так поздно, но все же хотели продлить то блаженное состояние, когда отвергаются все пределы для страсти. Взмокшие, истерзанные, уставшие, мы делали передышки,

растворявшиеся в ощущении не до конца утоленного желания, которое вспыхивало снова от случайного прикосновения соска или легкого поглаживания по спине кончиками пальцев, словно мы всегда знали друг друга, и в каждом жесте был совместно накопленный любовный опыт, манера подвигаться в кровати, давая место другому, или на ощупь искать его руку, и было опьянение признаниями и воспоминаниями, когда шеи касались шепчущие губы, когда он искал детскую фотографию в ящике ночного столика или шел на кухню за стаканом воды для меня, и говорил что-то мне на ухо, натягивая на плечи простыню, при выключенном свете — оба мы уже почти засыпали, — как бы убаюкивая меня, выбирая слова, которые с приближением рассвета становились все медленнее, и нас уже объяла блаженная, сонливая усталость — усталость от полного насыщения любовью, и я уткнулась носом ему в спину, чуть согнув колени, просунув ступню ему между ног и обняв его, охваченная безмятежным, ленивым спокойствием, заставляющим нас долго спать по утрам.

Я проснулась от утреннего солнца и запаха кофе из кухни. Куда девалась моя одежда, я не имела понятия. Наконец я нашла джинсы ак-

куратно сложенными на диване, возле окна, но блузки не было нигде, так что я взяла из шкафа первое попавшееся — толстый шерстяной свитер, доходивший мне до колен. Лилипут в наряде Гулливера.

Заглянув в приоткрытую кухонную дверь, я увидела, как он стоит, свежевыбритый, в белой рубашке, и роется в шкафчиках, как точными движениями готовит завтрак — тосты, сок, джем. Он показался мне выше, чем накануне, а в глазах было какое-то незнакомое выражение, будто каждым движением он обуздывал чувства: помешивая ложечкой в чашке, раскладывая по местам блюдца, салфетки…

С подносом в руках он обвел глазами кухню — не забыл ли чего? — и тут увидел, что я опираюсь на косяк двери и молча наблюдаю за ним, скрестив руки, в гулливеровском свитере, со взлохмаченными волосами и упавшей на глаза челкой. Он не сказал ничего, но взгляд его породил во мне сияющее чувство — меня, неуверенную в себе девушку, тощую, похожую на героиню второсортного роудмуви, вдруг коснулся своей благодатью архангел. Подмигнув мне, он осторожно и застенчиво, как всегда, улыбнулся — это было его способом существовать в мире.

Держа в руках поднос, он толкнул ногой дверь на задний двор.

Никогда передо мной не открывался такой прекрасный вид на Флоренцию, как из этого чуть запущенного фруктового сада, где стояли шаткий столик и стулья из ивовых прутьев. Я помогла расстелить скатерть — ярко-голубую, словно омытую морской водой.

День был ясным, с освежающими порывами ветра. Джулио пошел в дом взять себе свитер.

Долина Арно, так печально выглядевшая зимой, теперь сверкала золотыми солнечными бликами на стволах буков и берез. Неожиданно ставшие величественными виллы с входными арками и терракотовой черепицей напоминали о давно ушедшем мире. Вдали угадывались руины аббатства, колокольня, обсаженная кипарисами дорога, и только серый изгиб современного шоссе нарушал гармонию пейзажа. Кое-где местность была гранатового цвета из-за шапок солероса, а если посмотреть в другую сторону, земля была темной, как черепаший панцирь, лишь чуть дальше виднелась бледная зелень пастбищ. Казалось, река высосала из долины все богатство красок и теперь несла его в город: оранжевая, охра, венецианская желтая, сиена, веронская

зелень…

Я восторженно смотрела на город, как будто предо мной подняли занавес, открыв единственную в своем роде сцену, и некий мастер церемоний впервые показывал мне мир: облака, воздух, деревья и малозаметные, но прочные связи, соединяющие все это. Я слушала профессора Росси, словно сидела на лекции по спектральному анализу, и понимала, что познание было частью высокого и непостижимого умственного вожделения, той неисследованной территорией, где разворачивалась наша игра. Внезапно все, что я видела, осветилось, приобретя новый смысл. Розовеющие края облаков были того же цвета, что господствовал на первых полотнах Мазони — праздничная, полная неизведанных возможностей живопись, словно первый акт творения, когда все было впереди и не существовало ни тайных сборищ, ни зависти, ни листков рукколы, ни кинжалов, прорезающих бархатную куртку, ни наемников, когда мир был еще незаселенным пространством, чистым, как мартовский ветер, что взвевал наши волосы и приподнимал углы скатерти.

Да, мне еще многое нужно было узнать. Как закончится борьба за господство над Католической

церковью внутри Сикстинской капеллы? Какая из ватиканских группировок придет к власти? На чью сторону встанет преемник Иоанна Павла II? Хватит ли могущества земному правосудию, чтобы разоблачить шпионские организации вроде Eruca Sativa, которая работала на римских пап больше пяти веков?

Мы пытаемся осознать происходящее, и иногда, как в детективах, нам не хватает лишь удовольствия от того, что нет доказательств, не сделано нужного хода, преступление стало идеальным и безнаказанным.

Что касается меня лично, я тоже была мало в чем уверена. Я не представляла, что будет со мной дальше, не знала, что стало с девочкой на трехколесном велосипеде и какие мысли овладевают мужчиной, когда он вдруг замолкает на другом конце рухнувшего моста, в стране, куда мне не войти. Наверное, есть вопросы, на которые никогда не найдется ответа; есть провалы в памяти, которым нет названия, как залитым кровью городам с горящими колокольнями. Но в тот момент свет лился невесомой надеждой, неземной, может быть неосознанной, и все же порождающей чувство, что ради этого утра, ради этого сада с яблонями, сливами и деревянным

столиком стоит жить. Может быть, в этом смысл всего: уметь хранить светлую радость от недолговечной красоты.

От свитера Джулио пахло шерстью: его рука лежала у меня на плече, и мы сидели в молчании, словно на палубе корабля. Вдали поднимались холмы Фьезоле и Флоренции, сверкая тускло-медными отсветами. Проходя очищение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КТО ЕСТЬ КТО

Лоренцо Медичи (1449–1492), по прозвищу Великолепный, — «отец» города. Его влияние распространялось и на высших должностных лиц республики, и на обитателей бедных кварталов, населенных прислугой и земледельцами. Человек утонченный, с возвышенными представлениями о мире, поэт, неисправимый глотатель книг, ученик философов-неоплатоников, градостроитель и мечтатель. Его меценатство сделало Флоренцию самым притягательным городом Европы. Лоренцо покровительствовал художникам Леонардо да Винчи, Микеланджело, Боттичелли. Но в первую очередь он был политиком — харизматическим, горделивым и беспощадным. Считается, что Макиавелли имел в виду его, когда писал «Князя».

Джулиано Медичи (1453–1478) — младший брат Лоренцо. Чувствительный юноша, далекий от политических хитросплетений. Поддерживал пылкую связь с Симонеттой Веспуччи, увековеченной Боттичелли в «Весне» и «Рождении Венеры».

Клариче Орсини (1453–1487) — супруга Лоренцо.

Мессер Якопо Пацци (ум. 1478) — банкир и глава семейства Пацци, дядя Франческо, Джованни и Гульельмо Пацци (последний был женат на Бьянке Медичи, сестре Лоренцо и Джулиано).

Папа Сикст IV (1414–1484) — не только викарий Христа, но и глава государства, простиравшегося от Рима до Адриатики. Во время своего понтификата активно присваивал накопления и доходы Церкви для обогащения своей семьи. Возможно, был отцом одного из своих племянников. Больше всего его увлекала идея распространения папской власти на всю Европу.

Фердинанд, король Арагона и Неаполя (1458–1494) — внебрачный сын Альфонса V Великодушного, типичный правитель эпохи Возрождения, имевший многочисленные территориальные интересы в районе Средиземноморья. Успешно заключал политические союзы с итальянскими государствами.

Федерико да Монтефельтро, герцог Урбино (1422–1482) — выдающийся дипломат и государственный деятель, стремившийся поставить

Урбино наравне с могущественнейшими державами полуострова. Тратил значительные суммы на меценатство, владел одной из богатейших библиотек своего времени.

Франческо Сальвиати — назначен архиепископом Пизы по указу Папы Сикста.

Граф Джироламо Риарио — правитель Имолы и Форти, племянник Сикста IV.

Кардинал Рафаэле Сансони Риарио — кардинал Сан-Джорджо, племянник Папы. Во время заговора ему было 17 лет.

Бернардо Бандини Барончелли — флорентийский банкир, союзник Пацци.

Полициано — поэт и гуманист, пользовавшийся покровительством Медичи, автор небольшого труда, посвященного заговору.

Антонио Маффеи и Стефано ди Баньоне — священники, первый из которых состоял на службе Римской курии, а второй — семейства Пацци.

Джованни Баттиста да Монтесекко — капитан папской гвардии и наемник, служащий тому, кто больше заплатит. Его показания — один из важнейших источников изучения заговора.

Ксенофон Каламантино — бывший доминиканский монах, приближенный Лоренцо и глава шпионской службы Медичи.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

В это время Флоренция была процветающей республикой, возникшей еще в XIII веке. Ее население составляло сорок тысяч человек. Она была самым оживленным городом Европы и колыбелью итальянского Возрождения. Разделенная надвое рекой Арно, Флоренция была окружена мощными стенами с двенадцатью воротами. В ней насчитывалось двадцать три больших дворца, более тридцати банков, сотни ремесленных мастерских, десятки приходских церквей, аббатств и монастырей, над которыми возвышалась внушительная кампанила дворца Синьории.

ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ

Собор Санта-Мария дель Фьоре — основное место событий.

Палаццо Веккьо на пьяцца делла Синьория — местопребывание правительства республики.

Барджелло — крепость и бывшая тюрьма, на окнах которой были повешены многие участники заговора.

Монастырь Сан-Марко — доминиканский монастырь, где у Медичи имелись собственные кельи. В XV веке располагался у границ города. В обители читал свои апокалиптические проповеди Джироламо Савонарола.

Дворец Медичи (на виа Ларга) — основная резиденция Медичи.

Вилла Брусколи — резиденция Медичи во Фьезоле.

Дворец Пацци (на виа Балестриери) — основная резиденция Якопо Пацци и его семейства.

Виа Гибеллина — улица, на которой располага-

лись самые известные мастерские художников, в том числе мастерская Верроккьо.

Пьяцца деи Меркато — подлинное сердце городской жизни. Туда приходили все желающие узнать, что творится в городе, познакомиться с новостями и слухами. Недалеко от рынка находились гостиница «Корона» и постоялый двор «Кампана».

БЛАГОДАРНОСТИ

Идею этой книги мне подсказала новость в газете: 20 февраля 2004 года «Паис» опубликовала на последней полосе результаты поисков убийцы, остававшегося неизвестным в течение пятисот лет. В статье было указано, что профессор Коннектикутского университета Марчелло Симонетта благодаря прочтению шифрованного кодекса XV века обнаружил главного виновника заговора против Медичи. Мне показалась, что известие заслуживает того, чтобы развернуть его в роман, однако я все никак не начинала писать именно из-за моды на исторические романы, в которых сенсационность часто предпочитается достоверности. Однако зимой 2005 года Андрес Фернандес Рубио, журналист из «Паис», заказал мне репортаж о Флоренции для приложения, посвященного туризму. Я воспользовалась случаем, чтобы побывать в городском архиве и галерее Уффици, движимая болезненным любопытством, которое вызвал у меня заговор и отвратительные подробности, связанные с ним. Но и тогда я не хотела приниматься за роман. Однако летом тот

же журналист, неутомимый и неисправимый путешественник, заказал мне краткое изложение событий для рубрики «Злодеи в истории», публикуемой в воскресном выпуске газеты. В ходе этой работы, с головой уйдя в ту эпоху, я четко поняла: иного выхода, как погрузиться в написание романа, нет. Поэтому прежде всего я хочу поблагодарить Андреса.

Кроме классических работ по Возрождению на стадии сбора материалов мне очень помогли недавно вышедшие книги. Первая — это пылкое эссе Лауро Мартинеса «Апрельская кровь: Флоренция и заговор против Медичи». Огромное значение также имели работы Эрика Фраттини «Заговор: убить Лоренцо Медичи» и «Священный союз: пять веков ватиканского шпионажа». Для изображения повседневной жизни художников эпохи Ренессанса я пользовалась исключительно ценной биографией Леонардо да Винчи, принадлежащей перу Чарльза Николла: «Леонардо, или Полет мысли». Что касается работы в архиве, мне хотелось бы отметить терпение и готовность к сотрудничеству его директора Кончетты Джамблано и помощь в преодолении языковых препятствий, оказанную Луизой Паолуччи. Но все это не состоялось бы без дружеской поддерж-

ки со стороны моего издателя Карлеса Ревеса, который загорелся этой идеей и вручил мне билет на самолет до Флоренции.

Вся история литературы полна почитания, пародирования, мести и тайных союзов, благодаря которым, как говорил Борхес, мы гордимся прочитанными книгами больше, чем написанными. В этом смысле я должна заметить, что эмоциональный фон моего вдохновения сложился благодаря нескольким романам, среди которых назову «Имя розы» Умберто Эко, в котором соединились два моих главных увлечения — детектив и историческое расследование, и «Твое лицо завтра» Хавьера Мариаса, где меня поразили рассуждения о присущем некоторым людям даре видеть то, что еще не произошло. Эта книга сопровождала меня во Флоренции, в то время как я лихорадочно искала лицо убийцы.

Хочу поблагодарить также моих родителей, которым принадлежит сомнительная честь быть первыми читателями моих книг, за то, что в детстве они сумели передать мне упорство и настойчивость Шлимана, который причастен ко всей этой истории. Им, моему брату Хавьеру и Марии я приношу благодарность за вечера, проведенные во флорентийской «Таберна делл'Ан-

джело»; моей дочери Карлоте — за терпение по отношению к матери, которая одной ногой стоит на пороге дома, а другой — в страшных трущобах Флоренции XV века; Эмилио Гарридо — за уроки хождения под парусом, которые очень помогли мне развернуть этот роман и прийти в нужный порт; Фернандо Мариасу — за ужин в «Анхель Асуль»; моим ученикам в Институто Соролья, страстным поклонникам детективов, — за восторженные отзывы. А еще — писателю Мануэлю Висенту, открывшему для меня салат «Капрезе» и тишину XV века.

Наконец, следует сказать, что я, разумеется, старалась воспроизвести место действия — Флоренцию 1478 года — как можно точнее, так же как последовательность событий, черты и костюмы исторических персонажей. Но подчеркну, что это не исторический труд, а роман, и поэтому чувства, намерения и хлопоты действующих лиц остаются на совести автора. Разница между историком и романистом в том, что первый обязан оставаться нейтральным, второй же может не скрывать своих симпатий. Лоренцо Медичи был не святым, а человеком своего времени, жестокого, кровавого, когда месть возводилась в закон. Месть за деяния, о которых рассказывается здесь,

оказалась на редкость страшной и беспощадной. Но это уже другая история, и пусть другие судят ее персонажей. Мне достаточно того, что Лоренцо страстно любил игру мысли, ценил красоту, ум и гений, и поэтому живших рядом с ним людей стоило воскресить в романе.

ЖЕНСКИЙ КЛУБ MONA LISA



Сусана Фортес — одна из самых популярных современных писательниц Испании, кандидат географических и исторических наук, успешный журналист и кинокритик. Сочетает неподража-

емую чувственность с безупречным стилем и отточенным мастерством изложения, хитроумные узоры итальянского Возрождения и лучшие приемы современного европейского детектива. Ее романы завоевывают престижные литературные премии и переводятся на иностранные языки.

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.